

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

ВОПРОСЫ Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1977

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Ф и л и н Ф. П. (Москва). О генетическом и функциональном статусе современного русского литературного языка	3
К о н о н о в А. Н. (Ленинград). Основные этапы формирования турецкого письменного-литературного языка	21

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

П а н ф и л о в В. З. (Москва). Категория модальности и ее роль в конститировании структуры предложения и суждения	37
В е й х м а н Г. А. (Москва). Предикативное членение высших синтаксических единиц	49
Д е ш е р и е в а Т. И. (Москва). Некоторые проблемы грамматической семантики в связи с особенностями формализации в естественных языках	57
Б р а г и н а А. А. (Москва). Нейтрализация на лексическом уровне	61
А л е к с е е в М. Е. (Москва). К лексико-семантической интерпретации афферктивной конструкции предложения	72

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Э д е л ь м а н Д. И. (Москва). К фонемному составу общеперсидского	81
П а х а л и н а Т. Н. (Москва). О роли <i>i</i> -умлаута в истории развития вокализма иранских языков	89
Е р м о л а е в а Л. С. (Москва). Типология системы наклонений в современных германских языках	97
У с т и н с к о в а З. И. (Москва). О генезисе цоканья в русских говорах	107
С а б а н е в а М. К. (Ленинград). К проблеме смысловой завершенности предложения	120

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Х р о м о в А. Л. (Душанбе). Состояние и задачи топонимических исследований в Таджикистане	125
--	-----

Рецензии

П а н и н Л. Г. (Новосибирск). «Вести-куранты. 1642—1644 гг.»	131
С о р о к о л е т о в Ф. П. (Ленинград). Г. Я. Романова. Наименование мер длины в русском языке	134
Б р ю ч к о в а Т. Б., Т р е с к о в а С. П. (Москва). В. Г. Костомаров. Русский язык среди других языков мира	137
Р е п и н а Т. А. (Ленинград). По страницам юбилейных выпусков журнала «Revue roumaine de linguistique»	140
Ш а х н а р о в и ч А. М. (Москва). «Проблемы пентерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков»	143
К о п ы л е н к о М. М. (Алма-Ата). Б. Хасанов. Языки народов Казахстана и их взаимодействие	145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	148
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),
Б. А. Серебrenников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубочев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 103045 Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12, кори. 1, комн. 64.

ФИЛИН Ф. П.

О ГЕНЕТИЧЕСКОМ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СТАТУСЕ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

На протяжении многих веков в русской письменности происходил сложный процесс взаимодействия русской и церковнославянской языковых стихий. Как известно, старославянский язык (с самого начала своего существования — наддиалектный, но в основе древнеболгарский), будучи перенесенным в древнюю Русь, приобрел особенности древнерусской народной речи и стал церковнославянским языком русской редакции. Древнерусский письменный язык вбирал в себя многочисленные церковнославянизмы, что облегчалось близким родством обоих языков. Создавались и разные формы «срединного» языка (сплава древнерусского и церковнославянского с преобладанием элементов того или другого), границы которого были неустойчивыми. Языковые особенности древнерусской (позже великорусской) письменности зависели от разных причин (тематики и назначения текстов, уровня образования и социальной принадлежности грамотных людей, различия литературных направлений и др.), в том числе и от сознательного предпочтения, которое отдавалось древнерусскому или церковнославянскому языку.

Высказывания о преимуществах и недостатках того или иного языка начинались с самой ранней поры русской письменности, и их было очень много¹, причем эти высказывания имели свою классовую подоплеку. Еще у митрополита Илариона (середина XI в.), писавшего на церковнославянском языке русской редакции, блестящего публициста, ясно скажется пренебрежение к «простой» народной речи: «не к неведущим бо пишем, но презриша насышшемся сладости книжныя». Митрополит Климент Смолятич (середина XII в.) на упрек смоленского пресвитера Фомы, что Климент пишет невразумительно, с презрением отвечал, что он писал не для малообразованного Фомы, а для просвещенного князя. Лингвистические споры особенно обострились в XV — XVII вв., т. е. в период церковнославянской архаизации языка не только клерикальной литературы, но и многих других жанров письменности. Процветавшее в то время «извитие словес» преследовало цель утвердить церковнославянские основы русского литературного языка, отдалить литературный язык от народной речевой стихии. Для церковной реакции не было важно добиться понятности текста, цель была иной: создать благоговейное удивление перед чем-то величественным, мистическим, священно-таинственным. Дело доходило до крайностей. Даже Курбский, сторонник церковнославянского языкового «благолепия», вынужден был заметить по поводу «Богословия» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Экзарха, что «Богословие» «ко вразумению неудобно и никому же познаваемо».

¹ Многие из этих высказываний приведены в книгах: И. В. Я г и ч, Рассуждение южнославянской и русской старины о церковнославянском языке, СПб., 1895; С. К. Б у л и ч, Очерк истории языкознания в России, I (XIII в.—1825), СПб., 1904.

Разумеется в XV — XVII вв. в языке письменности было не только «извитие словес». Набирали силу демократические жанры. В XVII и особенно XVIII в. наступает решительный перелом: формируется национальный литературный язык. В русской лексикографии появляется характерная стилистическая помета «славенское», которая, несмотря на неопределенность и расплывчатость ее значения, указывала на обособление русского литературного языка от церковнославянского. «Славянизмы» отделяются от нейтральной или иной лексики, становятся одним из стилистических пластов русского литературного языка. Уже в XVIII в. они начинают сливаться с архаизмами, так как в их состав писатели и лексикографы включают обветшавшие исконно русские слова и формы и даже некоторые заимствования из западноевропейских и иных языков. Писатели и филологи XVIII в. «по-разному представляли себе церковнославянский язык и не знали даже в общих чертах истории русского языка»². Творчество Пушкина завершило процесс создания русского литературного языка как единой и целостной системы. Помета «славенское» перестает употребляться в словарях. Ее заменяет помета «церковное» (иногда «церковнославянское»), которая прежде всего относится к словам, означаящим предметы и явления церковного обихода и характерным для цитат и текстов священных книг. Подобного рода слова не составляют особого стилистического пласта вроде «просторечия», «разговорного», «областного», «специального», «книжного» и пр., а представляют собой отраслевую лексическую группу, подобно тем группам, которые нередко получают в некоторых словарях пометы «музыкальное», «медицинское» и т. п. Церковнославянизмы вливаются в разряд архаизмов. Сам церковнославянский язык, существующий и ныне, становится исключительно языком церковных обрядов, своего рода профессиональным жаргоном.

Окончательная ассимиляция литературным языком церковнославянизмов сопровождалась бурными дискуссиями, участники которых обсуждали не только теоретические проблемы, но и практический вопрос: по какому пути должен развиваться русский литературный язык. Как отмечает С. К. Булич, «...никогда раньше и никогда после наши общелитературные журналы не обнаруживали такого живого интереса к языку и языкознанию и не помещали так часто статей филологического и грамматического содержания, как в течение первой четверти XIX в.»³. После Пушкина вопрос о взаимоотношении исконно русского и церковнославянского начал в литературном языке становится предметом академических споров, не более того. Однако это не означает, что он теряет свою теоретическую и общественную актуальность. Для нас не безразлично выяснение истоков современного русского литературного языка и с познавательной и с иных точек зрения. Литература по этому предмету огромна, и мы не можем здесь дать ее обзора даже в самом кратком изложении.

Существуют две главные взаимоисключающие гипотезы: 1) современный русский литературный язык является церковнославянским (т. е. в конечном счете древнеболгарским) по происхождению, подтвердившимся на протяжении веков русификации, и, в противоположность этому, 2) русский литературный язык в генетической основе своей представляет собой исконно русское, народное образование, испытавшее воздействие церковнославянского языка. Высказывалось и множество компромиссных взглядов.

В науке о русском языке XIX и первой трети XX в. господствовала первая гипотеза. В развернутом виде она была представлена А. А. Шахма-

² А. С. Орлов, *Язык русских писателей*, М.—Л., 1948, стр. 38.

³ С. К. Булич, *указ. соч.*, стр. 708.

товым, как бы подведшим итоги взглядов своих предшественников⁴. А. А. Шахматов исходил из того, что письменность, а вместе с нею и литературный язык были перенесены в древнюю Русь из Болгарии. Этот церковнославянский литературный язык подвергался русификации (прежде всего в фонетике и морфологии). Он всасывал в себя русские народные элементы, ассимилировал их, вобрал в себя и московский говор. Из этого, по А. А. Шахматову, следует, что церковнославянизмы в современном русском литературном языке являются не наносными элементами, не заимствованиями, а остатком общего церковнославянского основания литературного языка. Что касается древнерусского и более позднего языка деловой письменности и близких к ней жанров, в основе своей исконно народных, то А. А. Шахматов выводит эту письменность за пределы литературного языка, отказывает в правах литературного гражданства, чтобы не нарушать стройности своей гипотезы. А. А. Шахматов выделяет двенадцать «беспорных» церковнославянизмов — фонетических, грамматических и лексических — и приходит к выводу: «Из предложенного обзора церковнославянизмов в современном литературном языке видно, что в словарном своем составе он по крайней мере на половину, если не больше, остался церковнославянским»⁵.

Гипотеза А. А. Шахматова получила широкое распространение у нас и за рубежом. После выхода в свет работ С. П. Обнорского (начиная с 1934 г.), отстаивавшего автохтонность происхождения русского литературного языка, завязалась оживленная (и подчас эмоционально перегруженная) дискуссия, продолжающаяся и в наше время. Против С. П. Обнорского выступили Л. В. Щерба, А. М. Селищев, В. В. Виноградов (последний определил гипотезу С. П. Обнорского и взгляды ее сторонников проявлением «квасного патриотизма») и некоторые другие видные ученые. Впрочем взгляды этих ученых были далеко не идентичны. Так, например, В. В. Виноградов писал о мнении Л. В. Щербы: «ему казалось, что основной — книжный и нейтральный, т. е. свойственный и разговорным и книжным стилям словарный массив современного русского языка является по семантическому существу своему церковнославянским. Даже те слова, которые в одинаковой мере могли восходить к старославянскому языку и устноречевой восточнославянской стихии, в своей смысловой структуре отражают или продолжают, по мнению Л. В. Щербы, традицию семантического развития старославянского языка. Согласно устным высказываниям Л. В. Щербы, около $\frac{2}{3}$ русского литературного словаря необходимо связывать в том или ином отношении с лексико-семантической системой старославянского языка»⁶. Действительно, такое мнение Л. В. Щерба в неопубликованных предвоенных обсуждениях высказывал. Однако, справедливости ради, следует отметить, что у Л. В. Щербы были и иные определения. Он, например, писал: «Я не говорю об исконных русских элементах, которые, конечно, составили основу русского литературного языка... Именно постоянная живая связь с живым народным языком... и помогла нам переварить все то, что поглотил русский литературный язык за 1000 лет своего существования»⁷. Что касается позиции самого В. В. Виноградова, по ряду пунктов колеблющейся и противоречивой, то она заслуживает специального исследования.

⁴ А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, 4-е изд., М., 1941.

⁵ Там же, стр. 90.

⁶ В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958, стр. 7—8.

⁷ Л. В. Щерба, Современный русский литературный язык, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 125 (впервые опубликовано в журнале «Русский язык в школе», 1939, 4).

Гипотеза А. А. Шахматова была поднята на щит и в существенных своих чертах обострена и изменена Б. О. Унбегауном⁸. Как полагает Б. О. Унбегаун, «современный русский литературный язык продолжает никогда не прерывавшуюся традицию литературного языка Киевской, удельной и Московской Руси, т. е. языка церковнославянского»⁹. Имело место непрерывное развитие церковнославянского (= русского) литературного языка «от „Сказания о Борисе и Глебе“ до автобиографии Паустовского»¹⁰. Принимая гипотезу А. А. Шахматова, Б. О. Унбегаун в то же время считает, что Шахматов был непоследователен и противоречил самому себе «Шахматов, определив русский литературный язык как русифицированный церковнославянский язык, в дальнейшем посвящает целую главу церковнославянским элементам в этом языке, в то время, как оставаясь логичным, он должен был бы говорить о церковнославянской базе русского литературного языка и о русских элементах в нем»¹¹.

Правда, в древней Руси и позже был и другой письменный язык — язык юридических и административных документов, что «общеизвестно и споров не вызывает». «Единственное, что может и должно вызвать возражение, это присвоение утилитарному — юридическому и административному — языку литературного ярлыка», что всего лишь «прискорбная терминологическая путаница»¹². Б. О. Унбегаун все же признает, что для XI — XIV вв. проблема «своего» (т. е. исконно русского) литературного языка существует, поскольку в «низких»⁽²¹⁾ жанрах, таких, как летописи и паломничества, церковнославянизмы и русизмы настолько смешивались, что «иногда трудно бывает определить, написан ли данный литературный отрывок на русифицированном церковнославянском или на славянизированном русском языке (нелитературные части летописи написаны, конечно, на русском, вернее, восточнославянском языке)»¹³. Однако с конца XIV в., времени так называемого «второго южнославянского влияния», произошел возврат к церковнославянскому литературному языку, который с середины XVII в. и в XVIII в. стал национальным русским литературным языком. Правда, фонетика его (за немногим исключением) и почти вся морфология русифицировались, но синтаксис, словообразование и лексика остаются и теперь в основном церковнославянскими. В синтаксисе русификация коснулась лишь «некоторых словосочетаний» (каких?), а структура предложения осталась полностью церковнославянской. В лексике как открытой системе произошли заимствования из народного русского языка и других языков. В XIX и XX вв. происходят массовые церковнославянские новообразования. Возникают церковнославянизмы *здравоохранение, сокурсование, истребитель, хладотех-*

⁸ См. его работы «Разговорный и литературный русский язык» («Oxford Slavonic papers», 1, Oxford, 1950), «Le russe littéraire est il d'origine russe?» (RFSI, XLIV, 1965); «Язык русской литературы и проблемы его развития» («XI-e Congrès International des Slavistes Prague, 7—13 août, 1968 Communications de la délégation française et de la délégation suisse», Paris, 1968), «Русский литературный язык проблемы и задачи его изучения» (сб. «Поэтика и стилистика русской литературы Памяти акад. Виктора Владимировича Виноградова»). Л., 1971, «Историческая грамматика русского языка и ее задачи» («Язык и человек. Сб. статей памяти профессора Петра Саввича Кушцова», М., 1970) и др.

⁹ Б. О. Унбегаун, Историческая грамматика русского языка и ее задачи, стр. 263.

¹⁰ Б. О. Унбегаун, Язык русской литературы и проблемы его развития, стр. 130.

¹¹ Б. О. Унбегаун, Историческая грамматика русского языка и ее задачи, стр. 263.

¹² Б. О. Унбегаун, Русский литературный язык проблемы и задачи его изучения, стр. 330.

¹³ Там же

ника и т. д., и т. п. Что касается слов, общих для русского и церковнославянского языка, то для Б. О. Унбегауна они, разумеется, принадлежат церковнославянскому языку. Деловой по происхождению исконно русский язык прекратил свое существование в XVIII в., как исчез и старый разговорный (тоже русский) язык. Между народной русской речью и церковнославянским (т. е. теперешним национальным литературным) языком образовался серьезный разрыв, своего рода пропасть. «Таким образом, парадоксально, исторические грамматики русского языка описывают эволюцию языка, обреченного на вымирание и не имеющего генетической связи с современным русским литературным языком»¹⁴. Подобного рода происхождение русского (= церковнославянского) литературного языка уникально, так как все другие славянские литературные языки сложились на базе народной речи.

Экстравагантная (если не сказать больше) гипотеза Б. О. Унбегауна была поддержана некоторыми зарубежными русистами, но получила резкие критические отзывы со стороны советских русистов¹⁵.

Жесткие и прямолинейные схемы, мало обоснованные фактами, не помогают выяснению сложных языковых процессов. Уже одно признание того, что фонетика и морфология современного литературного языка по своему происхождению являются русскими, противоречит гипотезе Шахматова — Унбегауна. Никто не будет отрицать огромного значения фонетики и морфологии для языковой структуры. Остаются лексика вместе со словообразованием и синтаксис. Если мы, вслед за Унбегауном, будем считать, что слова типа *соусоревнование* являются церковнославянизмами, то совершенно очевидно, что в оценке лексики мы пользуемся только формально-генетическим методом и игнорируем конкретную историю языковых явлений, неразрывно связанную с историей общества, не принимаем во внимание смысловое содержание слов и их контекстов. Все же на первых порах станем на формально-генетические позиции и мы, чтобы проверить, насколько соответствуют действительности утверждения, что словарный состав современного русского литературного языка по своему происхождению «по крайней мере наполовину, если не больше», «на две трети» или даже «в основном» является церковнославянским или связан с церковнославянской лексико-семантической системой. На этот счет существуют и другие мнения. Например, М. Н. Петерсон на основании анализа нескольких пушкинских текстов пришел к выводу, что церковнославянизмов в русском литературном языке имеется всего только около 8,5%¹⁶.

Когда речь идет о генетической основе языка, статистика приобретает принципиальное значение. Количественные определения церковнославянизмов в русском литературном языке А. А. Шахматова, Б. О. Унбегауна, М. Н. Петерсона и других нельзя принимать всерьез, поскольку они не основываются ни на каких подсчетах, а представляют собой всего лишь своего рода «символы веры», выражение тенденциозности теоретических установок. А. А. Шахматов и не мог произвести какие-либо подсчеты, так как в его время еще не было более или менее полных словарей нормированного русского литературного языка. В качестве доказательства

¹⁴ Б. О. Унбегаун, Историческая грамматика русского языка и ее задачи, стр. 264

¹⁵ В. В. Виноградов, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, ВЯ, 1969, 2, Л. П. Жукowska, О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода, ВЯ, 1972, 5, ср также высказывания Н. Ю. Шведовой о концепции Б. О. Унбегауна в журн «Русский язык за рубежом», 1971, 3, стр. 60—61 и другие работы

¹⁶ М. Н. Петерсон, Лекции по современному русскому литературному языку, М., 1941, стр. 19 и сл.

своего тезиса, согласно которому лексика литературного языка состоит «наполовину, если не больше» из церковнославянизмов, он приводит всего лишь 735 случайно набранных примеров. М. Н. Петерсон ограничился изучением языка только нескольких случайно взятых пушкинских текстов. Б. О. Унбегаун вообще не делал никаких подсчетов.

Между тем, более или менее точные подсчеты теперь осуществимы. Для получения статистических данных мы взяли семнадцатитомный «Словарь современного русского литературного языка», в котором приведено немногим более 120 000 слов, и «Обратный словарь русского языка» (М., 1974), содержащий в себе около 125 000 слов. Таким образом, общая исходная цифра для нас составляет 120 000—125 000 слов. При подсчетах мы берем прежде всего явления, которые дают массовые показания, остальные (вроде слов с начальными *а-* вместо русского *я-*, *е-* вместо *о-*, *ю-* вместо *у-*, *ра-*, *ла-* вместо *ро-*, *ло-*, *щ*, *жд* вместо *ч*, *щ* в основах слов, исключая причастия, деепричастия и наречия, относящиеся к грамматическим формам и др.) учитываем обобщенно, приплюсовывая их к конечному итогу.

Результаты получаются следующими. Слов с неполногласием в корнях (включая все зафиксированные в словарях архаизмы типа *брег*, *блато*, *брада*, *врата*, *млат*, *мрежа*, *праг* и т. п., в настоящее время преимущественно употребляющиеся лишь некоторыми поэтами) оказалось 4475, слов с приставками *пре-*, *пред-*, *чрез-* (вместе с архаизмами типа *пременять*, *преполовение*, *преходить*, *чресполосица*, *чресседельник* и пр.) 849, а всего слов с неполногласием 2324, т. е. около 1,7 % общего словарного состава. Между прочим, слов с полногласием в корнях мною насчитано 2335, с приставкой *пере-* и *чerez-* 2490, всего слов с полногласием 4825, т. е. в два с лишним раза больше, чем слов с неполногласием. В прошлом картина была иной. В течение XIX в. происходило резкое падение частотности неполногласных форм не только в прозаическом литературном языке, но и в языке поэзии, что было вызвано большим ограничением состава слов с неполногласием в прямых значениях (соответственно их замещением народными полногласными словами) и сведением почти на нет метафор религиозно-мифологического и библейского происхождения вроде *брег забвения*, *врата рая*, *древо жизни* и т. п. Процентное отношение неполногласных и полногласных форм в языке поэзии было в конце XVIII — начале XIX в. 57,8 и 42,4, в 40—60-х годах — уже 27,7 и 72,3, а в 70—90-х годах — 20,8 и 79,2¹⁷. В прозаическом литературном языке, особенно в его разговорной разновидности, частотность неполногласных форм в XIX в. была значительно ниже. Но мы сейчас говорим не о прошлом, а о современном состоянии русского литературного языка.

Большой удельный вес в лексике литературного языка имеют слова с суффиксами отвлеченного значения (особенно слова на *-ание*, *-(е)ние*, *-тие*, *-ие*, *-ость*, *-ство* *-тель*) и сложносоставные слова, которые А. А. Шахматов, Б. О. Унбегаун и их последователи безоговорочно относят к церковнославянизмам. Таких слов по моим подсчетам оказалось: на *-ание*, *-(е)ние*, *-тие*, *-ие* — 7755 (около 6 % словарного состава современного русского литературного языка), *-ость* (*-есть*) — 4461 (примерно 3,6 %), *-тель* (с производными *-тельница*, *-тельский*, *-тельство*) — 1388 (1,3 %), *-ство* — 1269 (1 %), итого 14 873 слова или 11,9 % всей лексики.

Сложных слов (любого происхождения), по данным Б. З. Букчиной и Л. П. Калакуцкой¹⁸, насчитывается 10 100. В семнадцатитомном и

¹⁷ Л. К. Граудина, К истории неполногласных вариантов в русской поэзии второй половины XIX века. АКД, М., 1963.

¹⁸ Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая, Сложные слова. М., 1974.

обратном словарях их около 9000 (Б. З. Букчина и Л. П. Калакуцкая использовали и источники, которые не представлены в указанных словарях), т. е. примерно 7% русского литературного словаря.

Имеются еще образования с приставками *воз-* (*вос-*), *из-* (*ис-*) с пространственно-выделительными значениями, *со-*, *во-*, которые считаются церковнославянизмами, — их всего 1250 (1% словаря). Все остальные слова с церковнославянскими признаками не превышают тысячи лексем (еще около 1% словаря). Итого по чисто формальным основаниям насчитывается как будто 26 123 церковнославянизма — около 20% лексики современного русского литературного языка. На самом же деле их гораздо меньше, поскольку часто в одном и том же слове сочетаются несколько признаков (ср. *хладнокровие* — сложное слово, неполногласная форма, *-ие* — сразу три признака, *самолетовождение*, *морозостойкость* и т. д., и т. п.). Например, по подсчетам Ю. Г. Кадькалова, более 50% форм с *-ие* (и русифицированным *-ье*) приходится на сложные слова¹⁹. Формальные признаки реализуются в слове, сами по себе они не существуют. По моей предварительной раскладке слов, которые по А. А. Шахматову и Б. О. Унбегауну мы должны считать церковнославянскими, оказывается не более 15 000, т. е. около 12%.

Остается еще группа лексико-семантических церковнославянизмов (на ее существование в русском литературном языке указывали многие исследователи), т. е. слов и значений слов, которых не было в древнерусском и великорусском языках и которые были заимствованы из старославянского и более позднего церковнославянского языка. Такие слова и значения слов, конечно, имеются. Но сколько их, каков их удельный вес в русской лексике, мы не знаем и вряд ли узнаем в обозримом будущем времени, так как для их выявления нужна колоссальная работа по сравнительно-сопоставительному и историко-этимологическому изучению всех слов русского и старославянского (церковнославянского) языков. Пока что русско-старославянские (церковнославянские) лексико-семантические сопоставления касаются единичных примеров и в ряде случаев из этих сопоставлений делаются неверные выводы. Например, в некоторых работах («особенно в учебных пособиях») считается, что такие слова, как *уста*, *очи*, *чело*, *перст* и др. (противопоставленные словам *рот*, *глаза*, *лоб*, *палец* и др.) являются церковнославянизмами, тогда как это исконно восточнославянские слова, в сфере литературного языка ставшие архаизмами и поэтому в словарях XVIII — начала XIX в. ошибочно получавшие помету «славенское». Во всяком случае, можно сказать, что процент генетических лексико-семантических церковнославянизмов не может быть значительным.

Из изложенного следует, что утверждения, будто бы лексика современного русского литературного языка «наполовину, если не больше», «на две трети», «в основном» является церковнославянской, представляют собой миф, с наукой ничего общего не имеющий. Факты рассеивают мифические гипотезы. И те 12% предполагаемых формально-генетических церковнославянизмов (плюс неизвестное количество процентов лексико-семантических церковнославянизмов), о которых сказано выше, нуждаются в комментариях.

Как было установлено выше, слова со старославянским (древнеболгарским) неполногласием составляют заметный пласт словарного состава современного русского литературного языка, хотя более чем вдвое уступают словам с восточнославянским полногласием. Церковнославянское

¹⁹ Ю. Г. Кадькалов, Отвлеченные существительные на *-ие*, *-ье* в русском языке и их взаимодействие с именами существительными других суффиксальных типов. АБД, М., 1967, стр. 4.

воздействие на русский язык было более значительным, чем на украинский и белорусский, что объясняется перерывом книжно-языковых традиций на Украине и особенно в Белоруссии. Как полагает А. С. Фидровская, «в белорусском и украинском языках полногласные формы представлены шире, чем в русском»²⁰. По ее мнению, в украинском и белорусском языках количество полногласных корней, допускающих параллельные неполногласные формы, составляет менее четверти слов с полногласием, тогда как в русском языке их более половины²¹. Однако нельзя игнорировать то, что очень большое количество слов с неполногласием образовалось на русской почве, их не было в старославянском языке. Образовывались эти слова как в церковнославянском языке русской редакции, так и в самой русской народной речи. Например, слово *драгоценный* и его производных не было в старославянском языке, нет его и в русских памятниках XI—XVI вв. *Драгоценный* как русское книжное образование впервые появляется в новгородской Библии Геннадия 1499 г., а *драгоценный* только в русской письменности XVII в., в записях песен и былин. Слово, по-видимому, появилось в XIV в., но широкое распространение получило только с XVII в.²² Как отмечает Б. О. Унбегаун, слово *прохлаждаться* (здесь не только неполногласие, но и сочетание *жд*) возникает в народно-разговорной (не в книжной) речи и попадает в письменность в XVI в. Только в конце XVIII — начале XIX в. слово *прохлада* теряет значение «удовольствие; наслаждение» и сохраняет теперешнее: «приятная свежесть; тень; умеренное тепло»²³. Некоторые слова являются ложными церковнославянизмами: они были заимствованы из польского языка и лишь в результате субституции получили неполногласную огласовку. Ср. *охрана*, *охранка* из польского *ochrona*, *ochronka* (с XVII в.), а не образование от *охранять*; *поздравить*, *поздравлять*, *поздравление* (впервые засвидетельствованы у Курбского) из польск. *pozdrawić*, *pozdrawienie* и др.²⁴

В русском языке, в том числе и в диалектной его разновидности, происходили всякого рода преобразования в словах с неполногласными формами: создание новых слов, иное их оформление, а также переосмысление и стилистическое опрощение. Бранное слово *мразь* (его А. А. Шахматов приводит как пример «чистого» церковнославянизма) возникает в диалектной среде и впервые зафиксировано в «Опыте областного словаря» 1852 г., а в современных толковых словарях обозначается как просторечное. Ср. еще *младше* (просторечное; диалектное *млаже*), *младшенький* (разговорное), *сласть* «сладость» (*зевнул во всю сласть* — просторечное), *сласти* «кондитерские изделия, лакомства» (разговорное), *сластена* (разговорное; впервые в Словаре 1847 г.), *сладоужка* (то же, впервые в «Опыте» 1852 г.), *сластоужка* (то же, впервые у Даля), *благой* (*кричать благим матом* — просторечное), *блажить*, *блажь*, *блажной* (все просторечные) и т. д., и т. п. Эти и им подобные слова попадают в литературный язык (обычно в позднее время) не из церковнославянского языка, а из бытовой

²⁰ А. С. Фидровская, О полногласных и неполногласных формах в белорусском и украинском языках, сб. «Памяти В. А. Богородицкого (к столетию со дня рождения)», Казань, 1961, стр. 137.

²¹ Там же, стр. 140.

²² Р. М. Цейтлин, К истории слова *драгоценный* в русском литературном языке, сб. «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию чл.-корр. АН СССР С. Г. Бархударова», М., 1974, стр. 179—184.

²³ В. О. Унбегаун, Vulgarisation d'un terme liturgique russe: *прохлаждаться*, в его кн.: «Selected papers on Russian and Slavonic philology», Oxford, 1969, стр. 113.

²⁴ С. Т. Кохман, К вопросу о неославянизмах, сб. «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию чл.-корр. АН СССР С. Г. Бархударова», М., 1974, стр. 154—159.

разговорной речи и из русских говоров²⁵. Предстоит огромная работа по выявлению неполногласных слов, доставшихся нам непосредственно из старославянского (древнеболгарского) источника (через письменность и, может быть, частично в процессе устного общения древних восточных славян с южными славянами и известной частью западных славян), из церковнославянского языка и из русской народно-разговорной речи. Когда такая работа будет выполнена, мы увидим, что история неполногласия в русском литературном языке является не такой прямолинейной, как ее представляли себе А. А. Шахматов и Б. О. Унбегаун²⁶. Дело ведь не только (и даже не столько) в том, что заимствуется, сколько в том, как и во что «перерабатывается» заимствованное в заимствующем языке. Мы имеем дело с реально существующими (и существовавшими) словами, а не с абстрактными признаками (в данном случае с неполногласием), которые вне слов сами по себе не бывают. Если все это учесть (а мы это обязаны делать), то из 2324 (см. выше) неполногласных слов далеко не все окажутся генетическими церковнославянизмами. Многие были созданы самим русским народом.

Еще сложнее обстоит дело с церковнославянским суффиксально-префиксальным словообразованием. Суффиксы *-ание*, *-ение*, *ние*, *-тие*, *-ие*, *-ость* (*-есть*), *-ство*, *-тель*, *-знь*, (*жизнь*, *болезнь*) и др. имелись еще в праславянском языке, из которого они были унаследованы поздними славянскими языками, и сами по себе они не являются в русском языке генетическими (этимологическими) старославянизмами (церковнославянизмами)²⁷. В первых трех выпусках «Этимологического словаря славянских языков» (М., 1974—1976, под ред. О. Н. Трубачева), в котором представлен опыт реконструкции праславянского лексического фонда, имеются слова на указанные суффиксы, особенно на *-ъje* (ср. * *bezdъžbje*, * *bělostь*, * *blědostь* и др.). Фиксируются они и в публикующемся словаре «Słownik prasłowiański» под ред. Ф. Славского.

Работы Л. Н. Булатовой, С. Б. Бернштейна²⁸ и других исследователей подтверждают, что в отдельных славянских языках *-ие*, *-тель* и прочие интересующие нас форманты были унаследованы из праславянского фонда. Старославянское (позже церковнославянское) воздействие выразилось в активизации словообразования посредством этих формантов. Бесписьменные древнеславянские языки, в том числе и древнерусский (восточнославянский), имели по сравнению с высоко развитым греческим (византийским) языком слаборазвитую систему слов, выражающих отвлеченные понятия, поэтому способы образования таких слов находились в древнерусском языке, по выражению Г. Хютль-Ворт, как бы в зародышевом, «дремлющем»

²⁵ Употреблению неполногласных слов в русских народных говорах посвящен ряд статей О. Г. Пороховой. См. ее работы: «О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах, 1. Варьирование» («Диалектная лексика. 1969», Л., 1971); «О лексике с неполногласием и полногласием в русских говорах, ч. III (Лексико-семантические и морфологические особенности слов с корнями *брем-/берем*, *бреж-/береж*, *празд-/порож*-, *прах-/порох*-, *слад-/солод*-, *смад-/смород*-)» («Диалектная лексика. 1974», Л., 1976) и др.

²⁶ Почин этой работы сделан в исследованиях Л. А. Булаховского, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, В. В. Замковой, Т. Н. Кандауровой, Б. А. Ларина, С. П. Обнорского, Ф. П. Филина, Г. Хютль-Ворт (теперь она Г. Хютль-Фольтер) и многих других лингвистов, но главное еще впереди.

²⁷ Описание праславянского и иного времени суффиксов дано в хорошо обозримой форме в кн.: V. K i r a s k y, Russische historische Grammatik, III, Heidelberg, 1975, стр. 181—305.

²⁸ Л. Н. Булатова, Отглагольные существительные на *-ние*, *-тие*, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», VII, 1957; С. Б. Бернштейн, К истории славянского суффикса *-tel'*, сб. «Русское и славянское языкознание. К 70-летию чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова», М., 1972.

состоянии ²⁹ Вызванный к жизни христианизацией славян старославянский язык вобрал в себя из византийского языка множество отвлеченных понятий и средств их обозначения путем прямых лексических заимствований, калькирования, расширения собственных средств словообразования, упорядочения и усложнения синтаксического строя. Если бы письменный язык впервые возник и получил свой расцвет не в Моравии и на Балканах, а в древней Руси, результат был бы тем же. Получив толчок извне, образование слов с отвлеченными «книжными» понятиями интенсивно осуществлялось на Руси в течение веков как в переводной (ср. хотя бы богатую в словарном отношении «Хронику» Георгия Амартола), так и в оригинальной литературе.

Конечно, процесс этот происходит неравномерно, с разной степенью интенсивности. Нередко считается, что *-ие* старославянского (церковнославянского), а *-ье* русского происхождения или представляет собой русифицированную форму (в зависимости от значения). Генетически это не так. Редукция «напряженного» *ь* (а следовательно, и написание *-ье* вместо *-ие*) в старославянском языке произошла раньше, чем в древнерусском (как вообще падение редуцированных гласных). Как показал С. П. Обнорский, в языке Ефремовской Кормчей XII в. *-ие* было еще нормой, а написание *-ье* (*-ья*, *-ью*) единичны и в рукописи они оказались под влиянием болгарского оригинала³⁰. Только после падения *ь*, *ь* произношение *-ие* сохраняется в церковнославянском языке, а впоследствии становится признаком книжности. Налет книжности слов с *-ие* чувствуется и теперь, хотя в большинстве случаев нет каких-либо четких правил разграничения *-ие* и *-ье*. В современных словарях даются *мгновение* и *мгновенье*, *повторение* и *повторенье* и т. п. как равноправные варианты. Однако в просторечных и разговорных словах закрепляется *-ье* (*баюканье*, *тявканье*, *хрюканье*), а в книжных преимущество имеет *-ие* (*взятие*, *образование*, *машиностроение*).

Необходимость в обозначениях огромного числа вновь возникающих понятий, связанных с субстантивацией процессов действия, вызывает лавину образований слов на *-ие*, *-ье*. Появляются они и в языке деловой и иной оригинальной древнерусской письменности с народной речевой основой (ср в «Повести временных лет» под 1097 г *устройство мира*, в XIII в. *перезимье*, в XIV в. *розгатице*, *розмирие* «немирное время» и т. п.), даже в диалектах (пск. *пособие* и др.)³¹, но особый расцвет начинается с XV в., причем отмечается злоупотребление ими не только в церковнославянской, но в одинаковой степени и в деловой письменности (ср в «Курянтах» XVII в. *обваление дворов*, *помешание войск* и пр.)³². Масса слов на *-ие*, *-ье*, употреблявшихся в письменности XI—XVIII вв., вышла из употребления и в лексике современного литературного языка не представлена. В частности, резко идут на убыль существительные на *-ие*, образованные от глаголов совершенного вида, вроде *вынюхание*, *выстегнутие*, *залитие*,

²⁹ G. Huttli-Worth, On Church Slavic interference in Russian word formation, «The Slavic Word. Proceedings of the International Slavistic Colloquium at UCLA, September 11—16, 1970», ed. by D. S. Worth, The Hague — Paris, 1972 («Slavistic printings and reprintings», 262), стр. 5 (отд. отт.) Ср. также R. R. Źižka, Das syntaktische System der altslawischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen, Berlin, 1963, стр. 7.

³⁰ С. П. Обнорский, О языке Ефремовской Кормчей, СПб., 1912.

³¹ Ф. П. Сергеев, Русская терминология международного права XI—XVII вв., Кишинев, 1972, стр. 14—15, 46, 224.

³² И. С. Хаустова, Из истории лексики рукописных «Ведомостей» конца XVII века, в кн. «Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике» [«Уч. зап. ЛГУ», 198. Серия филол. наук, 24], Л., 1956, стр. 57, 91.

заманение, издрание и т. п., в основном созданные искусственно³³ Разумеется, окказионализмы появляются постоянно (ср. *петушенье, павлинье, порывание* и др. у писателей XIX в.³⁴) Особенно много искусственных слов на *-ие, -ье* в известном словаре Даля Встречаются они в современных толковых словарях, *переработывание, насильствие, свевание, давание, грохочение, загрызание* (с речением *загрызание мыши кошкой* или без всяких иллюстраций) и т. п. Тут еще сказывается традиция переписывать слова из одного словаря в другой без достаточных для того оснований

Слова на *-ие* в современном русском литературном языке в большей своей части созданы в XVIII—XX вв. Особенно распространены они в научно-технической терминологии. Впрочем в наше время параллельное образование слов на *-ка*, в предельно времена малопродуктивное, начинает брать верх над *-ие, -ье*³⁵. В древнерусском языке образование на *-ка* представлено единичными примерами, активизация его начинается в XV—XVII вв. и, конечно, вне всякой связи с церковнославянским языком. Чрезвычайно основательное обновление лексического пласта с признаком *-ие, -ье*, причем основами послужили глаголы исконно русского и западноевропейского происхождения, наличие большого числа слов с *-ие, -ье*, узкоспециальных, малочастотных и окказиональных, не позволяет объективному исследователю утверждать, что все слова с *-ие, -ье*, составляющие около 6% словарного состава современного русского литературного языка, в генетическом отношении являются церковнославянизмами.

То же следует сказать и о всех других словообразовательных типах, которые пытаются определить как церковнославянизмы. Как показал Н. М. Шапский, образования на *-ость* в древнерусском языке были малопродуктивны. Активизация их начинается с XVI в. и особенно резко возрастает с XVII в. не без украинско-белорусского влияния, а украинский и белорусский языки в свою очередь подверглись польскому воздействию³⁶. Эта точка зрения поддержана другими исследователями³⁷. В староукраинском и старобелорусском языках активность образований на *-ость* начинается с XIV—XV вв. Следовательно, кроме русского и церковнославянского слагаемых, в этом разряде слов появляется еще украинско-белорусский и польский компоненты. Из категории генетических церковнославянизмов нужно «вычесть» какую-то сумму лексических единиц, не принадлежавших церковнославянскому языку. В XVIII—XX вв. в этом разряде, как и в других словообразовательных разрядах, происходит массовое обновление словарного состава. Ощущение новизны вновь возникающих слов обычно быстро проходит. Только из лингвистических пособий читатель может узнать, что слова *промышленность* и *потребность* были созданы Карамзиным. Обычно авторство неологизмов остается неустановленным. Так или иначе в языке XVIII в. слова на *-ость* в подавля-

³³ И. М. Мальцева, «Общи церковнославянско-российски словарь» П. Сколова 1834 г., сб. «Из истории слов и словарей», Л., 1963, стр. 107

³⁴ В. Н. Хохлачева, Индивидуальное словообразование в русском литературном языке XIX в. (Имена существительные), «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», V, М., 1962, стр. 181

³⁵ «Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 151 и сл.

³⁶ Н. М. Шапский, О происхождении и продуктивности суффикса *ость* в русском языке, «Вопросы истории русского языка», М., 1961

³⁷ Г. Хютль-Ворт, Проблемы межславянских и славянско-неславянских лексических отношений, «Славянская филология. Материалы от V Международного Конгресса на славистике», VII — Езикознание, София, 1965, стр. 266, V. K i r a g s k y, указ. соч., стр. 250—251, Е. Н. Прокониович, Словообразование существительных со значением отвлеченного качества, «Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV—XVI вв.», М., 1974, стр. 115 и сл., и др.

ющем своем большинстве являются новообразованиями. Собственно лексических церковнославянизмов, особенно семантически не видоизмененных, остается сравнительно немного³⁸. Истари существительных на *-ость* образуются от основ качественных и качественно-относительных прилагательных³⁹. В наше время, прежде всего в терминологии, возникают слова на *-ость* от существительных (*рядность, этажность, сортность* и т. п.), которые идут как бы вразрез с обычной словообразовательной моделью, причем такие слова представляют собой не единичные аномалии, а самостоятельный словообразовательный тип в пределах общей модели имен на *-ость*⁴⁰. Непрерывный рост имен на *-ость* происходит во всех лексических сферах. Например, в сельскохозяйственной терминологии И. Г. Бакутина находит в других источниках около 60 слов, отсутствующих во всех современных толковых словарях (*репродуктивность, раннеспелость, морозобоинность* и др.)⁴¹.

Сложные процессы происходят в истории всех других образований с суффиксами, выражающими отвлеченные значения. Важно, чтобы при их изучении эти процессы описывались всесторонне. Споры вызвало происхождение в русском языке суффикса *-тель*. Одни исследователи полагают, что этот суффикс хотя и был малопродуктивным, почти угасшим, но все же был унаследован древнерусским языком из праславянского, другие, наоборот, считают, что *-тель* был вовсе утрачен в древнерусском языке и его нужно считать заимствованным из старославянского языка. «Как бы то ни было, — пишет Г. Хютль-Ворт, — широкое распространение таких производных слов в допетровскую эпоху было, несомненно, обязано церковнославянскому влиянию, поскольку формы с *-тель* совершенно отсутствуют в ранних текстах деловой письменности и потому редки в современных диалектах. Среди всех имен деятеля слова на *-тель* наиболее книжные и абстрактные»⁴². Отрицать церковнославянское влияние в распространении слов на *-тель* в русском языке допетровской эпохи невозможно. Однако нельзя забывать и о том, что такие слова становятся частыми и в деловой письменности XVI—XVII вв. «Книжность и абстрактность» как следствие развития русской общественной мысли, вопреки известному утверждению Лудольфа, находили свое выражение не только в церковнославянском языке. Не так уж редки слова на *-тель* в современных русских говорах. Более того, некоторые из них были созданы в диалектной речи и вошли из нее в литературный язык. Например, есть основание полагать, что слова *сказитель, сказительница* «исполнитель, исполнительница былии» олонецкого происхождения. Во второй половине 30-х годов текущего столетия в научной литературе появляются производные от них *сказительский, сказительство*⁴³. Слова на *-тель* проникают в русский литературный язык и из западнославянских языков. Ср. *обыватель* из

³⁸ В В Веселитский, Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в., М., 1972, стр. 82

³⁹ «Грамматика русского языка», I, М., 1952, стр. 254

⁴⁰ В П Даниленко, В Н Хохлачева, О словах типа *этажность* (соотношение общелитературного и терминологического словообразования), «Вопросы культуры речи», VII, М., 1966, стр. 74

⁴¹ И Г Бакутина, О значении и словообразовательной структуре терминов земледелия с суффиксом *ость*, сб «Значения в языке и речи», Волгоград, 1975, стр. 150

⁴² Г Хютль-Ворт, Изменения и преемственность в образовании имен на *-тель*, сб «Русское и славянское языковедение К 70-летию чл.-корр АН СССР Р И. Аванесова», М., 1972, стр. 284

⁴³ Ф Л Скитова, Обогащение словарного запаса русского литературного языка XIX—XX веков областными словами *Сказитель, сказительница*, «Языковедение» [«Уч. зап. Пермск. гос. ун-та им А. М. Горького», 162], 1966, стр. 61 и сл

польского *obywatel*, которое в свою очередь из чешского *obywatel* (в польском до гласно было быть *obywaciel*)⁴⁴.

Г. Хютль-Ворт справедливо отмечает «невероятный рост» слов на-*тель* в наше время, особенно в обозначениях машин⁴⁵. Конечно, вряд ли этот процесс можно связывать с влиянием церковнославянского языка.

Дальнейшие исследования истории приведенных выше и пылх суффиксов со значением отвлеченности⁴⁶ несомненно покажут, насколько сложно возникновение и развитие слов, образованных посредством этих суффиксов, и как неосторожны лингвисты, которые в угоду своим упрощенным и прямолинейным гипотезам приписывают языку то, чего в нем не было и нет.

Как было отмечено выше, префиксальных образований с признаками церковнославянизмов в современном русском литературном языке насчитывается всего около 1% словарного состава. Вокализация *воз-*, *во-*, *со-* произошла довольно рано (ср. в Изборнике 1073 г. *воздухъ*, *возвратъ* и др.) и, вероятно, была вызвана наличием сочетаний двух последующих согласных, что могло произойти и в самом народном древнерусском языке. Впрочем, преимущественное употребление вокализированных префиксов в церковнославянских текстах свидетельствует о церковнославянском происхождении тенденции распространения образований с *воз-*, *во-*, *со-*. Однако и в данном случае картина оказывается достаточно сложной. Например, образования с *воз-* (*возо-*, *вос-*) в народных говорах по своему числу не уступают аналогичным словам в литературном языке, причем многие из них оказываются диалектными (*возгавкать*, *восполетывать*, *воспонежиться* и т. п.). Особенно они распространены в языке фольклора. В самом литературном языке продуктивность образований с *воз-* резко падает⁴⁷.

По сравнению с другими словообразовательными типами самой большой удельный вес в современном русском литературном языке занимает словосложение. Как известно, словосложение своими корнями уходит в глубокую индоевропейскую древность. Оно было достаточно широко представлено в праславянском языке, откуда было унаследовано древнерусским языком в дописьменную эпоху. Словосложение в русский язык не было заимствовано из старославянского языка (ср. др.-русск. *березозоль*, *медьбди*, собственные имена типа *Дажь богъ*, *Мьстиславъ* и т. д., и т. п.). Сложные слова имеются во всех жанрах древнерусской письменности, тысячи их зафиксированы в русских народных говорах. Церковнославянское влияние (кстати, пока плохо изученное) сказалось в активизации книжных образований сложных слов (словосложение расцветает в стилях, для которых было характерно «извитие словес»). Однако какими тут были количественные пропорции (сколько было церковнославянизмов и сколько русизмов), определить невозможно. Искусственные образования, как и широко представленное в сложных словах калькирование, осуществлялось как в церковнославянских, так и в оригинальных и переводных светских текстах. Имеются некоторые косвенные свидетельства церковно-

⁴⁴ Е. И. Мельников, О чешских лексических элементах в русском языке, заимствованных через посредство польского и других языков (в XIV—XIX вв.), «Slavia», XXXVI, 1, 1967, стр. 104.

⁴⁵ Г. Хютль-Ворт, Изменения и преемственность в образовании имен на-*тель*, стр. 289.

⁴⁶ О других суффиксах отвлеченности см. Г. А. Николаев, Имена существительные с суффиксом *-ствие* в словарях XVIII в., в кн. «Очерки по истории русского языка и литературы XVIII в.» («Ломоносовские чтения», 3—4), Казань, 1969, Р. В. Желенова, Из истории личных имен существительных с суффиксом *-арь* в русском литературном языке АНД, М., 1974, и др.

⁴⁷ П. И. Павленко, Слова с приставкой *воз-* в русских народных говорах (в сопоставлении с литературным языком) АНД, Л., 1973.

славянского влияния в этом типе словообразования еще И В Ягич в свое время отметил что словосложение представлено в литературных восточнославянских и южнославянских языках шире, чем в западнославянских литературных языках⁴⁸ Это высказывание повторялось Е Дикенманом⁴⁹ и некоторыми другими зарубежными и отечественными исследователями, но оно нуждается в серьезных подкреплениях Словосложение очень характерно для немецкого языка и не играет большой роли во французском, хотя эти языки не подвергались какому-либо старославянскому влиянию

Высказывалась мысль что неославянские аффиксами сложные слова типа *пулемет громоствод, скоростной* восходят к древнейшему типу и являются по происхождению исконно русскими а аффиксально остоянные сложились в церковнославянском языке⁵⁰ Такое утверждение не соответствует действительности Множество просторечных и диалектных сложных слов имеет дополнительные аффиксальные оформления (ср *кнутобоиничать, кнутобоец, мухоморный* и т п) что вполне естественно сложным словам, как и все прочие, с самого начала их возникновения подчинились действовавшим в языке законам словообразования По формальным признакам сложные слова русского и церковнославянского происхождения различить крайне трудно если не невозможно Единственно верный путь — изучение истории каждого отдельного слова и групп слов

Основная масса сложных слов в современном русском литературном языке относится к позднему или совсем позднему происхождению Многие из типов возникают в XVIII—XX вв вне всякой связи с церковнославянской лексикой Например, сложения с компонентом *свеже* (*свежеспиртные, свежеразбитые* и пр) впервые появляются только во второй половине XVIII в Почти все сложные наречия (а их очень много) — образования XVIII—XX вв⁵¹ Новый период в истории русского языка характеризуется лавинообразным нарастанием сложных слов самых разных типов и источников А М Бабкин приводит немало новообразований из фразеологизмов *шапкозакидательство* (из *шапка и закидаем*) *немогузнайство, пенкосниматель* (образование Салтыкова Щедрина), *всамделишный, сиюминутный* и т д, и т п⁵² Большое количество сложных слов образуется из заимствований *автомобиль, биоконбаин, гигропресс* и пр⁵³ — ими полна научно-техническая терминология

Еще с XVIII в установилась традиция называть книжные и на них похожие образования «славянорусизмами» Термин этот был крайне расщепляемым уже в XVIII в (в славянорусизмы зачислялись архаизмы ю-

⁴⁸ V Jagic Die slavischen Composita in ihrem sprachgeschichtlichen Auftreten, «Archiv für slavische Philologie» XXI 1 1899 стр 31—43

⁴⁹ E Dickmann Untersuchungen über die Nominalkomposition im Russischen Leipzig 1934

⁵⁰ А В Десницкая Архаичные черты в индоевропейском словосложении (Язык и мышление), XI, М—Л 1958 стр 133—152 М Я Немировский Народные истоки словосложения в славянских языках (Вопросы славянского языкознания) кн четвертая Львов 1955 А А Царев Сложные слова в языке научной прозы М В Ломоносова, (Очерки по истории русского языка и литературы XVIII в) («Ломоносовские чтения», 2—3) Казань 1969 стр 90

⁵¹ К Л Рябенцев О сложных словах в современном русском языке (Ученая записка Северо-Осетинского государственного университета им К Л Хетагурова) 3 ч I — Филологические науки Орджоникидзе 1966, стр 34 и сл Р К Лавецкая Образование терминологической лексики путем сложения причастия с основами других полнозначных слов, «Материалы по русско-славянскому языкознанию» Воронеж 1966 стр 147, и сл и др

⁵² А М Бабкин Русская фразеология ее развитие и источники Л, 1970, стр 11—12 71—76 104

⁵³ M Dumitrescu Новое в лексике современного русского языка (1968—1972), «Доклады и сообщения, представленные на седьмом международном съезде славистов (Варшава, 21—27 августа 1973 г.)», Bucuresti 1973, стр 5 и сл

бого происхождения, в том числе исконно русские слова, греко латинские и западноевропейские заимствования) а с современной научной точки зрения он ничем не оправдывается. Далее в тех случаях, когда церковнославянские признаки в слове несомненны (например, непологласце), вряд ли оправдана постановка на первое место компонента «славяно» (т. е. «церковнославяно»). Разумеется, формальные признаки слова для лексикологии очень существенны, но определяющим в слове является его лексическое значение (основа заключенной в нем информации) и среда (язык, диалект), в которой слово возникло или приобрело новую семантику. Недавно предложенный термин «неославянизм» и вовсе не годится, так как в нем заключена оценка слов типа *луноход* и *истребитель* как новых церковнославянизмов по чисто формальным (как мы видели выше, церковнославянское происхождение многих форм оказывается мнимым) признакам. Говорят о лексике, а считают не слова, а взятые изолированно словообразовательные морфемы вне зависимости от содержания слов, обстоятельств, места и времени возникновения четко оформленных лексических единиц. Гипотезы строятся на основе тенденциозных идей, а не на базе реальных фактов. Но даже и при этих условиях формально генетических церковнославянизмов при надлежащей проверке данных оказывается всего около 12% словарного состава современного русского литературного языка.⁵⁴ На самом деле принимая во внимание все сказанное выше их значительно меньше влияние церковнославянского языка в основном сказалось на активизации имевшихся уже в древнерусском народном языке словообразовательных средств. На каких весах и как можно взвесить удельный вес активизированных словообразовательных формантов если главная масса русской литературной лексики, образованная посредством этих формантов, сложилась у русскоязычного населения, причём не за короткий промежуток времени, а в течение многих веков?

Остается еще основной лексический пласт, общий у русского и церковнославянского языков. Странники церковнославянского происхождения русского литературного языка склонны считать его церковнославянским. А на каком основании? Общее у двух близкородственных языков принадлежит посетителям каждого языка. Слова *вода*, *дуб*, *ходить*, *светлыи* и т. п. по крайней мере в их исходных, не книжных значениях со всеми их семантическими микрополями были в активном словарном запасе не только у книжников но и у неграмотных людей, не знавших церковнославянского языка. Нельзя отделить литературный язык от народа его создавшего.

Наконец несколько замечаний о синтаксисе. Прежде всего нужно сказать о различии между синтаксисом письменных текстов и разговорной речи, существующем во всех письменных языках мира. Письменная фиксация текстов, особенно если она уже имеет традиции, делает синтаксис более стройным и упорядоченным. В письменном синтаксисе развиваются сложные предложения находит свое широкое выражение гипотаксис. Когда возник старославянский язык, на его синтаксический строй оказал влияние греческий язык, хотя степень этого влияния далеко еще не определена и является предметом дискуссии.⁵⁵ Упорядочение синтаксиса

⁵⁴ Я Ригер (J. Rieger Glosa w sprawie pochodzenia współczesnego rosyjskiego języka literackiego, «Slavia orientalis» XXII 2 Warszawa 1973 стр. 241) пользуясь частотным словарем Э Штинфельд (Э. А. Штеинфельд Частотный словарь современного русского литературного языка М. 1969) насчитал самое большее по слогу словам 16% слов с формальными признаками церковнославянизмов.

⁵⁵ Из обширной литературы предмета сошлюсь здесь на работы Л. Йордаль, Греческие синтаксические связи («Scando slavica», XIX, 1973 стр. 143—164, Н. Вигнаум On medieval and Renaissance Slavic writing в его кн. «Selected essays» The Hague—Paris 1974 стр. 381 Б. И. Скупский и Дательный самостоятельный и вопросы истории славянского перевода евангелия АДД, М. 1975

(в частности, развитие гипотаксиса) происходило и в языке памятников древнерусской письменности, основой которого была народная речь. Каково было воздействие синтаксиса церковнославянского языка на синтаксис русского литературного языка? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала установить синтаксические различия между церковнославянским и русским языками. Однако, несмотря на наличие большого количества работ по историческому синтаксису этих языков, наши сведения в этой области являются отрывочными и очень скудными. Исследователи обычно ставили и ставят перед собой задачу изучения истории отдельных синтаксических конструкций и синтаксического строя в целом без специального внимания к различиям между церковнославянским и русским языками. Впрочем установить эти различия между близкородственными языками дело крайне трудное.

Если мы согласимся с исследователями, считающими, что дательный самостоятельный оборот, предложения с одним отрицанием вместо двух (*а никого пьяного напоил = а никого пьяным не напоил*) и некоторые другие являются специфическими особенностями старославянского языка, то это не меняет сущности дела, так как подобного рода конструкции отсутствуют в современном русском литературном языке. В XVII—XVIII вв. происходит бурный процесс замены церковнославянских союзов типа *аще, егда, вневда, дондеже* и других русскими по происхождению союзами *если, когда, тогда, потому что* и т. п.⁵⁶ С переосмыслением именных и местоименных причастий развиваются деепричастные и причастные конструкции (процесс этот был основательно исследован еще А. А. Потембей), и в настоящее время мало свойственные неприпущенной разговорной речи. Церковнославянское влияние тут несомненно (ср. формальный признак *-щ-*: *читающий* и пр.), но не абсолютно: причастные и деепричастные конструкции с самого начала были свойственны всем жанрам письменности, в том числе и по своему языку русским в своей основе.

Таким образом, утверждение Б. О. Унбегауна, что синтаксис современного русского литературного языка (особенно синтаксис сложного предложения) является церковнославянским, по меньшей мере преждевременно и, следовательно, необоснованно. Можно вполне согласиться со словами Н. Ю. Шведовой: «что касается синтаксиса, то, работая над грамматикой (и ранее — над изучением русского литературного языка в XVIII—XIX вв.), мы еще раз убедились, что ни о какой „русификации“ церковнославянского синтаксиса, якобы представленной сейчас в нашем языке, говорить нельзя: весь строй простого предложения, система связей и соотношения частей в сложном предложении, система подчинительных связей слов и образующиеся на ее основе словосочетания являются собственно русскими. В книжной речи действительно сохранились отдельные конструкции церковнославянского происхождения, что является фактом общеизвестным. Влияние же на русский синтаксис строя языков французского и немецкого, с одной стороны, сильно преувеличено, с другой — синтаксические кальки XVIII в. сейчас в значительной своей части утрачены. В целом нужно сказать, что концепция проф. Унбегауна, внешне как будто стройная, отражает недостаточное знаком-

⁵⁶ Л. А. Булаховский, Исторический комментарий к русскому литературному языку, изд. 3-е, Киев, 1950, стр. 54; Э. И. Кротаева, Союзное подчинение в русском литературном языке второй половины XVII века, М.—Л., 1964; Е. Т. Черкасова, К вопросу о самобытности синтаксического строя русского языка, ВЯ, 1972, 5, стр. 77—81; Л. И. Кременица, Сложноподчиненные предложения с придаточным времени в русском литературном языке XVIII века. АКД, М., 1975; и др.

ство с богатыми материалами, накопленными исследователями русского языка в последние десятилетия»⁵⁷.

Итак, гипотеза о церковнославянском происхождении современного русского литературного языка и тем более о теперешнем его церковнославянском облике не подтверждается фактами, противоречит фактам и как необоснованная должна быть отвергнута. Только в угоду своей тенденциозной схеме А. А. Шахматов и особенно Б. О. Унбегаун произвольно вычеркнули из категории литературного языка язык деловой письменности и иных «низких» жанров⁵⁸. Они видели лишь культурно-языковую преемственность и непрерывную традицию в развитии письменного языка от XI в. до наших дней. Из этого получалось, что поскольку в древней Руси литературным языком был один церковнославянский язык, постольку и в наши дни (при непрерывности традиции) литературный язык по происхождению является церковнославянским или даже (по Б. О. Унбегауну) и теперь остается церковнославянским. Традиции традициям, однако с самого начала письменности в древней Руси складывается собственно русский литературный язык, на протяжении веков находившийся в сложном взаимодействии с языком церковнославянским. В XVI и особенно XVII вв. вместе с возросшими светскими потребностями русского общества возникают и расцветают многие новые литературные жанры, начинает большую роль играть демократическая литература. XVIII век был передомным. Церковнославянский язык, несмотря на упорное сопротивление реакции, сдает свои позиции, отходит на второй план. Неслучайно церковнославянские слова и обороты многими писателями XVIII в. используются в комических целях⁵⁹. Наш современный литературный язык по происхождению своему является русским. Церковнославянский язык сохраняется и теперь, но даже невооруженному глазу видно, что этот язык является другим языком, малопонятным для непосвященных. С него переводят на современный русский литературный язык (библию, евангелие и пр.).

Если современный литературный язык в генетическом плане является русским, то в функциональном отношении он тем более русский. Многочисленные церковнославянские, западноевропейские и иные заимствования настолько ассимилируются им, что об их иноземном происхождении обществу сообщают только филологи. Сравнительно недавно М. В. Ломоносов формы *говорящий, чавкающий, марамый, брякнувший, нырнувший* и пр. считал непристойными, «несносными слуху», «весьма противными», а теперь никто не замечает их особого положения. Слово *чай* с его производными выполняет ту же роль, что и этимологически исконные слова, хотя оно через тюркское посредство пришло к нам из Северного Китая (сев.-кит. *ча* «чай»). Чем в более широком употреблении находится заимствование, тем скорее оно утрачивает свои иноземные черты.

Чтобы закончить статью, коснемся еще одной гипотезы. А. В. Исаченко, например, считает, что современный русский литературный язык возник в узкой сфере образованного дворянства во второй половине XVIII — начале XIX в. под сильным воздействием французского языка, поскольку образованное дворянство было двуязычным. Русско-французское двуязычие — явление давно известное. Современный исследователь по этому поводу пишет: французский и русский языки в системе двуязычной куль-

⁵⁷ «Русский язык за рубежом», 1971, 3, стр. 60—61.

⁵⁸ Подробно об этом см.: Ф. П. Ф и л и н, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 3—12.

⁵⁹ См., например, наблюдения в книге: А. Г р а н и е с, Просторечные и диалектные элементы в языке русской комедии XVIII века, Bergen — Oslo — Tromsø, 1974, стр. 48 и др.

туры «были не смешаны, а диалогически сопоставлены, интерференция естественных языков в практике их многолетнего сосуществования в одной области была ничтожной»⁶⁰ Надо полагать, это верно. Все же, конечно, французское влияние на русский язык несомненно. Только вот вопрос, каков удельный вес галицизмов в современном русском литературном языке? На этот вопрос ответа пока мы не имеем. Не пытается делать хоть сколько-нибудь серьезные разыскания в этой области и А. В. Исаченко, а одним голословным заявлением для науки явно недостаточно.⁶¹ А. С. Пушкин от лично владеет французским, но прославился он своими замечательными произведениями, написанными на русском языке. Язык Пушкина был неразрывно связан с народными источниками, что и позволило ему стать основателем национального литературного языка. Нет, неокараамизм не возродить, как и неошишковизм.

⁶⁰ И. А. Паперно, О двуязычной переписке пушкинской эпохи «Труды по русской и славянской филологии» XXIV — Литературоведение [«Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та», 358], Тарту, 1975, стр. 152—153.

⁶¹ Работы А. В. Исаченко последнего времени (A. V. Issatschenko, Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache «Zeitschrift für slavische Philologie» XXXVII, 1974, стр. 235—274 и т. д.; Mythen und Tatsachen über die Entstehung der russischen Literatursprache, Wien, 1975, 52 стр. и некоторые другие) не только голословны, но представляют собой пасквили, далекие от науки. Впрочем об этом как-нибудь в другой раз.

КОНОНОВ А Н

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРЕЦКОГО ПИСЬМЕННО-ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

«Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет так же как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Письменный язык оживает поначалу выражениями рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка» (А. С. Пушкин)

Главенствующим этническим элементом сельджуцкого войска, вторгнувшегося в Малую Азию, разбившего византийскую армию в битве при Малазгирте ~ Манцикерте (26 авг 1071 г) и основавшего Конийский султанат, предтечу Османской империи, были огузы — коллективный этноним, объединивший 24 тюркских племена. В состав сельджуцкого войска, кроме огузов, входили также тюркские племена кыпчаки, карлуки, агач эри, кангылы и т. п., которые принадлежали к двум другим группам тюркских языков — кыпчакской и карлукской.

Проникновение тюркских племен в Малую Азию начавшееся в конце IV в., шло как с востока, так и с запада¹.

В Анатолии рано появились различные группы огузов и печенегов, христиан и идолопоклонников, которых Византийская империя переводила из Румелии, чтобы поселить их на своих восточных границах².

Кыпчакско-карлукские этнические элементы в составе населения Малой Азии, количественно заметно уступавшие огузам, получили в дальнейшем поддержку в новых приливах кыпчаков и карлуков. Таких приливов было по крайней мере два: монгольское нашествие на Малую Азию в XIII в. и завоевание Малой Азии Тимуром (Анкарская битва 1402 г.), в составе войск которого были и тюркские племена Средней Азии.

Фонетико-грамматические и лексические элементы трех (огузской, кыпчакской, карлукской) групп тюркской семьи языков с преобладанием огузской основы явились базой малоазийско-илиано-атлийско-тюркского языка, на которой возник и развился турецкий (османский) письменный литературный язык.

Турецкий филолог М. Мансуроглу справедливо полагал, что пришедшие в Анатолию турки-сельджуки не являлись представителями старой тюркской культуры³, верхние слои этих тюрков, не имея собственной

¹ Подробнее см. Д. Е. Еремеев, Этногенез турок (Происхождение и основные этапы этнической истории), М., 1971, стр. 53—73, Р. А. Гусейнов, Тюркские этнические группы XI—XII вв. в Закавказье, «Тюркологический сборник 1972», М., 1973, стр. 375—381.

² M. F. Korçulu, Les origines de l'empire ottoman. Paris, 1935, стр. 50.

³ M. Mansuroğlu, Anadolu da Türk yazı dilinin başlaması ve gelişmesi, «İstanbul Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı dergisi» (далее — TDED), IV, 1951, 3.

письменной литературы, вынуждены были взять за образец арабскую и персидскую литературы; упрочению позиций арабского и персидского языков способствовало также следующее обстоятельство: арабский язык у всех мусульман был языком религии, науки, дипломатической переписки; персидский язык издавна был языком поэзии и канцелярского делопроизводства.

Широко распространенное явление, характерное «для эпохи феодализма, эпохи, предшествующей образованию национальных литературных языков,— это употребление в качестве письменно-литературного языка не своего, а чужого языка»⁴: латинский — в Западной Европе, французский — в Англии, персидский и арабский — в странах «мусульманского» Востока, древнеболгарский — у южных и восточных славян, немецкий — в Чехии и Прибалтике, классический китайский — в Японии и Корее.

В момент зарождения османской государственности (конец XIII — начало XIV в.), которая складывалась, следуя «образу и подобию» Конийского султаната, единого тюркского письменно-литературного языка Малой Азии не было, как его не было и во время господства здесь малоазиатских сельджукидов. В диванах (присутственных местах) Конийского султаната официально-канцелярским языком, равно как и языком «светского» общения и поэзии, был язык персидский. Известна только одна попытка закрепить за тюркским языком положение официального, государственного языка: Караманоглу Мехмед-бей, везир лжесултана Сиявуша (Джимри), вождя повстанцев, захвативших Конию в 1277 г., издал указ, запрещающий употребление в государственных канцеляриях, при дворе и даже в частной жизни какого-либо другого языка, кроме тюркского⁵. Запрещение пользоваться персидским языком в частной жизни свидетельствует о широком его распространении среди верхних слоев сельджукского общества.

Попытка Караманоглу Мехмед-бея упрочить положение тюркского языка в официальной жизни Малой Азии не имела (и не могла иметь по причине отсутствия в это время общего малоазиатско-тюркского письменного языка) сколько-нибудь заметного влияния на судьбы тюркского письменного языка.

От времени господства Данышмендидов, правивших в юго-восточной части Малой Азии (1067—1180), не сохранилось ни одного произведения тюркской литературы, написанного в пределах этого государства. «Сказание о Мелике Данышменде», повествующее о днях и делах одного из Данышмендидов, датируется, судя по спискам этого сочинения, XIV—XVI вв.

Крупнейшими представителями персоязычной суфийской поэзии в Малой Азии XIII в. были Джеляледдин Руми (1207—1273) и его сын Султан Велед (1226—1312), оказавшие впоследствии значительное влияние на развитие османской поэзии⁶. Тюркоязычная литература была представлена поэтами-суфиями и медахами-рапсодами, которые, обращаясь в гущу простого народа, естественно, должны были с тюрками говорить

⁴ В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, М., 1967, стр. 44.

⁵ «Encyclopédie de l'Islâm», IV, Leyde — Paris, 1934, стр. 989; В. А. Гордлевский, Государство Сельджукидов Малой Азии, «Избр. соч.», I, М., 1960, стр. 65.

⁶ О «неотразимом влиянии персидской суфийской поэзии Джеляледдина на турецкую» см.: А. Е. Крымовский, История Турции и ее литературы, I, М., 1916, стр. 158 и сл. Библиография работ, посвященных лексико-грамматическому анализу тюркских сочинений Джеляледдина Руми и Султана Веледа, приведена в статье: W. Jöckhmann, Die klassisch-osmanische Literatur, «Philologiae Turcicae Fundamenta» (далее — PhTf), II, Wiesbaden, 1964, стр. 459—460.

по-тюркски. Джеляледдин Руми, стремясь донести свои суфийские идеи до «людей базара» (ehl-i bazar), т. е. до простого люда, пытался писать стихи на местном тюркском языке, которым владел очень плохо.

С той же целью Султан Велед в свои поэтические сочинения, написанные в основном на персидском языке, вставлял большие пассажи на двух самых распространенных языках Малой Азии того времени — на анатолийско-тюркском (всего 367 стихотворных строк, вкрапленных в три его поэмы) и греческом, хотя, по его собственному признанию, тюркский язык он знал плохо.

В языке тюркских поэтических и прозаических произведений XIII—XIV вв., т. е. периода монгольского нашествия и эпохи Золотой Орды, в силу перемещения больших масс тюркоязычного населения на Запад, произошло смешение фонетико-грамматических и лексических элементов, характерных для огузских, кыпчакских и карлукских языков.

Этот «смешанный» язык характерен и для сочинений, написанных в XIII—XIV вв. в пределах Малой Азии. Один из ранних османских филологов очень метко определил подобные сочинения: «olga-bolga ibâretince yazmışlar»⁷, так как они были написаны с использованием форм olga-bolga, под которыми разумелось смешанное употребление двух характерных для определенных групп тюркских языков вспомогательных глаголов *ol-/bol-* «делаться», «становиться», с которыми в свою очередь связано применение определенных грамматических форм.

В конце XIII в. на поэтическом небосклоне Малой Азии взошли две звезды первой величины, появились два выдающихся поэта-суфия Юнус Эмре (1240/41—1320)⁸, автор дидактической поэмы «Risalat al-Nushiyya» («Книга благих советов»), и Ашик-паша (1271/72—1332)⁹, написавший знаменитый суфийский «Стоглав» — «Garib-name» («Книга чужака») и ряд других сочинений.

Сочинения названных поэтов были написаны на языке, близком к народно-разговорному языку анатолийских (малоазиатских) тюрок, сохранявших основные фонетико-грамматические признаки среднеазиатско-тюркского языка (см. ниже), который был понятен «людям базара» — основной аудитории поэтов-суфиев.

Эти поэтические произведения явились основой, на которой постепенно стало воздвигаться здание письменно-литературного анатолийско- (малоазиатско-) тюркского языка, предтечи турецкого (османского) литературного языка в двух его разновидностях — письменной и разговорной.

На историю сложения письменно-литературного тюркского языка Малой Азии XIII—XIV вв. существенное влияние оказывали арабский и персидский языки.

Положение тюркского языка в «большой» литературе того времени предельно четко охарактеризовал Ашик-паша в следующих полных гнева строках:

⁷ Z. Korkmaz, Selçuklular çağı Türkçenin genel yapısı, «Türk dili araştırmaları yıllığı. Belleten» (далее — TDAYB), Ankara, 1972, стр. 17; Şinasi Tekin, 1343 tarihli bir eski Anadolu Türkçesi metni ve Türk dili tarihinde olga-bolga sorunu, TDAYB, 1973—1974.

⁸ P. M. Моллов, Юнус Эмре, «Краткие сообщ. Ин-та народов Азии», 60, М., 1962; A. Gökrınarlı, Yunus Emre, Risalat al-Nushiyya ve Divan, İstanbul, 1965; Z. Korkmaz, Yunus Emre ve Anadolu Türkçenin kuruluşundaki yeri, «Türkoloji Dergisi», 5, 1, Ankara, 1973; J. Ciopînski, Le traité de Bonis conseils de Junus Emre. I. Traduction et remarques, «Folia Orientalia», XVII, 1976.

⁹ В. С. Габризова, Поэты средневековой Турции. Учебное пособие, Л., 1963, стр. 54—59.

«На тюркский язык никто не обращал внимания,
Тюркам [никто] никогда сердцем не прилежал,
А тюрки не знали тех языков [т. е. арабского и персидского],
Тех изысканных троп, тех великих фигур [арабского и персидского
стихосложения]»

С подобными справедливыми lamentациями выступали и другие поэты XIV—XV вв. Ходжа Мес'уд, Синап-паша, Сарыджа Кемаль и др.¹⁰

После Ашик-паши тюркская литература в Малой Азии выдвинула ряд крупных фигур. В XIV — начале XV в. творили. Ходжа Мес'уд ибн Ахмед, который перевел на тюркский язык и обработал три персидских сочинения — «Сюхейл ве Невбехар», «Ферхенг-наме-йи Са'ди» («Глоссарий к сочинениям Саади»), «Калила ве Димна»; Шейхоглу Мустафа, автор романтического месневи «Хуршид-наме» («Книга о любви магрибского дровича Фарахада к Хуршид, дочери персидского шаха Сиявуша»); Ахмеди, сочинитель великолепной поэмы «Искандер-наме» («Книга об Александре Македонском») и др.¹¹ Безусловно крупным поэтом второй половины XIV в., писавшим на тюркском языке, обнаруживающим связи с азербайджанским языком, был кадий, владетельный эмир и поэт-лирик Бурханеддин Сивасский (1344—1398).

Пожалуй, прав А. Дильачар, считающий, что в языке «Дивана» (сборника стихотворений) Бурханеддина Сивасского, а равно и в «Книге деда моего Коркута» невозможно видеть особенности, присущие азербайджанскому языку, так как в это время, по его мнению, нельзя было провести четкой грани между западногузскими и азербайджанскими диалектами.¹²

В течение XIII—XV вв. анатолийско- (малоазиатско-) письменный тюркский язык в своей графической базировался на практике старотюркского письма, что выражалось в стремлении наиболее полно обозначить гласные, а также в отдельном написании формантов; в области фонетики и морфологии произведений поэтов этого периода обнаруживаются отчетливые и глубокие связи со среднеазиатским тюркским письменно-литературным, а через него и с древнетюркским языком, что может быть иллюстрировано следующими фактами:

1. *men* в м *in* «я»;
2. *bar-*, *bir-* в м *var-*, *var-* «давать»;
3. *-van/-væn*; *-vam/-væt* — аффиксы сказуемости 1-го лица ед. числа;
4. *-vuz/-vuz* — аффикс сказуемости 1-го лица мн. числа;
5. *bol-* в м *ol-* «быть; делаться; становиться»;
6. *-ni/-ni* в м *-i*, *i* — аффикс винительного падежа;
7. *-gay/-gey*, *-gasi/-gesi*; *-isar/-iser* — аффиксы будущего времени;
8. *-n* — орудийный аффикс;
9. *-din' din*; *-dan/-den* — аффиксы исходного падежа;
10. *-ra/-re* — аффикс направительного падежа;
11. *-kına/-kine* — уменьшительно-ласкательный аффикс;
12. *-gil/-gil* — аффикс 2-го лица ед. числа повелительного наклонения;
13. *-uban(in)/-uben(in)* — аффикс деепричастия;
14. *-mad.n/-medin* — аффикс деепричастия;
15. *bular*, *şular*, *olar* в м *bunlar*, *şunlar*, *onlar*;
16. *-siz*, *-suz* в м *-sınız* — аффикс сказуемости 2-го лица мн. числа;
17. *-maziz/-meziz* в м. *-mayız/-meyiz* — аффикс отрицательной формы настоящего-будущего времени;

¹⁰ М. Мансуроглу, указ. соч., стр. 216

¹¹ Подробнее см. W. B. J. O. r. k. a. n., Die altosmanische Literatur, PhT, II, стр. 415—426

¹² A. D. İ. l. â. ç. a. r., Türk lehçelerinin meydana gelişinde genel temayullerin köyuluşmesi ve korlenmesi, TDAYB, 1957, стр. 84—85

18. *-am/-em* в м. *-im, -um* — аффикс принадлежности 1-го лица ед. числа;
19. *-man/ men* в м. *-mayın/-meyin* — отрицательная форма деепричастия;
20. *-(y)ın* в м. *-(y)ım* — аффикс сказуемости 1-го лица ед. числа;
- 21 *-durur/-durur* наряду с *-dir/-tir* — аффикс сказуемости 3-го лица ед. числа;
- 22 *-(y)ub/-(y)ub+dur(ur)/-dur(ur)* — настоящее длительное время, позднее вытесненное другими формами и, в частности, формой *-maktadır/ -mekteür*;
- 23 *-(y)ıcaк/-(y)ıcek* в м. *-(y)ınca/-(y)ınce* — аффикс деепричастия;
24. *bigi(n)* наряду с *gibi* — послелог уподобления;
25. *bile, bürle*, в м. *ile* — послелог (комитатив),
26. *tek, -layın/-leyin* наряду с *gibi, bigi*,
27. *kim* в м. *ki*;
28. *-(y)a/-(y)e* — настоящее-будущее время;
29. *-(e)rak/-(ı)rek*¹³ — аффикс уменьшительности, вышедший из активного употребления в последующее время.

С другой стороны, анатолийско- (малоазиатско-) турецкий письменно-литературный язык XIII в. имеет свои отличительные фонетико-грамматические особенности, неизвестные среднеазиатскому турецкому языку; к ним относятся, например, будущее причастие на *-acak/-ecek*¹⁴; эта форма получила развитие (как финитная форма) в XVI—XVII вв.

В XIV в. в анатолийско- (малоазиатско-) турецком языке приобретают широкое распространение формы, встречавшиеся в XIII в. лишь sporadически: 1) *-çuk, -çük; -çugaz, -çugez* — уменьшительно-ласкательные аффиксы; 2) *-(y)ası, -(y)esi* — аффикс будущего времени, 3) *-daçı, -deçı* — древнейший аффикс будущего времени.

В словарном запасе литературных памятников XIII—XV вв., написанных в Малой Азии, легко проследываются многочисленные пласты слов, общие со среднеазиатскими письменными памятниками¹⁵.

Письменный анатолийско- (малоазиатско-) турецкий язык XIII—XV вв. являл собою причудливое сочетание среднеазиатского турецкого языка с огузо-кыпчакско-карлукскими диалектами Малой Азии. Строго выполняя социальный заказ — донести до сознания простого народа свои идеи — поэты-суфии широко пользовались формами народно-разговорной речи. Жанрово-стилистическая направленность их произведений облекалась, из-за отсутствия общего письменно-литературного языка, в форму наиболее распространенных анатолийских диалектов, территориально наиболее близко соприкасавшихся с Конией, Сивасом и другими крупными городами восточной части Малой Азии.

Для того чтобы получить отчетливое представление о состоянии письменно-литературного языка Малой Азии в XIV—XV вв., необходимо ознакомиться также с языком официально-канцелярского делопроизводства, широко представленного в сборнике указов, грамот и других официальных документов XIV—XV вв. — «*Munşaat-ı Selâtin*» («Рескрипты и указы султанов»), — составленном государственным секретарем Селима II Феридун-беем (ум 1583 г.). «Язык сохранившийся в сборнике Феридун-бея

¹³ A S Levend, *Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri*, Ankara, 1972, стр. 47—51, M Mansuroğlu, *Das Altosmanisch*, PhTF, I, стр. 163—179, Z Korkmaz, *Selçuklar çağı Türkçenin genel yapısı*, стр. 19, 24—32.

¹⁴ См. M Mansuroğlu, *Anadolu'da Türk yazı dilinin başlaması ve gelişmesi*, стр. 220—229.

¹⁵ Там же.

грамот времен первых оттоманских правителей представляет странную смесь персидской речи с турецкою»¹⁶.

Еще более определенно высказывается о языке этих документов А. Е. Крымский: «...в тех османских грамотах, которые нам сохранены сборником „Мюншаат“ Феридун-бея, персидско-арабский налет толстым-претолстым слоем заслояет турецкую основу».

И вот на этом-то смешанном, гибридном языке развилась и художественная литература при османах, когда они, из номадов-воинов постепенно, с XIV века, превратились в культурных горожан. Этот искусственный язык грамотеев, где на одно турецкое слово приходится два персидских и три арабских, продолжает оставаться литературной османской речью вплоть до настоящего времени, до XX века. Простому народу грамотейский язык плохо понятен»¹⁷.

Этот сложный официально-канцелярский язык, безусловно, не мог быть выработан в течение относительно короткого времени самими турками-османами, а явился непосредственным продолжением перенесенных на османскую почву традиций сельджуковских канцелярий.

В XV в., начавшемся вторжением Тимура в Малую Азию и разгромом турок под Анкарою (1402), положение персоязычной литературы в османской империи значительно упрочилось. С Тимуром в Малую Азию пришли не только войны, но и поэты, писавшие, конечно, на персидском языке и оказавшие сильное влияние на все дальнейшее развитие османской литературы. Султан Мехмед I Челеби (1402—1421) — собиратель турецких земель после анкарского поражения — покровительствовал персидским поэтам. Усиление и углубление процесса феодализации, обогащение феодальной верхушки общества, резкая социальная дифференциация, особенно проявившаяся во времена Мехмеда II Завоевателя (1451—1481), повлекли за собою усугубление различия между языком народных масс и языком придворной знати. Литературой признавалось только то, что было написано на персидском языке.

После завоевания Константинополя (1453), в связи с усилением консолидации османского государства, можно говорить о том, что на рубеже XV—XVI вв. начинается медленный и многотрудный процесс сложения турецкого (османского) письменного-литературного языка раннего периода.

«Золотым веком» османской художественной литературы считают XVI—XVII вв. Кульминация могущества Османской империи одновременно является и кульминацией отрыва письменного-литературного языка (во всех его жанровых проявлениях) от народно-разговорного языка; автономное существование письменного-литературного языка и народно-разговорного языка продолжалось до середины XIX в., т. е. весь до национальный период развития турецкого письменного-литературного языка.

В течение XVI—XVII вв. образовалось три уровня социального расслоения турецкого языка: *Fasih Türkçe* — «изысканный турецкий язык», язык придворной литературы (*Divan edebiyatı*), понятный узкому кругу эстетов, близко стоявших к непосредственному султанскому окружению и к высшей сановной — светской и духовной — аристократии; *Orta Türkçe* — «средний турецкий язык», язык, понятный образованным горожанам и служилой интеллигенции; *Kaba Türkçe* — «грубый турецкий язык», язык городских низов. «Средний» и отчасти «грубый» уровни турецкого языка были представлены

¹⁶ В. Д. Смирнов, Очерк истории турецкой литературы, в кн.: «Всеобщая история литературы», под ред. В. Ф. Корша и А. Киричаникова, IV, СПб., 1892, стр. 457-

¹⁷ А. Е. Крымский, указ. соч., стр. 250.

устными сочинениями «певцов саза» (Sazşairleri); на народно-разговорном языке этих двух уровней турецкого языка творили меддахи, актеры теневого театра Kara göz и исполнители уличных представлений (Orta oyunu).

Крестьяне пользовались территориальными диалектами, которые по фонетике, грамматике и особенно лексике значительно отличались от этих трех уровней турецкого языка.

О народно-разговорном языке горожан и городских низов XVI и последующих веков сведений очень мало (они сохранились отчасти только в записях иностранцев — пленников турок, путешественников, чиновников и миссионеров, таких, как И. Шильтбергер, «Мюльбахский студент», Бартоломей Георгиевич, А. фон Харфф, Ф. Ардженти, П. делла Валле и др.)¹⁸.

Известно, что в конце XV — начале XVI в. существовала также «литература для народа». Это были героические повести (Cenk hikâyeleri), религиозные сказания (Dinî menkıbe. Menâkipname) и эпические сказы (Destanî nikâye), творцами и распространителями которых были бродячие дервиши, облакавшие свои идеи в доступную для понимания широких масс форму.

Как протест против все возрастающего разрыва между «классовым жаргоном» сочинений, написанных на «изящном» турецком, и народно-разговорным языком простого народа, представленным главным образом «грубым» уровнем турецкого языка, в конце XV — начале XVI вв. зарождается борьба за «простой турецкий язык» (Türkî-i basit).

Эти попытки борьбы за приближение письменно-литературного языка к среднему уровню турецкого языка, как лишенные сколько-нибудь серьезной социально-экономической опоры, были обречены на провал.

Эпоха феодализма, как известно, характеризуется территориальной разобщенностью, замкнутой экономикой и почти полной политической независимостью отдельных частей государственного организма. Эта особенность феодализма с особой яркостью проявилась в Малой Азии, где долгое время, даже после образования Османского государства, существовали мелкие княжества (beylik). Вплоть до конца XVIII в. крупные феодалы-деребей лишь номинально были подвластны Стамбулу, столице Османской империи.

При таких политических и экономических условиях говорить о каком-то общенародном турецком языке феодальной эпохи, естественно, не приходится. А р а б с к о - п е р с и д с к о - о с м а н с к и м п и с ь м е н н о - л и т е р а т у р н ы м я з ы к о м пользовались близко стоящие ко двору поэты, писатели, историографы. Язык провинциальной феодальной знати сохранял все ярко выраженные местные особенности; анатолийскому феодалу язык придворного поэта (если он даже и не писал по-персидски) был почти также непонятен, как и простому крестьянину.

По мере укрепления власти османов различие между письменно-литературным языком и народно-разговорным языком все более и более углублялось.

Стамбульский диалект — диалект столицы Османской империи, носителями которого были не только турки-османы, но и другие — инонациональные — подданные султана (греки, армяне, левантийцы, евреи, славяне)¹⁹, — довольно быстро

¹⁸ Подробнее см.: А. П. Кононов, Очерк истории изучения турецкого языка, Л., 1976, стр. 9—15.

¹⁹ Янычары целиком состояли из христиан. Об ассимиляции турками части местного населения Анатолии и Балкан см.: Д. Е. Еремеев, указ. соч., стр. 142—149.

приобрел в лексике (обилие заимствований из языков названных народов) и в фонетике (нарушение закона гармонии гласных: *hangı, hani, kardeş, elma, anne, akçe* и др.) черты, отличные от анатолийских диалектов.

Стамбульский диалект как диалект политического, экономического и культурного центра Османской империи постепенно превратился в базисный диалект турецкого литературного и позднее — в XIX в. — турецкого национального языка докемалистского периода.

Постепенно происходит закрепление в письменно-литературном языке новых морфологических форм: на рубеже XIV—XV вв. наряду с формантом настоящего-будущего времени *-a/-e* все чаще встречается аффикс *-r*. Появление формы настоящего времени данного момента на *-yorur* датируется XV—XVI вв.²⁰; в XVII в. отмечается употребление третьей формы настоящего времени — формы на *-maktā/-mekte*²¹, получившей, однако, свое развитие только в XX в.

В XVI—XVII вв. форма будущего категорического времени на *-(y)acak/-(y)ecek*²², первые, единичные случаи употребления которой отмечены в XIII—XIV вв., решительно вытесняет из письменно-литературного языка форму на *-(y)ası/-(y)esi*, которая, однако, прочно закрепилась в народно-разговорном языке, продолжая в нем существовать и в наше время²³; в это же время выходят из употребления формы будущего на *-isar/-iser, -daçı/-deçi*, характерные для восточногузских письменных памятников.

Эти изменения в морфологическом строе турецкого письменно-литературного языка в XVI—XVII вв. свидетельствуют о постепенном его отрыве от традиций письменно-среднеазиатского тюркского языка и о решительном закреплении влияния западногузского языкового элемента, носителями которого были соплеменники основателя Османского государства.

В фонетике современного турецкого литературного языка и его диалектах довольно часто наблюдается чередование гласных и согласных²⁴, происхождение которого может быть объяснено только исторически обусловленным смешением различных тюркских диалектов, на основе которых возник фонетический строй современного турецкого литературного языка.

Современное распределение по турецким диалектам формантов настоящего времени данного момента является еще одним доказательством их смешанного происхождения: юго-западная и среднеанатолийская группа диалектов имеет форму *-yor*, восточная, северо-восточная и юго-восточная группа — *-yır/-yur*, румелийская группа — *-yer*²⁵. Первая форма этого аффикса свойственна огузским языкам, вторая и третья — кыпчакско-карлукским; первая восходит к глаголам *yor-ur ~ yör-ür* «он ходит», вторая и третья — к глагольному имени (причастию) *-gur/-gur; -gar/-ger*.

В XVI—XVII вв. наиболее ярко обозначилась тенденция писать турецкие слова так, чтобы они графически были похожи на слова арабские,

²⁰ Э. А. Грунина, Индикатив в турецком языке (в сравнительно-историческом освещении). АДД, М., 1975, стр. 35.

²¹ Там же, стр. 37.

²² Там же, стр. 44.

²³ М. С. Михайлов, О форме на *-(y)ası* в турецком языке, сб. «Вопросы языка и литературы стран Востока», М., 1958.

²⁴ Э. В. Севортян, Фонетика турецкого литературного языка, М., 1953, стр. 122—126.

²⁵ Э. А. Грунина, указ. соч., стр. 37.

т. е. без обозначения гласных, при слитном начертании аффиксов с основой ²⁶.

Сложившаяся в Малой Азии и Восточной Фракии в конце XV — первой половине XVI в. турецкая этническая общность не имела прочных связей ни в языке, ни в экономике, ни в культуре ²⁷. К турецкому языку турецкая феодальная верхушка относилась с пренебрежением, и даже сам этноним *türk* в Османском эмирате приобрел значение «мужлан», «невежда», а феодальная знать в интересах укрепления своей власти называла себя *османлы*, т. е. «принадлежащие [к дому] Османову»; в середине XIX в. деятели танзимата под именем *Millet-i Osmaniyye* («Османская нация») объединили всех подданных султана, имея в виду тем самым снять с повестки дня все национальные и религиозные проблемы ²⁸.

Необходимейшим условием образования национального языка, под которым следует понимать такой письменно-литературный язык (в грамматически нормализованной форме), который сравнительно близок к разговорному языку господствующего класса, является разложение и ликвидация феодализма и развитие капитализма.

«В роцем, в любом современном развитом языке естественно возникшая речь возвысилась до национального языка отчасти благодаря историческому развитию языка из готового материала, как в романских и германских языках, отчасти благодаря скрещиванию и смешению наций, как в английском языке, отчасти благодаря концентрации диалектов в единый национальный язык, обусловленный экономической и политической концентрацией» ²⁹.

Условия, необходимые для образования национального языка, возникли в Турции только в 30-х годах XIX в., как следствие событий большого исторического значения; к ним в первую очередь относятся: национально-освободительное движение подданных Османской империи на Балканах в 1814—1829 гг., осуществление Махмудом II коренных преобразований в области военного дела и уничтожение янычарского корпуса (1826), ликвидация военно-ленной системы и др. Все эти мероприятия, а также нововведения в области культуры и быта, имели исключительное значение для создания необходимых условий, способствовавших формированию турецкой нации и турецкого национального языка ³⁰.

«Танзимат (реформы 40—50-х годов XIX в.— А. К.) был принципиально новым, этапным общественно-политическим явлением в истории Турции. С объективно-исторической точки зрения танзимат отвечал возникшим потребностям буржуазного развития Турции и создавал для него более благоприятные условия» ³¹.

Для правильного понимания процесса сложения нации и образования национального языка чрезвычайно важно следующее положение В. И. Ленина. «Во всем мире, — писал Ленин, — эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом была связана с национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутренне-

²⁶ См.: А. Н. Самойлович, Абду-с-Саттар кази. Книга рассказов о битвах текинцев, СПб., 1914, стр. 011; A. S. Levend, указ. соч., стр. 51—67; M. M a n s u r o ğ l u, Das Altosmanisch, PhTF, I, стр. 162, § 21.

²⁷ Д. Е. Еремеев, указ. соч., стр. 158.

²⁸ İ. N a b i b, Tanzimattanberi edebiyat tarihi, İstanbul, 1942, стр. 211; A. S. L e v e n d, указ. соч., стр. 11.

²⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 3, стр. 427.

³⁰ А. Д. Новичев, I. История Турции. II. Новое время. Часть первая (1792—1839), Л., 1968, стр. 99—179; 216—274; Д. Е. Еремеев, указ. соч., стр. 160.

³¹ А. Д. Новичев, История Турции. III. Новое время. Часть вторая (1839—1853), Л., 1973, стр. 197—198.

го рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе»³² (разрядка наша. — А. К.).

В условиях Турции начала XIX в. «языком», закрепленным в литературе, оказался искусственный арабско-персидско-османский гибрид; народно-разговорный язык не имел своей письменно-литературной формы. Нарождающейся турецкой буржуазии пришлось начинать с борьбы за приближение письменно-литературного языка к народно-разговорному.

Первым шагом на пути развития турецкого письменно-литературного языка, приближающегося к народно-разговорному, явилась реорганизация народного просвещения³³.

Известный деятель танзимата и литератор Решид-паша (1800—1858), «которого можно считать родоначальником новой литературной школы в Турции»³⁴, и его преемники на посту великого везира Али-паша (1814—1871) и Фуад-паша (1815—1869) много потрудились, чтобы «выработать легкий, упрощенный литературный язык, доступный пониманию не одних только избранных книжников»³⁵; в своей практической государственной деятельности даже официально-канцелярскому стилю они стремились придать более удобопонятный характер, но радикального влияния на дальнейшее развитие официального языка они оказать не смогли: традиции оказались сильнее. Это были первые попытки упрощения языка, первые шаги по пути к концепции, известной позднее под названием *Dilde Türkçülük* («Турецкий национализм в языке») и входящей составной частью в общую программу турецкого национализма (*Türkçülük*). Под этим последним термином имелась в виду целая программа, движение за чисто турецкие установления, за противопоставление турецкого османскому, за стремление объединить под турецкой эгидой все тюркское. Борьба за создание турецкого официального и литературного языка, свободного от арабских и персидских лексических и синтаксических заимствований, явилась одной из составных частей этой концепции. *Türkçülük* — это идеология пантюркизма.

В условиях начинающегося буржуазного развития, в эпоху складывающихся капиталистических отношений родная старина, язык, бывшие при феодализме в загоде и пренебрежении, становятся в центре внимания.

В период победы капитализма над феодализмом, в процессе превращения народности в нацию язык народности возвышается до языка национального, а буржуазия только приспособливает его к своим интересам; одной из опор буржуазии в борьбе с уходящим феодализмом является национальный язык. Процесс превращения языка народности в язык нации есть длительный процесс постепенного развития, обогащения и совершенствования языка, длительный процесс отмирания элементов старого качества и накопления элементов нового качества.

Совершенно естественно, что в этих условиях народно-разговорный язык привлекает пристальное внимание и взоры устремляются в первую очередь к народному творчеству: песням, пословицам и поговоркам.

В середине XIX в. создается турецкая буржуазная литературная школа: Шинаси — Зия — Намык Кемаль, объявившая борьбу старым

³² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 25, стр. 258.

³³ Подробнее см.: А. Д. Желтяков, Ю. А. Петросян, История просвещения в Турции (конец XVIII—начало XX века), М., 1965.

³⁴ В. Д. Смирнов, указ. соч., стр. 521.

³⁵ Там же.

литературным направлениям, старому письменно-литературному языку; их идеалом был «чистый турецкий язык» (Safi Türkçe), под которым должен был пониматься турецкий национальный литературный язык.

Наиболее интересной фигурой среди общественных деятелей и литераторов второй половины XIX в. был Намык Кемаль (1840—1888), много сделавший для развития турецкой литературы, языка и пробуждения общественной мысли в современной ему Турции.

Н. Кемаль восставал против искусственности турецкого письменно-литературного языка, указывая на непонятность его широким слоям населения, на непригодность арабского алфавита для турецкого языка, на нелепость слепого подражания арабским и персидским образцам в литературе при наличии богатейшей сокровищницы турецкого народного творчества. Н. Кемаль, продолжавший писать на традиционном османско-персидско-арабском языке, понимал необходимость приближения письменно-литературного языка к его народно-разговорной модификации и поэтому наметил конкретные пути создания «чистого турецкого языка» и турецкой, по своим формам, литературы. Для этого, писал он, необходимо: «Во-первых, составить грамматику турецкого языка; во-вторых, установить границы употребления слов в пределах общепринятого их использования³⁶; в-третьих, упорядочить орфографию; в-четвертых, упорядочить использование словосочетаний и литературных стилей в соответствии с природой языка; в-пятых, освободить язык от искусственных оборотов, наносящих вред естественной простоте изложения»³⁷.

Мнение Н. Кемалья о необходимости бороться за упрощение турецкого языка разделяли известные общественные деятели и литераторы того времени: Али Суави, Ахмед Мидхат-паша, Шемседдин Сами, Муаллим Наджи, Реджап-заде Экрем и др.; ряд газет пропагандировал эти же идеи³⁸.

Середина прошлого столетия знаменует собою начало истории современного турецкого языкознания в Турции. В 1851 г. в Стамбуле вышла в литографированном издании первая грамматика турецкого языка: «Kavaid-i Osmanîye» («Правила османского языка»); авторы ее Кечиджи-заде Мехмед Фуад-эфенди (1815—1868) и Ахмед Джебдет-эфенди (1822—1895) при изложении правил турецкого языка неукоснительно следовали канонам арабской схоластической грамматики. По их определению, османский язык является «конгломератом, состоящим из трех языков — арабского, персидского и турецкого».

Во второй половине XIX в. в Турции появляется ряд крупных филологов: Ахмед Вефик-паша, Сюлейман-паша, Шемседдин Сами и др.³⁹.

В последнее десятилетие XIX в., когда особенно усилилась тирания Абдулхамиды II, интеллектуальная жизнь в Турции почти полностью замерла. Многие писатели пытались найти забвение в «искусстве ради искусства» и, не находя ничего отрадного в жизни современной им Турции, устремили свои взоры на Запад; они объединились вокруг журнала «Servet-i Fünun» («Богатство Знаний», осн. в 1891 г.), используя для пропаганды своих западнических идей старей язык, перенасыщенный арабски-

³⁶ Этот тезис выдвинул Н. Кемалем, видимо, в связи с тем, что многие современные ему и особенно более ранние писатели, как например, историки Васыф-эфенди (ум. 1806), Мехмед Эс'ад (ум. 1848) и др., довели вычурность стиля до абсурда, занимаясь искусственным созданием новых слов из арабских корней.

³⁷ A. S. L e v e n d, указ. соч., стр. 114.

³⁸ Подробнее см. там же, стр. 115—142.

³⁹ Библиография работ турецких ученых по грамматике и фонетике турецкого языка приведена в статье: A. D i l â ç a r, Gramer: Tanımı, adı, kapsamı, türleri, yöntemi. eğitimdeki yeri ve tarihçesi, TDAYB, 1974, стр. 130—135; 138—143.

ми и персидскими заимствованиями⁴⁰ и доступный лишь просвещенным слоям населения Деятельность «серветифюнуновцев» тормозила развитие «чистого турецкого языка», более того, «литературный язык снова глубокой пропастью был отделен от разговорного языка»⁴¹

«Серветифюнуновцам» противостояла немногочисленная группа активных пантуркистов (Велед Челеби, Недлиб Асым Бурсалы Мехмед Тахир, Эмруллах и др.), продолжавшая традиции И Шинаси — Н Кемаля и прилагавшая усилия для создания «чистого турецкого языка»

В конце XIX в в движении за «чистый турецкий язык» берут верх крайние дуристы, группировавшиеся вокруг газеты «İkdam» («Начало», основана в 1893 г.) и выдвигавшие лозунг «полного очищения турецкого языка от иноязычных заимствований»⁴²

Позднее во главе этого движения, известного под названием Taslivesilik («Очищение»), стоял Раиф Мехмед Фуад, проповедовавший полное изгнание всех, без исключения, арабских и персидских заимствований и замену их соответствующими турецкими словами а в случае надобности заимствованиями из других языков тюркской семьи или даже искусственно созданными словами «Вместо живого языка они создавали — по выражению Зии Гек Аша, — турецкий эсперанто»

Этим крайним воззрением и консервативной языковой практике противостояла группа «прогрессистов», стремящаяся закрепить общенародный турецкий язык в литературе («Прогрессистами» были писатели А Мидхат, М Наджи, Сами Паша-заде Сезаи, А Хикмет, М Эмин и др., ученые А Вефик, Сюлейман-паша, Шемседдин Сами и др., журналисты Ати Суави, Кемаль Паша-заде, Саид и др.) Язык их произведений, как и следовало ожидать, был далек от Safi Türkçe (см выше) Но как сама литература (по своей направленности, по стилю по сюжетам по техническим приемам), так и язык этой литературы были в корне отличны от литературы и языка предшествующего периода и от одновременно пишущих «серветифюнуновцев»

Особенно остро встала проблема закрепления общенародного турецкого языка в литературе в период младотурецкой революции 1908 г Стамбульская читающая публика предъявляет журналистам и писателям требование «Пишите проще! Мы не в состоянии понять того, о чем вы пишете»⁴³

24 декабря 1908 г по инициативе Недлиба Асыма и Веледа Челеби создается научное общество «Turk Dernegi» («Турецкое Собрание»), поставившее себе задачей изучение истории, археологии, этнографии, литературы, языков тюркских народов Вся эта обширная программа осталась благим пожеланием тогдашняя Турция не располагала ни достаточными кадрами ученых ни соответствующими условиями⁴⁴

В литературе этого времени еще живы традиции «Servet i Funun», но значение этого литературного объединения, никогда не имевшего массовой аудитории, постепенно идет на убыль Лишь некоторая эстетствующая

⁴⁰ Л О Алякаева, Творчество Халида Зии Ушаклыгиля М 1956 стр 31 A S L e v e n d, указ соч., стр 194—198

⁴¹ İ N a b i b указ соч., стр 195

⁴² Потробрне см К F o u, Der Purismus bei den Osmanen «Mittheilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin», II, 1898 стр 20—55

⁴³ İ N e s m i (Dilmen), Turk dilinin son elh yillik degisimleri bir bakis «Yeni Turk mecmuası», 11—14 İstanbul 1933, стр 1068

⁴⁴ О деятельности Общества и содержании всех семи номеров органа этого общества, носившего то же название см В А Г о р т л е в с к и Заметка о «Турецком Собрании» в Константинополе «Избр соч», III, М, 1962 стр 287—298 A S L e v e n d, указ соч стр 300—304 J u l i u s G e r m a n u s, Osmanische Puristen, «Keleti Szemle», XI, Budapest, 1910, стр 40—57

щая часть молодых писателей еще придерживается идей «серветифюнуновцев», продолжает мечтать о «чистом искусстве» Идея «Servet-i Funun» наследует новое литературное общество «Fecr-i Atı» («Грядущая Заря»), возникшее после младотурецкой революции По форме, по духу, по языку, по стилю, по идеологии это быстро распавшееся общество пыталось продолжать программу «Servet-i Funun»

Организатором и идеологом нового направления в литературе и языке во времена младотурецкой революции стал Зия Гек Алп, идеолог пантуркизма, видный литератор, член Центрального комитета партии «Единение и Прогресс» (İttihat ve Terakki).

Вместо «Fecr-i Atı», этого далекого от жизни общества, не отражавшего идеалов и устремлений турецкой буржуазии, в Салониках, где в то время находились руководящие органы партии «Единение и Прогресс», создается литературная группа, издававшая с 1910 г. свой журнал «Genç Kalemler» («Молодые Перья») ⁴⁵ В основе воззрений этой группы лежали идеи младотурок, в литературе, в языке, в истории они стремились развивать пантуркистские идеи Свою основную задачу эта группа, объединившая, пожалуй, лучшие литературные силы того времени (Али Джаниб, Омер Сейфеддин, Зия Гек Алп, Ака Гюндюз, Орхан Сейфи, Юсуф Зия, Казим Нами, Энис Бехич, Рефик Халид и др.), видела в создании «нового языка» (Yeni İsan), в силу чего они вошли в историю литературы под названием Yeni İsançılar, т. е. борцов за новый язык Последующий период в истории Турции (1912—1923) не благоприятствовал тому, чтобы «контуры» приобрели вид законченного здания.

Национальный турецкий литературный язык в его письменной форме складывался на основе диалекта главного в те времена политического, экономического и культурного центра государства — Стамбула. По свидетельству такого крупного знатока вопроса, каким был Зия Гек Алп (1876—1924), еще в 1921 г., когда он издал свое программное сочинение «Türkçülüğün esasları» («Основы турецкого национализма»), в Стамбуле существовали две формы турецкого языка 1) İstanbul lehçesi — стамбульский диалект, на котором говорят, но не пишут. 2) Osmanlı İsanı — османский язык, на котором пишут, но не говорят ⁴⁶ В связи с этим автор задает вопрос «Какой же из этих „языков“ будет нашим национальным языком?» Принять в качестве такового Osmanlı İsanı, по мнению Зия Гек Алпа, нельзя, так как язык, на котором пишут в Стамбуле, не является естественным языком, это искусственный язык, вроде эсперанто. Чтобы «создать» национальный язык, автор рекомендует писать так, как говорят в Стамбуле, взяв за основу произношение образованных стамбульских женщин ⁴⁷.

Основываясь на высказанных выше программных установках, Зия Гек Алп выдвигает в названной книге одиннадцать принципов турецкого национализма в области языка, которые, по его мнению, должны быть положены в основу создания турецкого национального литературного языка

1. Для того чтобы создать национальный язык, нужно отбросить османский язык, словно его никогда и не было, и, приняв, как он есть, турецкий язык, являющийся основой народной литературы, писать так, как говорят стамбульцы, в особенности образованные стамбульские женщины

⁴⁵ Подробнее см. A S Levend, указ соч. стр. 320—330

⁴⁶ Ziya Gökalp, Türkçülüğün esasları, İstanbul, 1921, стр. 97 (изд. на арабск. шрифте)

⁴⁷ Там же, стр. 99

2. Отбросить арабские и персидские слова, у которых в народном языке есть турецкие эквиваленты, но сохранить в языке те из них, которые имеют различные хотя бы в тончайших оттенках.

3. Преобразованные формы арабских и персидских слов, вошедшие в народный язык и считающиеся ошибочными (с точки зрения их арабского или персидского употребления), считать турецкими и в орфографии этих слов придерживаться их нового произношения.

4. Не прибегать к «оживлению» старых турецких слов, вышедших из употребления, так как их место должны занять новые слова.

5. При поисках новых терминов следует обращаться к народному языку; в случае невозможности подыскать термин в народном языке, можно создавать новые слова, используя турецкие словообразовательные аффиксы; при отсутствии такой возможности разрешается заимствовать арабские и персидские слова, но не словосочетания; в отдельных случаях разрешается заимствовать специальные слова и технические термины из иностранных (т. е. западноевропейских) языков.

6. Отменяя привилегии арабского и персидского языков, коими они располагали в турецком языке, не допускать в турецкий язык ни форм, ни аффиксов, ни синтаксических конструкций, заимствованных из этих языков.

7. Все слова, которые известны турками и употребляются турками, являются турецкими.

8. Так как основой нового турецкого языка признаются фонетика, морфология и лексика стамбульского диалекта, из других диалектов не может заимствоваться ни лексика, ни грамматические формы.

9. По мере того как будут создаваться труды по истории тюркской культуры, наименование старых тюркских учреждений и старые тюркские слова должны входить в турецкий язык.

10. Слова являются не описанием выражаемых ими значений, но их знаками. Значение слова нельзя понять, зная только его морфологическое строение.

11. Опираясь на эти принципы, следует создать словарь и грамматику нового турецкого языка.

Дальнейшее развитие языковой политики кемалистов, в силу ряда обстоятельств (острая идеологическая борьба) и в том числе в связи с перенесением столицы в Анкару (ориентация на анатолийские диалекты), пошло более сложным путем, чем предполагал Зия Гёк Алп.

После победы кемалистской революции (1919—1923), в целях политической борьбы, обращается особое внимание на развитие собственной национальной культуры и в первую очередь на язык как на важнейшее средство воздействия на широкие народные массы, как на средство воспитания народа в духе буржуазно-националистической идеологии. С этой целью кемалисты проводят ряд большого политического значения мероприятий, инициатором, руководителем и пропагандистом которых был Кемаль Ататюрк.

Крупнейшим из этих мероприятий, проведенных в Турции под непосредственным влиянием опыта тюркоязычных республик СССР, является замена в 1928 г. арабского алфавита латиницей⁴⁸.

Наряду с введением латиницы провозглашается борьба за демократизацию языка, т. е. за приближение его к народно-разговорному языку. В связи с перенесением политического центра страны в сердце Анатолии, в Анкару, стамбульское, несколько манерное произношение начинает

⁴⁸ «Türk Dil Kurumunun 40 yılı», Ankara, 1972, стр. 31; A. S. L e v e n d, указ. соч., стр. 153—162.

вытесняться «квазидемократическим», анкарским произношением, которое постепенно вырабатывалось на базе ближайших к Анкаре анатолийских диалектов.

Следующим этапом языкового строительства в Турции является создание в 1932 г. Турецкого Лингвистического общества — *Türk Dil Kurumu*, носившего до 1936 г. название: *Türk Dili Tetkik Cemiyeti* («Общество по исследованию турецкого языка») ⁴⁹.

Дальнейшее развитие языка в связи с общей политикой правящих кругов пошло по сугубо националистическому пути. Выражением националистических устремлений кемалистов явилась такая языковая политика, которая повлекла за собой проявление крайнего пуризма, выразившегося в стремлении очистить турецкий литературный язык от всех арабских и персидских заимствований. Когда пурификация, принявшая характер поголовного изгнания арабских и персидских заимствований из турецкого языка, зашла в тупик (1936), для спасения идеи была призвана импортированная из Западной Европы «*Güneş-Dil teorisi*» («Солнечная лингвистическая теория»), на основании которой все заимствования объявлялись тюркскими по своему происхождению ⁵⁰.

После смерти Кемаля Ататюрка (10 XI 1938), вдохновителя и непосредственного руководителя всей работы в области лингвистической и исторической науки в Турции, процесс очищения турецкого языка меняет свои формы.

Изменения в структуре современного национального турецкого литературного языка решительно коснулись не только лексики, которая заметно пополнилась неологизмами, частью за счет диалектной лексики, частью за счет создания искусственным путем новых слов, частью за счет «оживления» старых слов, нередко заимствуемых из памятников тюркской письменности.

Инвентарь морфологических средств словообразования современного турецкого литературного языка пополнился старыми, давно уже непродуктивными аффиксами, получившими «вторую жизнь»; к ним, например, относятся: *-l*, *-s'l*; *-gil*; *-man/-men*, *-t*; *-nlt°*, *-v*, *-y*, *-ç* и др.; а также послелог *den*, *değın*, *-dan yana* и др.

В турецком литературном языке последних трех десятилетий под воздействием народно-разговорного языка наблюдается тенденция к замене аналитических форм глагола, образуемых с помощью *etmek*, *olmak*, формами синтетическими, образуемыми с помощью аффиксов *-la/-le*; *-lan/-len*; *-laş/-leş*.

Одним из ярких примеров проникновения диалектальных форм в литературный язык является субстантивное употребление причастия на *-(y)an/-(y)en*; *on yıl bitende* (А. Несин) «Когда прошло десять лет»; «*Kapıların/bağlı kollarını açana kadar* (N. Hikmet) «[до тех пор] пока не откроются [настежь] связанные руки [створки] дверей». *Bu sözü söyleyene dek...* (А. Несин) «До того, как он произнес эти слова...».

В синтаксисе современного турецкого литературного языка влияние народно-разговорного языка наиболее ярко проявляется в широком распространении (за последние примерно 40 лет) *Devrik cümle* — инверсированных предложений ⁵¹, а также в разрушении конструкции *изафета*:

⁴⁹ А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 70—85.

⁵⁰ Там же, стр. 72—73.

⁵¹ Л. Н. Старостов, «Языковая революция» в современной Турции, сб. «Проблемы изучения языковой ситуации и языковой вопрос в странах Азии и Северной Африки», М., 1970, стр. 113—120; А. Н. Баскаков, Функциональная значимость инверсии в современном турецком предложении, ИАН ОЛЯ, 1972, 4; К. Асарлар, *Devrik cümle*, «Dilbilgisi Sorunları», II, Ankara, 1972, стр. 251—257.

Sinasi sokak, Anadolu sigorta, Pamukbank (ср.: *Ziraat Bankası*), *toplumbilim, dilbilim, anlambilim* и мн. др.⁵².

На основании изложенного выше можно предложить следующую периодизацию основных этапов формирования турецкого письменно-литературного языка.

В процессе сложения, формирования и развития турецкого языка отчетливо выделяются два базисных периода: 1) **предыстория** турецкого языка; 2) **история** турецкого языка⁵³.

Предыстория турецкого письменно-литературного языка хронологически четко определяется и документируется литературными памятниками, созданными в Малой Азии в течение XIII—XV вв., а потому письменный язык этого периода следует именовать **анатолийско-(малоазиатско-)тюркским языком**.

История турецкого письменно-литературного языка прошла следующие этапы своего развития:

1. **Раннетурецкий язык** (конец XV—XVI в.) — **раннеосманский** период развития турецкого письменно-литературного языка характеризуется усложнением синтаксиса, постепенными изменениями в области морфологии и возросшим использованием арабской и персидской лексики.

2. **Среднетурецкий язык** (XVII — начало XIX в.) — **среднеосманский** период развития турецкого письменно-литературного языка характеризуется крайним усложнением (в особенности в области синтаксиса и лексики) и дальнейшим развитием морфологии письменно-литературного языка, его полным отрывом от народно-разговорного языка, превращением в своеобразный «классовый жаргон».

3. **Новотурецкий язык** (середина XIX — начало XX в.) — **новоосманский** период развития турецкого письменно-литературного языка характеризуется борьбой нарождавшейся турецкой буржуазии за создание турецкого национального языка.

4. **Новейший турецкий язык** (с 30-х годов XX в.) — **новый** период развития турецкого письменно-литературного языка характеризуется организованной в государственном масштабе борьбой за очищение и упрощение турецкого литературного языка, за приближение его к народно-разговорному языку. Этот период развития турецкого литературного языка характеризуется также рядом противоречивых устремлений и противоборствующих мнений о путях его дальнейшего развития.

Любой литературный язык, по нашему мнению, должен иметь общенациональную значимость, практически выражающуюся в установлении обязательных для всех лексико-фонетико-грамматических норм, которые реализуются наиболее полно в письменной форме литературного языка.

⁵² До недавнего времени подобные конструкции встречались преимущественно в топонимике: *Kadıköy, Paşabağçe, Topkapı* и т. п.; подробнее см.: С. С. Майзель, Изяфет в турецком языке, М.—Л., 1957, стр. 94—95.

⁵³ Ср.: Т. Грунин, Этапы розвитку турецкої літературної мови, «Мовознавство», 1935, 3—4, стр. 113—135.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ПАНФИЛОВ В. З.

КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В КОНСТИТУИРОВАНИИ
СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СУЖДЕНИЯ

Пожалуй, нет другой категории, о языковой природе и составе частных значений которой высказывалось бы столько различных и противоречивых точек зрения, как о категории модальности. Большинство авторов в ее состав включаются значения, самые разнородные по своей сущности, функциональному назначению и принадлежности к уровням языковой структуры, так что при этом категория модальности лишается какой-либо определенности. Между тем эта проблема имеет существенное значение не только для лингвистики, но и для логики, так как категория модальности принадлежит к той области языковых явлений, где их связь с логическим строем мышления оказывается наиболее непосредственной. Известно, что модальность в равной мере является предметом исследования и лингвистики, и логики. И если в первом модальность включается в число наиболее существенных характеристик предложения как языковой единицы, то во второй она рассматривается в качестве существенного признака суждения как формы мышления. Поэтому анализ языковой категории модальности может проводиться лишь в тесной связи с анализом логической категории модальности и той формы мышления, которой она свойственна, т. е. суждения.

Структура суждения, выражаемая предложением, имеет два уровня. Один из них есть суждение как пропозициональная функция, выделяемое современной формальной логикой. Структуру суждения как пропозициональной функции образуют n -местный предикат и его аргументы. Она фиксируется во всех моделях предложения, служащих для выражения класса суждений отношений в целом (типа *Москва южнее Ленинграда*, *Иван старше Петра* и т. п.). В большинстве языков широко представлены и являются наиболее частотными те модели предложения, которые выражают отношения актантов к действию типа русских *Иван любит Марию*, *Иван берет книгу* и т. п. В такого рода моделях предложения выражается одна из разновидностей суждения как пропозициональной функции, отражающая тот или иной характер отношений между актантами и действием. Структуру суждения как пропозициональной функции могут образовать минимально два компонента, если предикат является одноместным, как, например, в случае *Иван идет*, но может быть два, три или более компонентов, как, например, в случае *Иван положил книгу* или *Иван положил книгу на стол*, в первом из которых предикат *положил* имеет два аргумента (*Иван* и *книгу*), а во втором еще третий аргумент (*на стол*).

Второй уровень структуры суждения, выражаемого предложением, есть его субъектно-предикатная структура, бывшая предметом исследова-

ния в традиционной формальной логике (формула *S есть P*). Субъектно-предикатную структуру образуют логический субъект как понятие о предмете и логический предикат как понятие о признаке (или признаках), присущем (или не присущем) этому предмету мысли, т. е. эта структура, в отличие от предыдущей, если не рассматривать связку как самостоятельный компонент, всегда является двучленной.

Если суждение как пропозициональная функция отражает характер объективных связей в действительности, то суждение как субъектно-предикатная структура обусловлено направленностью самого познавательного процесса. Она формируется в зависимости от того, какой именно из компонентов ситуации, на которую направлен познавательный акт, выделяется в качестве предмета мысли, а какой — в качестве предиктируемого ему признака. Поскольку в познавательных актах, направленных на одну и ту же ситуацию, в качестве последних могут выделяться ее различные компоненты, то она (ситуация) может отражаться в суждениях, отличающихся друг от друга по своему субъектно-предикатному составу, как, например, в случаях *Иван любит Марью, Марья любит — Иван* и т. п. Таким образом, в суждении на уровне его субъектно-предикатной структуры фиксируется ход, направленность познавательного процесса, т. е. его субъективная сторона.

Структура суждения как пропозициональной функции и его субъектно-предикатная структура получают свое формальное языковое выражение в структуре предложения; первая из них фиксируется синтаксическим членением предложения и, в частности, его залоговыми отношениями¹; вторая — логико-грамматическим, или актуальным, членением предложения. При этом, если в русском и других славянских языках средствами логико-грамматического членения предложения являются прежде всего логическое ударение, порядок слов и служебные слова с модальными и выделительными значениями, то во многих других языках наряду с последними используются специальные морфемы, присоединяемые к тому члену предложения, который выражает логический предикат, а в некоторых языках также к тому из них, который выражает логический субъект². Поскольку и тот и другой маркируются определенными грамматическими средствами, их можно именовать логико-грамматическими субъектом и предикатом.

Как уже отмечалось, одна и та же ситуация может быть отражена в суждениях, имеющих различную субъектно-предикатную структуру, а следовательно, и в предложениях с различным логико-грамматическим членением. В этом, в частности, проявляется активность познавательной деятельности человеческого мышления, и это не учитывается представителями так называемого семантического синтаксиса, которые стремятся прямолинейно свести не только структуру, но и содержание предложения к той ситуации, по поводу которой оно высказывается.

Так как субъективная сторона познавательного акта, направленного на ту или иную ситуацию, связана с логико-грамматическим членением предложения, то и предложение как языковая единица, т. е. его структура и конституирующие его признаки, получает свое завершение лишь на этом уровне членения. В частности, предикативность как отнесенность содержания предложения к действительности, т. е. тот признак предложения, благодаря которому оно становится относительно законченным актом высказывания (или мысли) о действительности, является принадлежностью

¹ См. также: В. З. П а н ф и л о в, Языковые универсалии и типология предложения, ВЯ, 1974, 5, стр. 8, 14—15.

² См. подробнее: В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 113—138.

логико-грамматического, а не синтаксического уровня членения предложения. Иная точка зрения на природу предикативности развивалась Т. П. Ломтевым. Во-первых, по его мнению, предикативность есть свойство не предложения, а выражаемого им высказывания. «Предикативность,— пишет он,— есть общее глобальное логическое свойство всякого высказывания, выраженного любым предложением». Во-вторых, предикативность приписывается им структуре суждения как пропозициональной функции «В современной логике,— пишет Т. П. Ломтев,— структуру означаемого предложения рассматривают как систему с отношениями. Предполагается, что отношение имеет предикативный характер и содержит места для предметов»³.

Предикативность есть и свойство мысли, и, в той мере, в какой она имеет определенные языковые показатели, свойство предложения, выражающего эту мысль. Мысль и языковая единица, ее выражающая, приобретают свойство предикативности, поскольку осуществляется акт ее отнесения к действительности. Но так как этот акт отнесения включается в субъективную сторону познавательного процесса, направленного на ту или иную ситуацию, предикативность оказывается принадлежностью мысли на уровне ее субъектно-предикатной структуры и соответственно на уровне логико-грамматического членения предложения.

Бесспорно модальными являются два типа значений: объективная (онтологическая) и субъективная (персуазивная) модальности. Первая из них отражает характер объективных связей, наличных в той или иной ситуации, на которую направлен познавательный акт, а именно связи возможные, действительные и необходимые. Вторая выражает оценку со стороны говорящего степени познания этих связей, т. е. она указывает на степень достоверности мысли, отражающей данную ситуацию, и включает проблематическую, простую и категорическую достоверности.

Объективная, или онтологическая, модальность получает свое выражение на уровне синтаксического членения предложения. Ее языковыми показателями являются: 1) наклонение глагола; так, например, в русском языке действительная связь выражается изъявительным наклонением глагола, а сослагательным наклонением в предложениях типа *Если бы он пришел вчера, то мы успели бы закончить свою работу* выражается неосуществившаяся возможность, т. е. указывается на такую связь, которая могла бы быть при наличии определенных условий, на самом деле, однако, не имевших места. Есть языки (например, тюркские, нивхский⁴ и др.), в которых существуют особые формы условного наклонения глагола, указывающие на действие, совершение или несовершенство которого является условием для осуществления или неосуществления другого действия, выраженного глаголом — сказуемым главного предложения. В некоторых языках существует особое долженствовательное наклонение, которое указывает на необходимое связь, как, например, в турецком языке⁵; 2) многочисленные модальные глаголы типа немецких *können, dürfen, sollen, müssen*, русских *мочь, должен* и т. п., а также слова типа русских *действительно, возможно, надо, необходимо* и т. п., в большинстве своем относимых к категории состояния. Например: *В твердом теле воз-*

³ Т. П. Ломтев, Предложение и его грамматические категории, М., 1972, стр. 27, 23.

⁴ См.: Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 166—170; А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского языка, М.—Л., 1960, стр. 232—234; В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, М.—Л., 1965, стр. 125—126.

⁵ См.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого языка, М.—Л., 1956, стр. 244—245.

можно распространение упругих волн; Он действительно образованный человек. Глаголы типа русских *хотеть*, *желать* и т. п. или же немецких *wollen*, которые также обычно квалифицируются как модальные, в отличие от приведенных выше глаголов, своими лексическими значениями не указывают на характер объективных связей и, следовательно, не выражают модальных значений⁶. Об этом свидетельствуют предложения типа *Он должен (за)хотеть сделать эту работу*, в которых модальный глагол *должен* сочетается с глаголом *(за)хотеть*. Это же следует сказать о специальных грамматических показателях с аналогичными значениями, как, например, о нивхском суффиксе *-ины* со значением намерения [*Иф ви-ины-д'* «Он хочет (собирается) пойти»].

Собственно грамматический характер выражение объективной модальности получает лишь в формах наклонения глагола. Модальные глаголы и слова типа *возможно*, выступая в предложении как полнозначные слова, являются компонентами его конкретного содержания наряду с другими знаменательными словами предложения, но, сочетаясь с другими знаменательными глаголами, не образуют аналитической формы последних.

В пределах объективной модальности следует различать алетическую и деонтическую (нормативную) модальности. Различие между ними состоит в том, что в случае алетической модальности в предложении фиксируются возможность и необходимость с точки зрения реальных (физических) условий и состояний⁷, как, например, в предложении *Любое тело, брошенное вверх со скоростью ниже первой космической, должно упасть на землю*. В случае же деонтической модальности в предложении выражаются возможность и необходимость с точки зрения общественных норм, этических принципов и т. п., как, например, в предложениях: *Он должен (обязан) вмешаться в это дело; Потом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан* (Некрасов). Первый из этих двух видов объективной модальности изучался еще классической формальной логикой, выделявшей суждения ассерторические (суждения действительности), проблематические (суждения возможности) и аподиктические (суждения необходимости). Второй же из них исследуется в настоящее время в неклассической, деонтической логике⁸. Оба эти вида объективной модальности выражаются в языке и лексическими, и грамматическими средствами. При этом, хотя один и тот же языковой способ может использоваться для выражения и того и другого вида, существует тенденция к их специализации. Так, в немецком языке, в котором существует развитая система модальных глаголов, глаголы *dürfen* «меть, иметь разрешение» и *sollen* «быть должным, быть обязанным» преимущественно выражают соответственно возможность и необходимость (долженствование) с точки зрения моральных норм самого субъекта и общественных установлений, а глаголы *können* «мочь, иметь возможность, быть в силах» и *müssen* «быть должным» преимущественно выражают соответственно возможность и необходимость

⁶ Следует, однако, отметить, что в некоторых случаях немецкое *wollen* может употребляться для выражения долженствования (в сочетании с инфинитивом пассива) (как например: *Diese Krankheit will sorgfältig behandelt werden* «Эту болезнь необходимо тщательно вылечить»), а также для выражения сомнения, т. е. субъективной модальности, например: *Die Frau will das nicht gewußt haben* «Женщина утверждает, что она якобы этого не знает» (см.: Е. А. Крашенинникова, Модальные глаголы в немецком языке, М., 1954, стр. 58—61).

⁷ Следует отметить, что ряд авторов в пределах алетической модальности выделяет логическую и физическую модальности (см. об этом: Я. А. Слинин, Теория модальностей в современной логике, в кн.: «Логическая семантика и модальная логика», М., 1967).

⁸ См., например: А. А. Ивин, Некоторые проблемы теории деонтических модальностей, в кн.: «Логическая семантика и модальная логика», М., 1967; ег о ж е, Логика норм, М., 1973.

с точки зрения объективных условий. Вместе с тем глагол *können* нередко употребляется в функции глагола *dürfen*, а глагол *müssen* в функции глагола *sollen*, т. е. в тех случаях, когда речь идет о возможности (разрешении) и необходимости (долженствовании), обусловленных чужой волей⁹.

Что касается грамматических средств, то они используются преимущественно для выражения алетической разновидности объективной модальности. Так, в самых различных языках выделяются такие наклонения глагола, как изъявительное, сослагательное и условное, первое из которых указывает на действительную связь, а последние два — на связь возможную. Деонтическая же модальность формами наклонения выражается сравнительно редко — лишь в некоторых языках, как уже отмечалось, в этих целях используется долженствовательное наклонение. Наконец, следует отметить, что, по-видимому, в одном и том же предложении может быть выражена и алетическая, и деонтическая объективные модальности. Так, в предложении *Он должен был бы пойти домой в 7 часов, но не успел к этому времени закончить всю работу* формой сослагательного наклонения выражается алетическая модальность неосуществившейся возможности, а словом *должен* — деонтическая модальность.

Субъективная (персуазивная) модальность выражается на уровне логико-грамматического членения предложения. Как я уже отмечал, логико-грамматический уровень обусловлен активностью познавательного процесса, направленного на то или иное явление действительности. Этот субъективный момент в ходе любого познавательного акта проявляется, в частности, в том, что говорящий оценивает степень достоверности формирующейся у него мысли¹⁰ о действительности. При этом такого рода субъективная оценка степени достоверности мысли, выражаемой соответствующим предложением, может не совпадать с тем, в какой мере эта мысль на самом деле соответствует действительности. Иначе говоря, степень достоверности выражаемой в предложении мысли с точки зрения говорящего и ее истинность представляют собой разные величины. Так, например, какое-либо суждение, характеризуемое субъективной модальностью категорической достоверности, может быть не только истинным, но и ложным.

Оценка степени достоверности мысли с точки зрения субъекта мысли на уровне логико-грамматического членения получает свое формально-грамматическое выражение. В русском языке средствами его выражения являются интонация и служебные слова с модальными значениями типа *может быть, вероятно, несомненно, конечно* и др. Такого рода модальными словами выражаются значения проблематичности и категоричности высказывания, и они в составе русского предложения интонационно и обычно позиционно тяготеют к тому члену предложения, который выражает логико-грамматический предикат. Ср.: *Отец, может быть, придет* и *Может быть, отец придет*. В языках иного типа, чем русский, как, например, в синтетическо-агглютинативных в этих целях, кроме модальных слов и частиц, используются также специальные формы наклонения глагола. В нивхском языке, например, есть специальные формы проблематического и категорического наклонений. Так, ср.: 1) *Ытыж п'рыныд' уер йауало* «Отец, может быть, придет»; 2) *Ытыкуер йауало п'рыныд'* «Может быть, отец придет»; 3) *Ытыж п'рыныуитлэ* «Отец, конечно, придет»; 4) *Ытыж хауитлэ п'рыныд'* «Конечно, отец придет». Кроме того, в нивхском языке значение проблематичности выражается специальным суффиксом *-бын'эво*, причем глагол оформляется в этом случае показа-

⁹ См.: Е. А. Крашенинникова, указ. соч.

телем изъявительного наклонения глагола, например: *Бтык п ры-бын-эво-д'* «Отец, вероятно, придет». Проблематическое (возможностное, предположительное) наклонение глагола или иные формы последнего с тем же значением выделяются во многих языках, например, в некоторых финно-угорских, тюркских, самодийских¹⁰ и других. Формы глагола со значением категоричности, уверенности говорящего в достоверности содержания высказывания есть в тюркских¹¹ и некоторых других языках.

Значение простой достоверности на уровне логико-грамматического членения предложения выражается формой изъявительного наклонения глагола, которая, следовательно, в случае совпадения синтаксического и логико-грамматического членения предложения наряду с этим выражает также одно из значений объективной модальности, а именно указывает на действительную связь.

Как проблематическая, так и категорическая модальности могут иметь несколько степеней. Так, в русском языке проблематическая достоверность имеет своего рода шкалу от наименьшей до наибольшей степени достоверности, крайние значения которой выражаются, например, словосочетаниями с модальными значениями *мало вероятно* и *весьма вероятно* или *вполне вероятно*¹².

В отличие от объективной модальности, отражающей характер связей в самой действительности и потому являющейся составной частью конкретного содержания предложения, субъективная модальность не есть результат отражения объективной действительности. Она выражает лишь ту оценку адекватности этого отражения, которая дается субъектом мысли, т. е. указывает на степень достоверности содержания предложения с его точки зрения. Следовательно, она не является компонентом конкретного содержания предложения и выступает лишь как формально-грамматическое значение независимо от того, выражается ли она специальными морфемами или служебными словами с модальным значением. Поэтому, как нам уже приходилось отмечать, предложения, передающие одно и то же конкретное содержание, но различающиеся по выражаемой в них субъективной модальности, образуют формально-грамматическую парадигму. Что же касается выражаемых такими предложениями мыслей, то субъективная модальность выступает как их формальная характеристика, иначе говоря, в зависимости от различия по субъективной модальности они дифференцируются по своей форме.

В этом отношении иначе обстоит дело с объективной модальностью. Как формально-грамматическое значение она выступает только в тех случаях, когда выражается формально-грамматическими показателями, как, например, наклонением глагола. Выражаясь же модальными глаголами и словами типа *необходимо*, *возможно* и т. п., она является компонентом конкретного содержания предложения. К тому же здесь следует иметь в виду, что, например, предложения, в которых выражаются действительная и необходимая связи, нередко никак не дифференцируются в языковом отношении. Ср. следующие два предложения: *Я живу в Москве* и *Земля вращается вокруг Солнца*. Хотя в первом из них констатируется

¹⁰ См.: «Грамматика финского языка», М.—Л., 1958, стр. 159—163; Г. М. Керт, Саамский язык, Л., 1971, стр. 200—204; А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого языка, стр. 234—235; е го же, Грамматика современного узбекского языка, стр. 229—230; Н. М. Терещенко, Синтаксис самодийских языков, Л., 1973, стр. 143.

¹¹ См.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого языка, стр. 248—249; е го же, Грамматика современного узбекского языка, стр. 230—232.

¹² В. З. Панфилов, Grammar and logic, The Hague — Paris, 1968, стр. 75; В. Н. Бодаренко, Виды модальных значений и их выражение в языке. АКД, М., 1977, стр. 12.

действительная, а во втором необходимая связь, эта последняя не выражается каким-либо особым языковым способом. Поэтому возникает вопрос о том, во всех ли случаях можно рассматривать суждения о действительных (ассерторические), возможных (проблематические) и необходимых (аподиктические) связях как формально-логические разновидности этой формы мысли.

Синтаксическое и логико-грамматическое членения предложения нередко не совпадают: логико-грамматический субъект может выражаться не подлежащим или группой подлежащего, а каким-либо другим членом предложения, а логико-грамматический предикат — не сказуемым или группой сказуемого, а иным членом предложения. При этом обнаруживается весьма сложная картина соотношения объективной и субъективной модальностей, функционирующих соответственно на синтаксическом и логико-грамматическом уровнях членения предложения. Предложение при одной и той же объективной модальности на синтаксическом уровне членения может иметь различную субъективную модальность на уровне его логико-грамматического членения. Так, во втором из приведенных выше нивхских предложений, в котором логико-грамматический предикат выражается подлежащим, оно оформлено показателем проблематической модальности (частицей *уэр* и служебным словом *йауало*), а глагол-сказуемое дается в изъявительном наклонении; в четвертом же предложении логико-грамматический предикат оформлен показателем категорической достоверности (после него ставится вспомогательный глагол *had'* «быть» в категорическом наклонении, а глагол-сказуемое дается в том же изъявительном наклонении). То же самое наблюдается и в русском языке. Так, например, в предложениях 1) *Если бы он пришел, я бы ему сказал*; *Если бы он пришел, я бы, вероятно, ему сказал*; 3) *Если бы он пришел, я бы, конечно, ему сказал* при наличии объективной модальности неосуществившейся возможности на синтаксическом уровне во всех трех предложениях субъективная модальность в каждом из них будет особой: в первом — простая достоверность, во втором — проблематическая, в третьем — категорическая. Характерно при этом, что в нивхском языке проблематическое наклонение глагола образуется от формы изъявительного наклонения на *-d'* путем присоединения к последней модальной частицы *уэр* и постановки в постпозиции к ней модального слова *йауало*, в то время как форма категорического наклонения образуется присоединением суффикса *-бар* или *-үитлэ* непосредственно к основе глагола.

Весьма показательным для их соотношения и той роли, которую играют субъективная и объективная модальности в конституировании структуры предложения, является тот факт, что при совпадении синтаксического и логико-грамматического членений простого предложения может получиться выражение только одна субъективная модальность¹³.

¹³ Ср. точку зрения авторов «Грамматики современного русского литературного языка» (М., 1970), согласно которой обязательными для каждого предложения являются лишь объективно-модальные значения (стр. 542), а субъективно-модальные включаются в предложение лишь факультативно и могут характеризовать только часть предложения. При этом к субъективно-модальным значениям авторы относят «значения усиления (подчеркивания, акцентирования), экспрессивной оценки, уверенности или неуверенности (определенности или неопределенности), принятия или непринятия (согласия или несогласия) и ряд других» (стр. 611). Таким образом, к субъективно-модальным здесь причисляются значения самого различного характера. Аналогичным образом авторы поступают, когда ими определяется круг объективно-модальных значений. «Простое предложение, — указывается здесь, — обладает своей собственной системой формальных свойств, позволяющих ему специальными грамматическими средствами обозначать, что то, о чем сообщается, или реально осуществляется в настоящем, прошедшем или будущем, или же мыслится как ирреальное, т. е. возможное, желаемое, должное или требуемое» (стр. 542). Полагая далее, что реальность выражается

Так, в нивхском предложении *Ытык п'рыныуитлэ* «Отец, конечно, придет» глагол, выражающий логический предикат, дается в категорическом наклонении, а объективная модальность каких-либо показателей не имеет. Если взять предложение с тем же составом знаменательных слов при несовпадающем синтаксическом и логико-грамматическом членении *Ытык хауитлэ п'рыныд'* «Конечно, отец придет», то здесь будет уже иное положение. В этом предложении логический предикат выражается подлежащим, поэтому при нем ставится вспомогательный глагол *ha-ǝ'* в форме категорического наклонения, а глагольное сказуемое, являющееся логическим субъектом, дается в форме изъявительного наклонения, указывающего на действительную связь. В соответствующих же предложениях на русском языке категорическая модальность выражается модальным словом *конечно*, а глагол-сказуемое дается в изъявительном наклонении, формой которого в каждом случае указывается только на объективную модальность действительности.

Еще более интересная картина выражения объективной и субъективной модальностей наблюдается в сложно-подчиненном предложении нивхского языка. Прежде всего следует отметить, что в нивхском языке глаголы-сказуемые придаточного и главного предложения могут быть в форме различных наклонений, выражающих объективную модальность. Так, в сложно-подчиненном предложении *Иф нымр п'рыоа, н'ынг чагынгт виньд'фор* «Если бы он пришел вчера, то мы пошли бы на охоту» глагол-сказуемое придаточного предложения *п'рыоа* «если бы пришел» дается в форме условного наклонения, а глагол-сказуемое главного предложения *виньд'фор* «пошли бы» — в форме сослагательного наклонения (*винь-ǝ'-фор*: *ви* — основа глагола «идти», *ны* — суффикс будущего времени, *ǝ'* — суффикс изъявительного наклонения, *фор* — суффикс сослагательного наклонения). При изменении субъективной модальности главного предложения приведенного сложно-подчиненного предложения на проблематическую или категорическую, глагол-сказуемое первого из них получает только их показатели и лишается показателя сослагательного наклонения, выражающего объективную модальность. Так, ср.: 1) *Иф нымр п'рыоа, н'ынг чагынгт виньло йауало* «Если бы он пришел вчера, то мы, может быть, пошли бы на охоту»; 2) *Иф нымр п'рыоа, н'ынг чагынгт выуитлэ* «Если бы он пришел вчера, то мы, конечно, пошли бы на охоту». В первом из приведенных нивхских предложений глагол-сказуемое главного предложения *виньло* оформляется частицей *ло* со значением неопределенности и после него ставится модальное слово *йауало/йоуло* со значением проблематичности; во втором из них глагол-сказуемое главного предложения дается в форме категорического наклонения, показателем которого является суффикс *-уитлэ*. В соответствующих предложениях русского языка глагол-сказуемое главного предложения стоит в форме

синтаксическим индикативом в настоящем, прошедшем и будущем временах (например *В доме тишина* и т. д.), а пререальность синтаксическими пререальными наклонениями, неопределенными во временном отношении, авторы приводят в качестве примеров следующие предложения, в которых, по их мнению, «осуществлено отнесение того же сообщения в план возможного, желаемого, требуемого»: *В доме была бы тишина; Была бы в доме тишина!*; *Пусть в доме будет тишина!* (там же). С указанным пониманием объективной модальности трудно согласиться. Во-первых, неясно, почему значения желания, долженствования и требования должны рассматриваться как пререальные, т. е. недействительные, если в соответствующих случаях фиксируется факт наличия желания, долженствования и требования. Во-вторых, значения желания и требования вообще не кажется правомерным рассматривать как разновидности объективной модальности. Наконец, такие разновидности объективной модальности, как возможность, долженствование (необходимость), выражаются, как уже отмечалось выше, не только формами наклонения (хотя бы и синтаксического), но и другими способами.

сослагательного наклонения, а субъективная модальность проблематичности и категоричности выражается соответственно модальными словами *может быть* и *конечно*, т. е. в каждом из них выражается и объективная, и субъективная модальности. Нивхские же примеры свидетельствуют о том, что субъективная модальность, а следовательно, и субъектно-предикатная структура в соответствующих случаях представляются более существенными характеристиками суждения как формы мысли, чем объективная модальность и его (суждения) структура как пропозициональной функции.

Характер соотношения синтаксического и логико-грамматического членения предложения зависит от типологических особенностей языка. Этим определяется также и та роль, которую играют субъективная и объективная модальности в конституировании структуры предложения. В общей форме, по-видимому, будет справедливым положение о том, что в языках аналитическо-агглютинативных и синтетическо-агглютинативных субъективная модальность при своем выражении оказывает гораздо большее влияние на структуру предложения, чем в языках синтетическо-флективного типа. Так, например, в нивхском языке есть особые проблематическое и категорическое наклонения, в то время как в русском языке соответствующие значения выражаются модальными словами, которые не оказывают никакого влияния на характер (оформление) членов предложения. При несовпадении синтаксического и логико-грамматического членений предложения в нивхском языке показатели проблематической и категорической модальностей отходят к тому члену предложения, который выражает логико-грамматический предикат, а глагол-сказуемое дается в изъявительном наклонении. В отличие от этого в русском языке при изменении субъективной модальности предложения глагольное сказуемое не претерпевает каких-либо изменений.

При изменении логико-грамматического членения предложения и субъективной модальности еще большую перестройку претерпевает предложение в языках аналитическо-агглютинирующего типа, как, например, в китайском. Иначе говоря, в языках различной типологии объективная и субъективная модальности, как и соответствующие уровни членения предложения, на которых они функционируют, играют различную роль в конституировании структуры предложения.

Между значениями субъективной и объективной модальности и способами их языкового выражения не существует резкой грани. Суждения о возможных, действительных и необходимых связях также могут фиксировать различные ступени человеческого познания одного и того же явления. Так, если до последнего времени мы могли высказывать о жизни на Марсе лишь суждение возможности (*Жизнь на Марсе возможна*), то не исключено, что результатом последних исследований Марса будет уже суждение о действительных связях — *На Марсе есть жизнь*. Поэтому об одном и том же явлении действительности мы можем высказывать, например, как суждение возможности, так и проблематическое суждение. Так, ср.: *Жизнь на Марсе возможна* и *На Марсе, возможно, есть жизнь*. Для выражения того и другого вида модальности нередко могут использоваться одни и те же языковые средства. Так, например, русское предложение *Отец может завтра прийти* в зависимости от контекста может означать: 1) *Отец в состоянии (имеет возможность) завтра прийти* и 2) *Отец, может быть, завтра придет*. Таким образом, в этом предложении слово *может* в первом случае выражает объективную модальность возможности, а во втором — субъективную модальность проблематичности.

Аналогичным образом ведут себя модальные глаголы и в других языках. Так, например, в немецком языке модальные глаголы *dürfen*, *können*,

sollen и *müssen*, обычно используемые для выражения объективной модальности, в некоторых случаях указывают на субъективную модальность проблематичности. Так, предложение *Er kann hier sein* в зависимости от контекста означает: 1) «Он имеет возможность быть здесь»; 2) «Он, вероятно, здесь». Предложение *Er muß hier sein* означает «Он, наверное, здесь» и т. д.¹⁴. Выражая субъективную модальность, модальные глаголы выполняют уже чисто грамматическую функцию. Возможны и такие случаи, когда для выражения субъективной модальности проблематичности и объективной модальности возможности используется одно и то же модальное слово, например: *Возможно (может быть), жизнь на Марсе возможна*. Такая синкретичность языкового выражения субъективной и объективной модальностей, как и возможность перехода одного вида модальности в другой в процессе человеческого познания, по-видимому, послужили одной из причин того, что они недостаточно четко разграничивались в истории логики и что вопрос о модальности как формальном признаке суждения решался весьма противоречиво, поскольку каждый из названных видов модальности в этом отношении играет различную роль. Очевидно, что взаимодействие субъективной и объективной модальностей и способов их языкового выражения должно быть предметом специального исследования, поскольку этой проблеме до настоящего времени почти не уделялось никакого внимания.

Помимо объективной и субъективной модальностей, в категорию модальности обычно включают и другие языковые значения. Весьма широкое понимание категории модальности развивали, в частности, Ш. Балли, Э. Бенвенист, В. В. Виноградов и мн. др. Ш. Балли, выделяя в эксплицитном предложении, представляющем, по его определению, «наиболее логическую форму» сообщения мысли, две части — диктум и модус, полагает, что первая из них коррелятивна представлению, воспринятому чувствами, памятью или воображением, а вторая — той психической операции, которая производится мыслящим субъектом над этим представлением¹⁵. Модус представляет собой «главную часть предложения, без которой не может быть предложения, а именно выражение модальности»¹⁶. Характер этой психической операции, находящей свое выражение в модусе предложения, Ш. Балли определяет следующим образом: «Мыслить — значит реагировать на представление, констатируя его наличие, оценивая его или желая... мыслить — значит вынести суждение, есть ли вещь или ее нет, либо определить, желательна ли она или нежелательна, либо, наконец, выразить пожелание, чтобы она была или не была... В первом случае выражается суждение о факте, во втором — суждение о ценности факта, в третьем — проявление воли»¹⁷. Модус в свою очередь расчленяется Ш. Балли на модальный глагол (например, *думать, радоваться, желать*), который представляет собой аналитическое и логическое выражения модальности, и модальный субъект¹⁸. При такой трактовке модуса у Ш. Балли в число модальных включаются значения, по которым дифференцируются сообщение и побуждение как различные виды коммуникации, эмоции и в том числе те, которые выражаются междометиями, и, наконец, те значения, которые мы выше определили как субъективно-модальные¹⁹.

¹⁴ См. например: Е. А. Крашенинникова, указ. соч., стр. 24—27, 35, 38, 71—72, 86—88.

¹⁵ Ш. Балли, *Общая лингвистика и вопросы французского языка*, М., 1955, стр. 44.

¹⁶ Там же, стр. 44.

¹⁷ Там же, стр. 43.

¹⁸ Там же, стр. 44.

¹⁹ Там же, стр. 43—62

Как три «формы модальности предложения» рассматривает утвердительные, вопросительные и повелительные предложения Э. Бенвенист²⁰.

В советском языкознании на исследования по проблеме модальности значительное влияние оказала статья В. В. Виноградова «О категории модальности и модальных словах в русском языке», опубликованная в 1950 г. Категория модальности определяется здесь В. В. Виноградовым следующим образом: «Каждое предложение включает в себя как существенный конструктивный признак модальное значение, т. е. содержит в себе указание на отношение к действительности. Любое целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той или иной форме высказывания, облекается в одну из существующих в данной системе языка интонационных схем предложения и выражает одно из тех синтаксических значений, которые в своей совокупности образуют категорию модальности»²¹.

В соответствии с этим В. В. Виноградовым и его последователями как модальные рассматривались: 1) значения, по которым дифференцируются различные виды коммуникации, т. е. сообщение, вопрос и побуждение²²; 2) утверждение и отрицание, по которым дифференцируются утвердительные и отрицательные предложения²³; 3) эмоциональное отношение говорящего к содержанию сообщения²⁴; 4) некоторые значения типа Aktionsart, как, например, представление признака как интенсивного или длящегося, и целый ряд других значений²⁵. При таком подходе категория модальности становится весьма аморфной — по существу в нее попадают все те языковые явления, которые по тем или иным причинам не находят места среди других грамматических или лексико-грамматических категорий. Различная языковая природа всех этих явлений очевидна, их невозможно охватить даже самыми широкими определениями категории модальности типа: «модальность выражает отношение содержания сообщения к действительности» или «модальность выражает отношение говорящего к содержанию сообщения». Так, например, под эти определения едва ли можно без большой натяжки подвести различные виды коммуникации, дифференцирующиеся по целевой установке говорящего, или объективную модальность. Ни одно из названных выше «модальных» значений, по нашему мнению, не является таковым, хотя бы уже потому, что повествовательные и вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения или предложения, в которых выражается различное эмоциональное отношение говорящего к содержанию сообщения, могут дифференцироваться по субъективной модальности, т. е. в каждом из этих типов предложения может выражаться простая, проблематическая и категорическая достоверность. Так, ср.: *Отец пришел; Отец, вероятно, пришел; Отец, конечно, пришел; Отец пришел?*; *Отец, вероятно, пришел?*; *Отец, конечно, пришел?* и т. д.

²⁰ Э. Бенвенист, *Общая лингвистика*, М., 1974, стр. 140.

²¹ В. В. Виноградов, *О категории модальности и модальных словах в русском языке*, в кн.: В. В. Виноградов, *Избранные труды. Исследования по русской грамматике*, М., 1975, стр. 55.

²² В. В. Виноградов рассматривает в этом ряду также и восклицательные предложения (см.: В. В. Виноградов, *указ. соч.*, стр. 60).

²³ См., например: А. А. Реформатский, *Введение в языкознание*, М., 1960, стр. 268; В. Г. Адмони, *Введение в синтаксис современного немецкого языка*, М., 1958, стр. 163—164; его же, *Синтаксис современного немецкого языка*, Л., 1973, стр. 32; «Современный русский язык. Морфология», М., 1952, стр. 284.

²⁴ См., например: «Грамматика русского языка», II — Синтаксис, ч. 1, М., 1954, стр. 368; «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 611.

²⁵ «Грамматика современного русского литературного языка», стр. 611; И. Пете, *Типы синтаксической модальности в русском языке*, «Studia slavica», 16, № 3—4, 1970, стр. 226.

С логической точки зрения этот факт свидетельствует лишь о том, что субъективная модальность и те значения, по которым предложения дифференцируются в зависимости от целей коммуникации, относятся к разноплановым явлениям, выделяются на различных основаниях и, следовательно, не могут объединяться в пределах одной языковой категории. В противном случае нарушается одно из основных логических правил деления понятия, согласно которому оно должно производиться на одном и том же основании, полученные в результате этого частные понятия должны исключать друг друга и при этом делении должен быть исчерпан весь объем данного понятия ²⁶.

Таким образом, коммуникативная установка говорящего, его эмоциональное отношение к содержанию высказывания и субъективная модальность, хотя и могут быть отнесены к актуализирующим компонентам высказывания, однако их языковая природа и их роль в конституировании структуры предложения настолько различны, что объединять их в пределах одной грамматической или лексико-грамматической категории модальности не представляется возможным.

²⁶ См. также: V. Z. P a n f i l o v, Grammar and logic, стр. 64—69; е г о ж е, Взаимоотношение языка и мышления, стр. 174 и сл.

ВЕЙХМАН Г. А.

ПРЕДИКАТИВНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ВЫСШИХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Термин «актуальное членение» не полностью отражает сущность соответствующего явления¹, термин же «смысловое членение» неудобен, так как ассоциируется с членением семантическим. Поэтому, понимая предикативность как категорию, проявляющуюся в отношении логико-грамматического субъекта и предиката², мы будем пользоваться термином «предикативное членение», а термином «актуальное членение» — при ссылках на соответствующие работы.

В предикативном членении еще много неясного³. В настоящей статье рассматриваются две проблемы: 1) средства сигнализации субъекта и предиката и 2) типы предикативного членения.

1. Средства выявления субъекта и предиката предложения английского и, частично, некоторых родственных языков, описанные в литературе⁴, можно суммировать следующим образом. В числе средств сигнализации предиката есть: 1) синтаксические, 2) интонационные, 3) лексические и 4) смешанные.

1. Синтаксические средства а) Кратчайший ответ на вытекающий из констатации местоименный вопрос есть предикат или мнорема, б) Порядок слов: при немаркированном предикативном членении (т. е. при отсутствии логического ударения или его совпадении с фразовым) предикатом является последний элемент (в том числе дополнение пассивного залогового оборота). Уточним, что это должен быть последний элемент, не обладающий признаками субъекта. Ср.: *everything was well*

¹ См., например: P. S g a l l, Functional sentence perspective in a generative description, «Prague studies in mathematical linguistics», 1967, 2, стр. 206.

² См.: В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 169, 172. В дальнейшем для краткости мы будем говорить просто о субъекте и предикате (соответственно С и П).

³ См.: О. А. Л а п т е в а, Нерешенные вопросы актуального членения, ВЯ, 1972, 2, стр. 41—42. Помимо объективных трудностей, о которых пишет О. А. Лаптева, разработка проблем актуального членения иногда осложняется факторами субъективными. Как будет показано ниже на примере Н. Хомского, серьезная разработка нерешенных вопросов актуального членения может подменяться внесением путаницы в вопросы, уже решенные.

⁴ См., например: В. З. П а н ф и л о в, указ. соч., стр. 115—136; е г о ж е, Грамматика и логика, М.—Л., 1963, стр. 32; P. N o v á k, O prostředcích aktuálního členění, «Acta Universitatis Carolinae», Philologica, I, Praha, 1959, стр. 9—15; Б. А. И л ь ш, Развитие способов выражения смыслового предиката в английском языке, в кн.: «Вторая научная сессия по вопросам германского языкознания. Тезисы докладов», М., 1959, стр. 17; П. А д а м е ц, Порядок слов в современном русском языке, Praha, 1966, стр. 8, 24—25; К. P a l a, О некоторых проблемах актуального членения, «Prague studies in mathematical linguistics», 1966, 1, стр. 82; Г. А. В е й х м а н, Одвусоставных безглагольных предложениях, ВЯ, 1967, 3, стр. 105; W. D r e s s l e r, Funktionale Satzperspektive und Texttheorie, «Papers on functional sentence perspective», Prague, 1974 (далее — PFSP), стр. 91; В. Г. Г а к, Коммуникативные трансформации и системность средств логического выделения во французском языке, ФН, 1975, 5, стр. 50.

with her, где предикат — *well*, а *with her* — анафора и, следовательно, субъект.

2. Интонационные средства: а) сегментация, б) логическое ударение, превращающее при маркированном предикативном членении непозитивный элемент в предикат.

3. Лексические средства: значение а) анализируемого слова (например, эмфатическое *do* в английском), б) соседних слов, например, неопределенный артикль, усилительно-выделительные частицы, глаголы определенной семантики (возникновение, наличие). Ср.: *Comes October*.

4. Смешанные средства: а) синтактико-интонационные (эмфатическая и вопросительная инверсия одновременно с логическим ударением на препозитивном элементе), б) синтактико-интонационно-лексические (специальные конструкции плюс логическое ударение на предикате, которому иногда предшествует неопределенный артикль или другой лексический сигнал последующего предиката).

Субъект может выделяться отрицательно, т. е. как остаток после выделения предиката. Кроме того, при немаркированном предикативном членении субъект обнаруживается по выполняемой синтаксической функции (подлежащее).

Исследование английских высших синтаксических единиц⁵ показало, что, как и в русском языке, в английском употребительны субъекты-детерминанты: а) дополнения и б) обстоятельства. Ср.: а) *She smiled at him*; б) *There lies our one and only hope; We're in agreement there*. Факт существования детерминантов можно подтвердить примерами типа: а) *Five minutes later, we were out of there* и б) *An hour or two earlier and we might have saved her*. В английском языке детерминанты типа (а) структурно, семантически и, вероятно, этимологически близки к препозитивным односоставным частям сложносочиненных предложений (б). Отношение же последних как субъекта к остальной части предложения как к предикату не вызывает сомнений.

Номенклатура известных членов предложения оказалась недостаточной, чтобы отразить все семантические разновидности субъекта. Ср., например, семантически близкие субъекты: 1) *Roy said nothing further about the net* и 2) *Of justice, the time-honored symbol is the woman*. В (1) субъект — дополнение, а в (2) он сближается с определением (ср.: *symbol of justice*). Ср. также субъект — 1) лицо, чье мнение передано предикатом, 2) источник информации, 3) средство упорядочения изложения: 1) *To me, you are transparently innocent; Sounds like the wife to me*; 2) *According to Mr. King, monopoly has led to better management*; 3) например, субъекты — *to digress, to continue, to proceed, to return, consequently, next, first, second* и под. Ср.: *Lastly, there were casualties among the Negroes; I know what conscience is, to begin with*. В качестве субъектов употребляются не только безглагольные модусы типа *perhaps, however*⁶, но и глагольные типа *may/must/might/used to + be, seems* и под. Ср.: *Turns out he's a med student now*.

Предикативное членение не ограничивается рамками предложения. Поток речи членится на авто- и синсемантические⁷ сегменты. В пределах

⁵ См.: Г. А. Вейхман, Структурные модели разговорного английского языка, М., 1969, стр. 15.

⁶ Ср.: М. А. К. Halliday, Notes on transitivity and theme in English, «Journal of linguistics», 3, 2, 1967, стр. 220—221.

⁷ Синтаксической автосемантией мы считаем отсутствие, а синсемантией — наличие у сегмента обязательных внешних синтаксических (в том числе лексико-синтаксических и интонационных) связей. См.: Г. А. Вейхман, Вышние синтаксические единицы (на материале современного английского языка), ФН, 1972, 3, стр. 65; е г о

автосемантического сегмента или сочетания сегментов (предложение или синтаксическое единство) «напряжение»⁸ возникает и ликвидируется. Это — предикаты. Синсемантические сегменты, в которых напряжение только возникает, но не ликвидируется, являются субъектами (например, вопрос, непостпозитивная придаточная часть, именительный или косвенный темы). Синсемантические сегменты, в которых напряжение, возникшее за пределами данного сегмента, только ликвидируется, являются предикатами (например, ответ, постпозитивная главная часть). Ср. субъект плюск предикат: «*Steady?*» «*Teatotaller*». Это позволило нам выявить некоторые дополнительные сигналы субъекта и предиката.

1. К субъектно-предикатному типу относятся сочетания: а) «тема — сообщение» и б) «заглавие — текст». Ср.: а) *International Fruit, Guatemala. I'm getting production equal to any plantations in the States...*; б) *Malta* (заголовок — субъект, текст статьи — предикат).

2. Наличие элементов, нуждающихся для ликвидации напряжения в конкретизации (наиболее заметное в модусах типа *I know*, местоименных вопросах и произошедших от них придаточных), делает содержащие их сегменты синсемантическими и, следовательно, субъектами. Например, 1) *as, so, such*, 2) числительные, 3) иносказания с *the/that*. Ср. сочетания подобных субъектов с предикатами: 1) *As an experiment, I have questioned husbands about the color of their wives' eyes; In the clean hospital bed my eyes were so heavy | Sleep easily blotted out one ugly picture*; 2) *One thing was clear: one must be very, very careful...*; 3) *the broiling wieners were flavored with that condiment no chef has ever equalled — the smoke of a pine fire crackling in the wilderness*. Конкретизация других заместителей факультативна. Поэтому содержащие их сегменты могут быть не только субъектами, но и предикатами.

3. Неспособность образовать фразу — признак синсемантии и субъекта. Ср.: 1) *certainly*, 2) *It is certain*, 3) *The certainty is*; 4) *probably*, 5) *It is probable*, 6) *The probability is*, где все сегменты синсемантически, но (1), (2), (4), (5) могут быть ограничены фразообразующими пограничными сигналами, а (3) и (6) нет. Соответственно, (1), (2), (4), (5) могут быть субъектами и предикатами, а (3) и (6) — только субъектами.

Если считать синсемантию отрицательным признаком предложения⁹, то синсемантические сегменты — не предложения. Но, не будучи предложением, синсемантический сегмент может быть неполным синтаксическим единством. Ср.: «*Prime fur?*» *Roy nodded*, где субъект — *prime fur*, а вместо предиката ответ дан паралингвистически.

Важным средством выявления субъекта и предиката является корреляция¹⁰. Утверждение о том, что повторы «типичны для ремы»¹¹, верно только отчасти. Исследованный нами материал показывает, что при полной корреляции повторы и их эквиваленты действительно являются предикатами. Ср.: *You're just cruel. Cruel*. При частичной корреляции и немаркированном предикативном членении связующие повторы и их эквиваленты (включая анафорические местоименные слова,

же, Проблема синтаксического членения потока речи и высшая синтаксическая единица, в кн.: «Теоретические вопросы английской филологии (грамматика, фонетика)», Горький, 1974, стр. 3—6.

⁸ Ср. термин «Spannung» у К. Бооста; К. В о о s t, *Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes*, Berlin, 1955, стр. 17.

⁹ См.: Г. А. Вейхман, К вопросу о синтаксических единствах, ВЯ, 1961, 2, стр. 98.

¹⁰ См.: Г. А. Вейхман, Синтаксические единства в современном английском языке. АБД, М., 1963, стр. 18.

¹¹ Ср.: О. Б. Си р о т и н и н а, Об актуальном членении в разговорной речи, ПФСР, стр. 172.

определенные артикли и вводимые ими существительные) несут полезную избыточную информацию, как правило, безударны и являются субъектами. Ср.: *He works there a few days a week — kitchen work*, где во втором сегменте *work* — связующая метонимическая замена и субъект, а *kitchen* — предикат. Ср. также: *Why? ... Why me? ... Why not me, I should say!* Предикат *Why?* превращается в связующий повтор и, следовательно, и субъект в *Why me?* (где предикат — *me*), а *Why me* в свою очередь становится связующим повтором и субъектом по отношению к предикату *not*.

При маркированном предикативном членении (например, при передаче контраста) связующие корреляты попадают под логическое ударение, что превращает их из субъекта в предикат. Ср.: *I think you could do something with her*.

II. Линейное бинарное членение на субъект и предикат не исчерпывает всех случаев распределения коммуникативного динамизма внутри высшей синтаксической единицы. Стремление отразить это привело к введению 1) линейного тернарного, 2) двукратного и 3) иерархического бинарного членения.

1. Линейное тернарное членение (на тему — переход — рему; на основу — переход — ядро и др.) противоречит бинарности суждения и недостаточно обосновано: даже его сторонники иногда проявляют колебания и относят переходный элемент к предикату¹².

2. Помимо значений «субъект» и «предикат», термины «тема» (*Thema, theme*) и «рема» (*Rhema, rheme*) иногда употребляются соответственно в значениях «первый член предложения (независимо от его морфологического характера)» и «остаток после вычета темы»¹³. М. Хэллидей попытался связать такое понимание темы и ремы с положениями исследователей актуального членения и предложил двукратное членение — на тему и рему в указанных значениях, а также на «данное» (*given*) и «новое», «информативный фокус» (*new, information focus*), соответствующие субъекту и предикату¹⁴. Введение двукратного членения представляется нецелесообразным.

Так, в местоименном вопросе предикатом обычно считают вопросительный элемент¹⁵. Будучи исходным пунктом высказывания, по Боосту, он — «тема»¹⁶. Но, может быть, он является «темой» и в смысле предикативного членения, т. е. субъектом? Действительно, он часто не несет логического ударения. Но это еще не доказывает, что он не предикат, так как смысловой и интонационный центры в местоименном вопросе могут не совпадать¹⁷. То, что вопросительный элемент в вопросах типа *How was it possible?* является предикатом, подтверждается не только тем, что вопросительный элемент заменяет предикат ответа, но и собранными нами многочисленными примерами вопросов типа *He would come — how?*, где логическое ударение, постпозиция и обособление вопросительного элемента показывают, что это несомненный предикат.

¹² Ср.: Ш. Балли, *Общая лингвистика и вопросы французского языка*, М., 1955, стр. 114; В. Матезиус, *О так называемом актуальном членении предложения*, в кн.: «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 243.

¹³ Ср.: К. Вост, *указ. соч.*, стр. 26—31.

¹⁴ М. А. К. Халлидей, *The place of «functional sentence perspective» in the system of linguistic description*, PFSP, стр. 53.

¹⁵ См.: Я. Фирбас, *Функция вопроса в процессе коммуникации*, ВЯ, 1972, 2, стр. 56.

¹⁶ Ср.: К. Вост, *указ. соч.*, стр. 33, 65; М. А. К. Халлидей, *Notes on transitivity...*, стр. 212.

¹⁷ Ср.: В. Е. Шеякова, *Актуальное членение вопросительного предложения*, ВЯ, 1974, 5, стр. 110; см. также: J. F i r b a s, *Some aspects of the Czechoslovak approach to problems of functional sentence perspective*, PFSP, стр. 31.

Вместе с тем необходимо учитывать, что вопросительный элемент может быть субъектом, во-первых, при маркированном предикативном членении (когда предикатом становится какой-либо другой член), а во-вторых, при клишировании. Ср. возникшие из вопросов вводные обороты типа *what's more/worse* с логическим ударением на последнем элементе, риторические вопросы типа *Why should he? How + can/could/would + she?* с логическим ударением на модальном глаголе. То, что последний является предикатом, подтверждается конституацией. Ср.: «*She must understand thoroughly what she's doing*». «*How ↘ can she?*», где важно подвергнуть сомнению способность персонажа к пониманию, а не выяснить способ, которым это понимание будет осуществляться. Проведенное нами исследование показывает, что вопросительные элементы-субъекты более характерны для вопросов риторических (а), чем нериторических (б). Ср.: а) «*I had to take money from you*». «*Why ↘ not?*», где *Why* — субъект, *not* — предикат, а *Why not* — вопрос риторический, используемый не для выяснения причины, а для выражения согласия; б) «*Now don't get any ideas*». «*↘ Why not?*», где *Why* — предикат, а связующий повтор *not* — субъект.

Из предикатно-субъектных переосмыслились в субъектно-предикатные: 1) часть вопросов с а) *what/how about, what of*, где *what* и *how* стали средством введения темы и побуждения к высказыванию на эту тему, б) *what/how about*, превратившиеся в побуждения; 2) бывшие вопросы и переспросы с *what with*, которые специализировались как средство введения причины пост-, пре- или экстерпозитивного высказывания. Ср.: 1а) «*How about your territory?*» «*Getting thin?*»; 1б) «*What about a spot of tea?*» «*O. K. Just going*». Ср. также разг.: «*How's for coming to tea tomorrow?*» (Ср.: «*Как насчет...?*»); 2) *and what with the memory and the pretty beach and the slow, majestic, happy afternoon, it was hard to be as sober and as thoughtful as Behr was asking him to be*.

Таким образом, вопросительный элемент может при известных условиях быть субъектом. Но выделение в качестве «темы» л ю б о г о начального члена, даже если он явный предикат (ср.: *who saw the play?*)¹⁸, по-видимому, к предикативному членению не имеет отношения.

К каким отрицательным последствиям может привести такое употребление термина «тема», показывает работа Н. Хомского. Взяв термины Ч. Хоккета «topic» (тема, логико-грамматический субъект) и «comment» (комментирование, логико-грамматический предикат), Н. Хомский переделал их соответственно в «topic-of the sentence» (тема предложения) и «comment-of the sentence» (комментирование предложения)¹⁹. Используя значения «темы» и «ремы», предложенные К. Боостом (с небольшой поправкой, которая, как увидим ниже, только повредила делу), Н. Хомский обозначил термином «topic-of the sentence» «самый левый с у б с т а н т и в н ы й ч л е н» (разрядка наша. — Г. В.), а термином «comment-of the sentence» — остальную часть предложения. Хотя он и делает оговорку, что отношения «topic — comment» принадлежат к поверхностной, а отношения «подлежащее — сказуемое» — к глубинной структуре, это не меняет сути дела: ясно, что применительно к большинству английских предложений новшество Н. Хомского свелось к придумыванию лишних терминов для (составов) подлежащего и сказуемого, для логических субъекта и предиката. Не ограничившись этим, он распространил термин «topic-of the sentence» на логико-грамматические предикаты типа *John* в *it was John who I saw*²⁰. Таким образом, один и тот же термин используется

¹⁸ Ср.: М. А. К. H a l l i d a y, Notes on transitivity..., стр. 212.

¹⁹ Ср.: N. C h o m s k y, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 221.

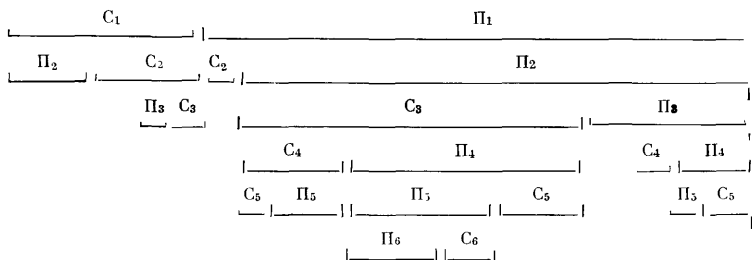
²⁰ Ср.: там же.

Н. Хомским для передачи трех совершенно разных понятий: (состава) подлежащего, логического субъекта и логико-грамматического предиката. А если учесть четвертое, общепринятое, значение термина «topic» — логико-грамматический субъект, то станет совершенно очевидным, что вклад Н. Хомского в теорию предикативного членения состоит во внесении путаницы в терминологию и в смешении конструктивно-синтаксического, логико-грамматического и логического уровней.

3. При распространении предложения, наличии детерминантов, атрибутивных словосочетаний, абсолютных номинативных оборотов, частей сложных предложений и сегментов синтаксических единств разница в степени коммуникативного динамизма разных элементов увеличивается. Субъект и предикат при этом обнаруживают внутреннее предикативное членение (вторичное, третичное и последующих порядков). Для его отражения приходится вместо линейного предикативного членения прибегать к построению иерархии нескольких уровней.

Преимущество бинарного иерархического членения в том, что оно согласуется с двучленностью суждения и в нем потенциально заложена возможность анализа по непосредственно составляющим, при котором, как известно, членение осуществляется на так называемом бинарном принципе. Поскольку речь идет о членении предикативном, разбиение происходит так, что одна непосредственно составляющая всегда является субъектом, а другая — предикатом. Ср. таблицу:

Mingled (with) all this, was the children's perfectly distinct recollection (of) their real home.



Высшая степень коммуникативного динамизма оказывается у такого предиката на низшем уровне, которому соответствуют предикаты на всех высших уровнях (здесь P₅ *real*). Это, по-видимому, и есть коммуникативный (информативный) центр (*information focus*)²¹. Низшая степень коммуникативного динамизма — у такого субъекта на низшем уровне, которому соответствуют субъекты на всех высших уровнях (здесь C₃ *this*). Классификационным признаком высших синтаксических единиц мы считаем их предикативное членение на высшем уровне. Поэтому данный пример относим к субъектно-предикатному типу.

Бинарное иерархическое предикативное членение, таким образом, охватывает не только предложения, но и словосочетания. Наглядным примером предикативного членения на уровне словосочетания являются притяжательные атрибутивные сочетания. В английском языке за последние десятилетия все чаще употребляется притяжательный падеж неудо-

²¹ Существование информативного центра постулировали М. Хэллiday и О. А. Лантева. Но сущность его как члена, которому соответствуют предикаты на всех уровнях, вскрыта не была. Ср.: М. А. К. Н а l i d а у, *Notes on transitivity...*, стр. 202—203; О. А. Л а н т е в а, указ. соч., стр. 41.

шевленных существительных²². Вот некоторые из собранных нами примеров: *the show's end, the wind's easing, his smile's bitterness, explanation's impossibility, the constitution's ratification, the lantern's light*. Такие словосочетания с субъектно-предикатным предикативным членением обычно используются там, где коммуникативно важнее определяемое. Это и достигается его постпозицией. Там, где коммуникативно несомнее определение, его постпозиция обеспечивается употреблением сочетания с предлогом *of*. Ср.: *The daughter of former Premier Harold Macmillan*.

Конечными составляющими предикативного членения являются морфемы. Ср.: *You are selling bonds, aren't you?*, где *selling* членится на предикат *sell-* и субъект *-ing*, так как факт протекания какого-то действия известен, и поэтому суффикс *-ing* — данное, субъект, а конкретизация названия действия (*sell-*) — новое, предикат.

Наряду с предикативными отношениями между субъектом и предикатом одного уровня возможны межуровневые предикативные отношения, например, между субъектом низшего и предикатом высшего уровней. Так, в «*Do you like it?*» «*Looks good on you*», помимо отношения между вопросом и ответом как первичными субъектом и предикатом, есть предикативное отношение между *it* как вторичным субъектом и ответом как его предикатом.

Часто анализируемая высшая синтаксическая единица не поддается бинарному членению на субъект и предикат, так как содержит один или больше бифункциональных членов. Ср.: 1) сочетание субъекта и предиката *According to Mr. King, monopoly has led to better management* и 2) *Mini-skirts are against the law — of Birmingham courts — according to Mr. Frank Howarth*. В (2) *Mini skirts... courts* высказывается как предикат, но с присоединением нового предиката *according... Howarth* превращается в его субъект.

Бифункциональность таких членов заметнее, когда есть субъект, по отношению к которому они выступают как предикат, в частности, при употреблении после *as + for/to/regards/per/of, as far as regards*; в интерпозиции: *as/so/inso + far + as + бифункциональный член + is concerned/ /goes* (ср. что касается, относительно и под.). Например: *As to that, more later*, где субъект — *as*, бифункциональный член — *to that*, а предикат — *more later*.

При наличии бифункциональных членов в пре- и интерпозиции возникают цепочки типа *Triple capacity. They had to, stepping up the shifts the way they did*, где *Triple capacity* — предикат по отношению к ситуативному предмету высказывания, превращающийся в субъект нового предиката *They had to*. Последний в свою очередь становится субъектом для нового предиката *stepping... did*. Такие цепочки отличаются от «продвижения темы» (thematic progression) Ф. Данеша²³ тем, что начинаются не с темы (субъекта), а с бифункционального члена, совмещающего функции предиката и субъекта.

Предикативное членение, применяемое, когда в высказывании есть члены, совмещающие функции субъекта и предиката, мы условно обозначим как **п о л и ф у н к ц и о н а л ь н о е п р е д и к а т и в н о е ч л е н е н и е**.

²² См.: С. В а р б е р, *Linguistic change in present-day English*, Edinburgh — London, 1966, стр. 132—133.

²³ Ср.: Ф. Д а н е ш, One instance of Prague school methodology: functional analysis of utterance and text, в кн.: «Method and theory in linguistics», The Hague — Paris, 1970, стр. 137—138.

Таким образом, помимо средств сигнализации субъекта и предиката предложения, описанных в литературе, субъект может быть обнаружен по некоторым специфическим для него функциям. То, что среди сегментов синтаксических единств есть авто- и синсемантические, позволяет находить элементы предикативного членения по дополнительным признакам. Важным средством выявления субъекта и предиката является корреляция.

Наличие у элементов высказывания разной степени коммуникативного динамизма влечет за собой отказ от использования во всех случаях линейного бинарного членения и дополнение его членением линейным тернарным, двукратным и иерархическим бинарным. Тернарное и двукратное членения недостаточно обоснованы, а последнее, кроме того, ведет к смешению уровней членения и к путанице в терминологии. При иерархическом бинарном членении высшая степень коммуникативного динамизма оказывается у такого предиката на низшем уровне, которому соответствуют предикаты на всех высших уровнях (информативный центр), а низшая степень коммуникативного динамизма — у такого субъекта на низшем уровне, которому соответствуют субъекты на всех высших уровнях. Иерархическое бинарное членение происходит на уровнях: синтаксических единств, предложений, словосочетаний и слов. Предикативные отношения возникают между субъектами и предикатами одного и разных уровней. Иерархическое бинарное членение дополняется полифункциональным предикативным членением, используемым в тех случаях, когда в высказывании есть члены, совмещающие функции субъекта и предиката.

ДЕШЕРИЕВА Т. И.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ФОРМАЛИЗАЦИИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ*

В определенный период истории языкознания разделение грамматики на морфологию и синтаксис способствовало решению ряда лингвистических проблем, в частности таких, как создание письменности у ранее бесписьменных народов, составление школьных грамматик и т. п. Вместе с тем это разделение создало большие трудности при определении абстрактных грамматических категорий, при создании концептуального аппарата лингвистики, написании научных грамматик отдельных языков и языковых групп. На наш взгляд, для решения этих задач необходим отказ от упомянутого условного деления грамматики на морфологию и синтаксис, причем грамматику следует понимать как единое целое, находящееся в диалектическом единстве с мышлением, (точнее — логикой мышления).

В соответствии с таким пониманием грамматики, грамматической категорией мы называем абстрактное понятие, значение которого последовательно выражается в основном системой грамматических форм, структура которых в той или иной мере зависит от структурной типологии рассматриваемого языка и может включать элементы различных языковых уровней. В порядке исключения допустимы и лексические формы выражения тех или иных значений грамматической категории, какими являются супплетивные формы¹. Далее зависимость структуры грамматических форм от типологии языка будет показана на конкретных примерах.

В настоящее время унификация понятийного аппарата лингвистики приобретает исключительно большое теоретическое и практическое значение. В связи с этим особенно остро ощущается отсутствие в языкознании достаточного числа полных, общепринятых определений таких основных понятий, как фонема, морфема, слово, предложение; категории падежа, времени, вида, залога, наклонения (шире — словоизменение, темпоральность, аспектуальность, залоговость, модальность) и др.

* Статья написана на основе доклада, сделанного автором на объединенном заседании Научного совета по теории советского языкознания и Проблемной комиссии по семантике и семиотике при Институте языкознания АН СССР 25 мая 1976 г.

¹ См. определение категорий падежа, времени, вида в следующих работах: Т. И. Дешериева, Структура семантических полей чеченских и русских падежей, М., 1974; е е ж е, Лингвистический аспект категории времени в его отношении к физическому и философскому аспектам, ВЯ, 1975, 2; е е ж е, К проблеме определения категории глагольного вида, ВЯ, 1976, 1. В связи с этим вопросом см. также: S. L a m b, Outline of stratificational grammar, Washington, 1966; W. C h a f e, Meaning and the structure of language, Chicago, 1970; В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971; С. Д. К а ц е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972; В. Н. Я р ц е в а, Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика языков, в кн.: «Типология грамматических категорий», М., 1975; е е ж е, Грамматические основы описания языков, в кн.: «Принципы описания языков мира», М., 1976.

Пример неоднократных попыток определения категории глагольного вида, имеющих (в славяноведении) уже столетнюю историю, дает основание говорить о том, что получение необходимого лингвистике универсального концептуального аппарата — это, в сущности, решение ряда весьма существенных проблем, прежде всего грамматической семантики. Такое решение может быть осуществлено в результате выполнения серии специальных исследований, посвященных упомянутым выше грамматическим категориям, на материале разносистемных языков, с учетом того, что семантический объем одной и той же грамматической категории может быть неодинаков даже в родственных языках.

Как известно, вопрос о целесообразности унификации понятийного аппарата лингвистики ставился давно (со времен универсальной грамматики Пор-Рояля), однако его практическое решение вряд ли и сейчас можно назвать делом близкого будущего. В связи с этим отметим, что попытка предложить один из возможных подходов к необходимому решению сделана недавно В. М. Солицевым — автор (на наш взгляд, удачно) дает определения (универсальные) ф о н е м ы и м о р ф е м ы ². Однако, если при получении универсальных определений грамматических категорий идти по пути включения в их структуры минимального числа основных характеристик (как это предлагает В. М. Солицев), они неизбежно превратятся в универсалии, объяснительная способность которых (в частности, при описании языков мира) будет слишком мала ³. С другой стороны, введение в универсальные определения максимального числа структурных особенностей определяемых категорий практически невозможно ввиду большой вариативности числа характеристик одной и той же грамматической категории в разносистемных (особенно неродственных) языках и, таким образом, практически беспредельным расширением ее семантики. Поэтому нам представляется наиболее целесообразным путь (разумеется, нелегкий) отыскания и принятия средней величины допустимого набора основных характеристик определяемой категории, который может варьироваться, то несколько уменьшаясь, то увеличиваясь, то сохраняясь при переходе от одного конкретного языка к другому. Например, установленный нами при определении категории глагольного вида набор «характеров действия» и «способов действия», входящих в структуру семантического поля этой категории, реализуясь полностью (с очень незначительной вариацией) в восточнославянских языках, в языках нахской группы иберийско-кавказских языков имеет лишь частичную реализацию, что объясняется спецификой типологии последних, особенностями их видо-временной системы ⁴.

Процессы становления грамматических категорий в естественных языках и связанная с этим формализация — это естественно протекающие семиологические процессы обобщения, являющиеся предпосылкой решения проблемы искусственной формализации языка в объеме, зависящем от целей и задач формализации ⁵. При этом необходимо иметь в виду, что

² В. М. Солицев, О соизмеримости языков, сб. «Принципы описания языков мира», М., 1976.

³ В связи с этим см.: Б. А. Серебряников, Сводимость языков мира, учет специфики конкретного языка, предназначенность описания, сб. «Принципы описания языков мира»; Г. В. Колшанский, Использование языковых универсалий при описании языков мира, там же; Ch. Fillmore, A case for case, «Universals in linguistic theory», ed. by E. Bach and R. Harms, New York, 1968.

⁴ См.: Т. И. Дешериева, К проблеме определения категории глагольного вида; е е ж е, К проблеме соотношения глагольных категорий вида и времени, ВЯ, 1976, 4.

⁵ См.: Ю. С. Степанов, Д. И. Эдельман, Семиологический принцип описания языка, в кн.: «Принципы описания языков мира».

следствием из известной теоремы Гёделя о неполноте является суждение о принципиальной невозможности полной формализации языка. Правоммерно говорить о полной формализации лишь того или иного фрагмента языка (-подъязыка), для которого язык в целом является метатеорией⁶.

Проблема соотношения формы и содержания в языке, как известно, всегда служила предметом дискуссий о выборе путей и методов грамматического анализа. Нам представляется целесообразным определение семантики категорий языка, в частности грамматических и лексико-грамматических категорий, с помощью функционально-логического метода, предложенного и использованного нами при определении падежа, лингвистического времени, глагольного вида в упомянутых выше публикациях. Этот метод в значительной мере обусловлен необходимостью учета особенностей естественной категоризации и формализации в различных языках. Укажем здесь лишь на такие из этих особенностей:

1. Нередко формализация одной и той же грамматической категории осуществляется по-разному в разносистемных языках, особенно неродственных. К примеру, категория глагольного вида в восточнославянских языках маркируется преимущественно с помощью суффиксации и префиксации (ср. русск. *скрыть* — *скрывать*, *делать* — *сделать*), в большинстве кавказских языков — преимущественно с помощью аблаутного чередования в глагольных основах (ср. чеч. *tamta* — *tetta* «толкнуть — толкать», *samta* — *setta* «согнуться — гнуться»), в тюркских языках эта категория имеет в основном аналитическую форму⁷. Примером к сказанному является также категория уменьшительности, образующая в языке суахили грамматическую категорию (класс уменьшительных существительных), в русском языке — словообразовательную категорию (с аффиксами *-ик*, *-чик*, *-ёнок* и т. п.), в английском — лексическую категорию (свободные сочетания существительных с прилагательным *little*)⁸. Число таких примеров может быть значительно увеличено⁹.

2. В одном и том же языке формализация грамматической категории нередко осуществляется с помощью средств различных языковых уровней. Например, в сферу средств выражения грамматических категорий падежа, залога, вида нередко входят такие синтаксические компоненты, как порядок слов, характер конструкции предложения и т. д. Порядок слов как релевантный признак падежной формы нами был использован при изучении падежных систем в разноструктурных языках в упомянутой монографии «Структура семантических полей чеченских и русских падежей» (М., 1974). Определение падежа как морфолого-синтаксической категории (не только в плане содержания, но и в плане выражения), удовлетворяющей условиям предложенного здесь критерия K^* , позволяет однозначно решать ряд дискуссионных вопросов словоизменения, в частности — четко отделять основные падежи от их производных форм и вариантов.

Во многих иберийско-кавказских языках падеж прямого объекта отличается от именительного по функциональной нагрузке и фиксированной препозиции к переходному глаголу-сказуемому, что позволяет рассматри-

⁶ См.: Т. И. Дешерпева, О роли математических методов в языкознании, в кн.: «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970; е е же, Языкознание и математика, Алма-Ата, 1973.

⁷ См.: Н. А. Баскаков, Выражение глагольных категорий вида и залога в морфологической структуре слова в тюркских языках, в кн.: «Типология грамматических категорий», М., 1975.

⁸ Ю. С. Степанов, Семиотика, М., 1971, стр. 62.

⁹ В связи с этим см., например: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970; О. И. Москальская, Проблемы системного описания синтаксиса, М., 1974; Л. С. Бархударов, Проблема предложения в трактовке различных грамматических направлений, ВЯ, 1976, 3; и др.

вать его как самостоятельный падеж, в частности в нахских — как винительный. В этих языках только порядок слов определяет залог (действительный или страдательный) формы причастия абсолютного прошедшего совершенного. Ср. чеч. *кГанта дешна кехат* «письмо, прочитанное мальчиком» при *кехат дешна кГант* «мальчик, прочитавший письмо». В английском и некоторых романских языках категория переходности — непереходности глагола выражается синтаксически маркированной постпозицией дополнения. В изолирующих языках (типа китайского) порядок слов, как известно, играет еще более существенную роль.

3. Формализация в естественном языке осуществляется с помощью конечного числа языковых знаков, способных объединяться в различные конфигурации, подчиняясь обычно некоторым закономерностям и правилам, характерным для данного языка или группы языков. Например, в агглютинативном грузинском и флективном осетинском (в последнем — под влиянием иберийско-кавказских) падеж и число представлены двумя самостоятельными аффиксами; вообще же во флективных языках значения числа и падежа совмещены в одном аффиксе.

Полиперсонализм глагола характерен для многих иберийско-кавказских, финно-угорских и других агглютинативных языков. Но в бацбийском и некоторых дагестанских, являющихся иберийско-кавказскими, это явление не наблюдается или наблюдается непоследовательно.

Категория грамматического класса, свойственная подавляющему большинству нахско-дагестанских языков, отсутствует в ряде других агглютинативных языков, в том числе — в ряде дагестанских (лезгинском, агульском, удинском).

4. Функциональная нагрузка одних и тех же знаков и их одноименных конфигураций различна в различных языках. Ср. роль префиксов как элементов для выражения деривационных отношений в камбоджийском языке и в языках банту, где они имеют широчайшее применение в качестве символов синтаксических отношений¹⁰.

Приведенный, далеко не полный, перечень особенностей естественной формализации позволяет сделать вывод о нецелесообразности давать общее (универсальное) определение грамматической категории с учетом ее средств выражения только на уровне морфологии или только на уровне синтаксиса. В основе определения грамматической категории должно лежать понятие, структура семантического поля которого может быть описана формулой математической (или математической и модальной) логики, показывающей специфику соединения ее общих и частных значений-предикатов. Общие значения стоят над типологическими различиями языков; частные — определяют специфику конкретного языка или группы языков. Особое внимание должно быть обращено на семантическое ядро категории.

Средства выражения определяемой категории, обычно специфические для каждого языка, лишь дополняют перечень второстепенных (частных) особенностей ее структуры; они могут принадлежать различным уровням плана выражения языка. Из этого следует, что форма понимается нами в широком смысле, т. е. в понятие формы включаются различные средства выражения грамматического значения: флексии, форманты, аблаутное чередование, аналитические конструкции, порядок слов, предлоги, послелоги и т. п., другими словами, так, как ее понимали Л. В. Щерба, А. М. Пешковский, И. И. Мещанинов и др.

¹⁰ Э. С е п и р, Язык. Введение в изучение речи, М.—Л., 1934, стр. 99.

БРАГИНА А. А.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Термин «нейтрализация» получил широкое распространение в разных областях науки о языке. Однако нейтрализация в фонологии и нейтрализация в синтаксисе или лексике имеют свою специфику, столь заметную и существенную, что справедливо говорить о многозначности самого термина «нейтрализация» вопреки общепринятому правилу об однозначности терминологических наименований. Если же термин «нейтрализация» понимать однозначно, то возникает опасность механического переноса фонологических идей на другие уровни языка. Такой перенос вызывает справедливые протесты у многих ученых¹. Но возможно ли все же говорить о нейтрализации на разных языковых уровнях? В этом смысле представляет особый интерес замечание Н. С. Трубецкого в его классическом исследовании «Основы фонологии»: «Нейтрализация фонологических оппозиций является самой важной, но отнюдь не единственно важной проблемой учения о сочетании фонем. Ведь нейтрализуются лишь одни одномерные оппозиции, а они, как известно, в любой системе во всех случаях количественно уступают многомерным оппозициям»².

Обратим особое внимание на утверждение — «ведь нейтрализуются лишь одни одномерные оппозиции», а они-то являются отнюдь не преобладающими. В процессе определения одномерности или многомерности оппозиции важно другое наблюдение Н. С. Трубецкого: «Само собой разумеется, что... следует учитывать только фонологически существенные признаки. Однако дополнительно могут быть приняты во внимание и отдельные фонологически несущественные признаки, если благодаря им члены данной оппозиции противопоставлены другим фонемам той же системы»³. Наблюдения Н. С. Трубецкого над фонологической нейтрализацией в известной мере можно распространить и на лексику. Хотя аналогия возможна, но при этом, опираясь на сходство разных языковых категорий, мы обнаруживаем и их различие.

Исчислимая, синхронно замкнутая фонологическая система имеет исчислимое количество оппозиций, в то время, как, например, лексический синонимический ряд даже синхронно не замкнут⁴. Сопоставление слов по существенным и несущественным признакам обнаруживает их многомерность, неисчислимость оппозиций, незамкнутость синонимических рядов, в которые соединяются слова, синонимичные в своих значениях, и слова, синонимичные только в некоторых своих употреблении. В этом послед-

¹ О невозможности механического переноса фонологических идей в область морфологии и синтаксиса см., в частности: E. Koschmiede, Beiträge zur allgemeinen Syntax, Heidelberg, 1965, стр. 199—208. См. также историю вопроса о «нейтрализации за пределами фонологии»: Д. П. Шмелев, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973, стр. 421 и сл.

² Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 272.

³ Там же, стр. 76.

⁴ См. об этом: А. А. Брагина, Незамкнутость синонимических рядов, ФН, 1974, 1, в частности стр. 50—51.

нем случае происходит синонимизация и по несущественным признакам. Сравним три синонимических ряда: голубой — светло-синий — синий — васильковый — лазурный — небесный (цвет); голубой — ясный — счастливы — романтический — незлобивый (характер); синий — голубой — васильковый — нежный — милый — родной — несказанный (край). Два первых ряда зафиксированы словарями⁵. Третий окказионален и принадлежит С. Есенину⁶. Прежде чем перейти к анализу этих рядов, отметим своеобразное пересечение, казалось бы, непересекающихся — цветовой и нецветовой — параллелей:

голубой	{	— светло-синий — синий — васильковый — лазурный...
		— ясный — счастливый — романтический...
		— синий — васильковый — нежный — милый...

Такое пересечение синонимических рядов (в одном, назовем его узловым, слове) можно сравнить с аналогичным пересечением фонемных рядов — положение, развиваемое Р. И. Аванесовым⁷. Наблюдая чередование фонем, Р. И. Аванесов замечает: «Понятие „нетождества“ морфем охватывает большое количество различий, где на одном полюсе оказываются разные морфемы (например, *дом* и *сад*), на другом — варианты одной и той же морфемы (ср., например, корневую морфему в словоформах *пеку* и *печешь*). При этом под вариантами одной и той же морфемы имеются в виду варианты в той или иной мере существенные для грамматики и лексикологии и не обусловленные позицией... Разграничения всех этих различий не существенны для фонетики и относятся к сфере грамматики и лексикологии. Для фонетики же существенно лишь установление понятия тождества фонемы и его ограничение от понятия „нетождества“, включающее в себя все многообразие видов „нетождества“» (разрядка наша. — А. Б.)⁸.

Если «вынести» из значения слова, как несущественные, его стилевые признаки, то слова, подобные *спать* — *почивать* — *дряхнуть* — *кимарить* или *голова* — *башка* превращаются в ряд абсолютных синонимов на том основании, что каждый из этих рядов означает одно и то же. Однако при таком толковании было бы трудно объяснить несовместимость такого рода стилистических и стилевых синонимов в речи⁹.

Как известно, одни и те же предметы (явления) могут обозначаться различно. Разные наименования либо связывает общее понятие (и тогда образуется ряд синонимических наименований), либо их же разделяет соотнесенность с разными понятиями (и тогда синонимические связи обычно не

⁵ См., например: «Словарь современного русского литературного языка», 2, М.—Л., 1951, стлб. 58; 3, М.—Л., 1954, стлб. 240.

⁶ См. об этом: С. Фрейлих, «Несказанное, синее, нежное...», «Новый мир», 1970, 9, стр. 256—258.

⁷ См.: Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, стр. 34—35.

⁸ Там же, стр. 34—35. Здесь же Р. И. Аванесов ссылается на «интересные замечания в статье А. А. Реформатского о разных видах «нетождества». См.: А. А. Реформатский, О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 107 и сл. Ср. «презумпции тождественности» в кн.: М. В. Панинов, Русская фонетика, М., 1967, в частности стр. 11—13. О том, как следует понимать категорию значения в фонетике, см.: А. П. Журавлев, Фонетическое значение, Л., 1974, в частности «Заключение. Мотивированность и произвольность языкового знака», стр. 144—148. Ср. также: Д. Н. Шмелев, указ. соч., стр. 120 и сл., где дана и библиография.

⁹ Ср.: Д. Н. Шмелев, указ. соч., стр. 120. Ср. также критический обзор литературы и наблюдения над конкретным материалом «слово — мысль» — «слово — окружающая действительность, внешний мир» в кн.: Н. К. Гей, Художественность литературы. Поэтика. Стиль, М., 1975, в частности стр. 100—115.

возникают). Широко известно противопоставление слов *чело* — *лоб*: первое соотносится с понятием *вместилще мысли*, а второе с анатомическим понятием. Слова эти тем самым лишаются синонимических связей. Но вот перед нами пушкинские строки:

Вокруг лплейного чела
Ты дважды косу обвила...

Ясно, что слово *чело* здесь означает «лоб». Анатомическое понятие соединяет в синонимическом ряду *чело* и *лоб*, а значение *чела* связанное с понятием *вместилще мысли*, либо нейтрализовано, либо входит в семантический объем самих этих синонимов. Ср. фразеологизм: *семи пядей во лбу* «очень умный».

Обратим особое внимание на то, что и когда нейтрализуется в значении слова. Явление нейтрализации считается основой синонимии¹⁰, в самом процессе нейтрализации в лексике подчеркивается 1) позиционность и 2) равнозначность нейтрализующихся семантических единиц-слов. Но всегда ли нейтрализация на уровне лексики означает равнозначность? Возьмем два примера — две фразы: *Кругом царило молчанье* и *Кругом царила тишина*¹¹. Взаимозаменяемость слов *молчанье* — *тишина* не поддежит сомнению, но дает ли такая взаимозаменяемость абсолютное совпадение значений в данном контексте или выбор того или другого слова связан с дифференциацией определенных оттенков значения?

Признак «отсутствие произносимых звуков» в значении слова *молчанье* остается существенным для данного слова в любой ситуации, но может быть намеренно или ненамеренно нейтрализован. Представим — *кругом царила тишина* — это, например, особая тишина в лесу, когда слышны голоса птиц, шелест листьев, но нет человеческих голосов, шума машин и т. п. *Кругом царило молчанье* — это может быть не только отсутствие произносимых человеком звуков, но и отсутствие всяких звуков вообще. Здесь *молчанье* синонимично *безмолвию* (в жаркий полдень или во мгновения перед грозой). Подобные различия могут совсем не улавливаться слушателем или читателем, нейтрализоваться не столько в синтаксически идентичных позициях (*Они сидели в безмолвии* — *Они сидели в молчании*)¹², сколько в определенных ситуациях: 1) при «круговом» толковании (одно слово объясняется «через» другое); 2) при требовании стилистического разнообразия (не повторять одно и то же слово на близком расстоянии); 3) в небрежной речи.

Стремясь же передать мысль или чувство наиболее точно, мы ищем слова, отличающиеся оттенками своих значений. Ср. синонимический ряд *немота* — *тишина* — *безмолвие*: «...не спугнуть чудную *немоту*, распустившуюся вокруг во всем многолюдном зале. Она не давила на уши, как давит подводная *тишина*... *немота* распирает грудь, и хочется бежать — куда-нибудь, лишь бы встретить живую душу... Чистый звук ложечки, нечаянно звякнувшей о фарфор, выделился из *немоты*... Звук крошечным эхом, как знак *безмолвия*, большего, чем сама *тишина*, слышный во все концы мира» (М. Харитонов, День в феврале).

Немота — это отсутствие звуков человеческой речи, невозможность *сказать*. Это значение подчеркнуто желанием бежать в поисках живой души, но *немота* — это и особая *тишина*, это и *безмолвие* (когда *немолвишь*, не *скажешь*), *безмолвие*, которое больше *тишины* по своему отсутствию звуков человеческого языка.

¹⁰ Д. Н. Шмелев, указ. соч., стр. 12. Ср.: Ю. С. Степанов, Основы общего языкознания, М., 1975, стр. 256—257 (постулат о тождествах-различиях).

¹¹ См.: Д. Н. Шмелев, указ. соч., стр. 128.

¹² Там же, стр. 129.

Самое главное в синонимии — это 1) поиски точного слова на основе дифференциации значений и 2) поиски новых выразительных возможностей слова не в «типизированных контекстах», а в новых сочетаниях, в новых контекстах. Нейтрализация может привести к равнозначности слов («круговое» толкование, небрежная речь), но нейтрализация одних признаков обычно приводит к дифференциации других. В первом случае происходит как бы растворение одного «лексического значения» в другом «лексическом значении» или во «фразовом единстве», в контексте; во втором — наблюдается столкновение «лексического значения» с «фразовым единством».

Вернемся к «голубым» синонимическим рядам. Но сначала сопоставим фонологические и лексические процессы нейтрализации-дифференциации. Общий элемент пересекающихся фонемных рядов — это одна фонема с единой физиолого-акустической характеристикой (ср. *m* в *том* [том], *сад* [сат] и *пат* [пат]). В пересекающихся синонимических рядах общее слово отличается многозначностью. Каждый из синонимических рядов «создает ту гамму непрерывных и постоянных смысловых переходов, ту иерархию значений, которая глубоко характерна для любого живого развитого языка»¹³.

В русском языке цвета голубой и синий связаны с разными понятиями. Эти два цвета, четко различаемые, имеют каждый свое словесное выражение. Однако цвета эти близки и в реальной жизни часто один цвет как бы сменяет другой — *небо и голубое и синее; море и голубое и синее; вода, отражающая небо, и голубая и синяя*. Поэтому возникает синонимизация *голубой* — *синий* и их соединение в одном понятии сине-голубого цвета, связанного со множеством цветовых оттенков неба и воды, и с нецветовыми ассоциациями, уже только исторически соотносимыми с цветовыми реалиями.

Проследим более пристально переплетение буквального — цветового и переносных значений в нескольких «синих» и «голубых» словосочетаниях из «Тихого Дона» М. Шолохова: «Мне весело и хорошо оттого, что день, *подсиненный* безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же *синий* покой и чистота. Мне радостно и больше я ничего не хочу»; «Жили, закрывшись от всего *синего* мира наружными и внутренними. на болтах, ставнями»; «У дверей весовой лежал с проломленной головой молодой тавричанин;... как видно, отходил по *голубой* веселой земле...»; «Уплывали перед закрытыми глазами Григория степные гребни, хутора, станицы... А за валами гребней, за серой дорогой — сказкой *голубая* приветливая страна и аксиньина в позднем мятежном цвету, любовь на придачу».

Как видим, переплетение синонимических рядов проявляет многозначность «узлового» слова. Цветовые прилагательные особенно наглядно демонстрируют свою многозначность в условиях синонимического окружения (*голубая радостная земля, голубая приветливая страна*), на фоне широкого контекста (*мне весело; день, подсиненный безоблачным небом, весел и хорошо; синий покой*). В позиции совпадения буквального (абсолютного) и переносного значений (*синий покой, синий мир*) нет нейтрализации одного из значений, а возникает двуплановость в толковании цветового прилагательного. Нередко там, где, казалось бы, бесспорно буквальное (абсолютное) цветовое значение определения, широкий контекст выдвигает и переносное значение — *день, подсиненный безоблачным небом...*¹⁴.

Скрещивающиеся синонимические ряды обуславливают не нейтрализацию, а дифференциацию значений в полисемантическом «узловом» (для

¹³ Р. А. Б у д а г о в, Человек и его язык, М., 1976, стр. 239.

¹⁴ См. наблюдения в этом плане: А. А. Б р а г и н а, Красный, серый, голубой, «Русский язык за рубежом», 1967, 2.

этих пересекающихся рядов) слове, дифференциацию оттенков значения внутри синонимического ряда. Семантика «узлового» слова в позиции скрещения рядов оказывается не нейтрализованной, а обогащенной и углубленной. Именно отсюда проистекает многообразие видов «нетождеств».

О разных ступенях тождества — нетождества морфем писал, предложив свою классификацию, А. А. Реформатский. Обобщенные три основных вида нейтрализации — в плане выражения, в плане содержания и в плане выражения и содержания — наметил Ю. С. Степанов. «Изучение этих явлений, — по мнению исследователя, — имеет большое значение для построения структурно-семантической грамматики, так как посредством его мы проникаем в глубинные отношения, существующие внутри какой-либо одной грамматической категории и между несколькими категориями»¹⁵. Присмотримся теперь к разнообразию видов семантических тождеств — нетождеств в лексике.

Если в фонеме преобладает план выражения, смысловозначительная функция, то в слове план выражения соединен с планом содержания, слово само имеет «смысл» (значение) и функция слова заключена в том, чтобы выражать это значение во всех его оттенках и нюансах. Функция коммуникации при этом переплетается с широко понимаемой функцией выразительности. Выделение того или иного значения в многозначном слове и нейтрализация других, дифференциация оттенков значения — все это зависит от цели высказывания, ситуации, социальных условий, культурно-исторической осведомленности участников речевого акта.

Почему происходят сближение и синонимизация двух слов, связанных с разными понятиями цвета — *синий* и *голубой*? Как уже было отмечено, общий контекст — *синее, голубое небо* и *синее, голубое море* — как бы уравнивает определения. Можно сказать, синтагматические связи в словосочетании приводят к семантическому «заражению»¹⁶. Но «уравнивание» (нейтрализация) слов связано одновременно с обогащением — взаимобменом переносными значениями. Такой взаимобмен возможен и благодаря парадигматическим связям с пересекающимися синонимическими рядами: *голубой — синий; голубой — чистый, ясный, радостный — синий*. Однако «заражение», как и нейтрализация, может быть контекстным, неустойчивым. Безразличное употребление *синий — голубой* в переносных значениях может создать двусмысленность.

Проследим перенесение переносных и буквальных (абсолютных — цветовых) значений в лирических строках из «Голубой стрекозы» и «Фаделии» М. Пришвина.

Ранен молодой солдат, почти мальчик. «Увидев *голубую* стрекозу, летящую у заводи, он еще раз улыбнулся, еще раз сказал „спасибо“ и снова закрыл глаза». Но образ *голубой* стрекозы не покидает его, и время от времени раненый спрашивает, летает ли еще она. «Я не буду описывать, — заключает автор, — как мы спасли этого раненого, — по-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю: им, докторам, помогли *песнь ручья* и мои решительные и взволнованные слова о том, что *голубая* стрекоза и в темно-

¹⁵ Ю. С. Степанов, Основы языкознания, М., 1966, стр. 127 и сл.; см. также: Т. В. Булыгина, О нейтрализации семантических оппозиций, сб. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969.

¹⁶ Это явление отметил М. Бреаль, создатель термина «заражение» (contagion): М. В г é а l, Les lois intellectuelles du langage. Fragment de sémantique, «Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France», 1883, стр. 132 и сл. Аналогичные наблюдения «о влиянии синтаксических сочетаний на значение тех слов, которые входят в их состав» см.: М. М. П о к р о в с к и й, Семасиологические исследования в области древних языков, «Избр. работы по языкознанию», М., 1959, стр. 132. Позднее: Д. Н. Ш м е л е в, Очерки по семасиологии русского языка, М., 1964, стр. 206 и сл.; И. С. У л у х а н о в, О языке Древней Руси, М., 1972, стр. 118—119.

те летала над заводью». Стрекоза могла быть любого цвета, но здесь она — голубая. В слове *голубой* вторым планом просвечивает его переносное значение «ясный, чистый, радостный, счастливый».

В поэме «Фацелия» М. Пришвин развивает цветовой образ — *синие травы — синее поле — синие птицы — синие перышки*: «По пути нам было целое поле цветущей *синей* медоносной травы фацелии. В солнечный день, среди нашей нежной подмосковной природы это яркое поле цветов, казалось чудесным явлением. *Синие* птицы как будто бы из далекой страны прилетели, почевали тут и оставили после себя это *синее* поле... *Синие* перышки». От специального сочетания *синяя медоносная трава фацелия* через обобщение *синее поле* М. Пришвин идет к романтическому образу *синих птиц, синих перышек счастья*. Прежде чем остановиться на синонимизации *синий — счастливый*, сравним еще один эпизод с *синей птицей* из рассказа Т. Тэсс («Синяя птица»): «Можете представить... вчера попросила этого великого ученого купить в „Гастрономе“ курицу на обед, а он принес тощего, *синего* цыпленка. Я напустилась на него. кричу, зачем мне этот *синий* ужас, а он отвечает... — Не огорчайся... может быть, это *синяя* птица счастья?». Обратим внимание: *синяя птица — птица счастья, синие перышки — перышки птицы счастья* — это толкование у М. Пришвина дано в широком контексте, у Т. Тэсс к фразеологизму *синяя птица* присовокуплено дополнительное определение — *синяя птица счастья*. Контекст или дополнительное определение не позволяют прилагательному *синяя* в словосочетаниях *синяя птица, синие птицы* вернуться к цветовому — буквальному, абсолютному — значению (*синяя трава фацелия, синий цыпленок*).

Тяга к буквальному цветовому значению в прилагательном *синий* объясняется довольно просто, если заглянуть в историю переносных значений двух цветových слов: *голубой — синий*. Как известно, в русском литературном языке сложилась романтическая префигурация голубого цвета (от символа романтизма — *го л у б о г о ц в е т к а*). Прилагательное же *синий* получает переносное значение «счастливый, радостный, ясный, чистый» как синоним в ряду *синий — голубой* (семантическое «заражение» в общей парадигме) или как определение во фразеологизме *синяя птица*. Комплексное неделимое значение фразеологизма как бы осветило цветовой прилагательное *синий* (семантическое «заражение» в синтагме).

Однако сила буквального значения иногда становится препятствием для понимания индивидуальных поэтических осмыслений. Так, в «Литературной газете» (9 V 1967) шел спор о том, бывает ли заря *синей*. Это спор не только о выборе слов. Он демонстрирует разное восприятие и разное понимание возможностей слова. Вот строки из стихотворения О. Кольчева «Карелия»:

Синеет заря погорелая,
Как уголья, облачный жар...

И вот их критика с позиций реальной, буквальной соотнесенности «слово — явление»: «*Синеет* заря... Но если *синеет*, то это уже не заря, ибо заря — и утренняя, и вечерняя — всегда огненного цвета (с различными оттенками его)... Так что *синей* зари не может быть ни при каких обстоятельствах...»¹⁷.

¹⁷ В связи с этим вспомним наблюдение В. Гумбольдта, относящееся к началу прошлого века. «Если бы язык употреблялся только для *повседневных* нужд жизни исключительно, то слова были бы просто знаками выражаемых намерений и желаний... На место слова тогда тотчас и непосредственно становился бы в представлении разговаривающих действительный предмет или действительное действие. Но такого языка, к счастью, не может быть между людьми, как существами всегда мыслящими и чувствующими... во всех действительных языках повсюду удерживают свои права личное воз-

Обратимся к классической литературе. Несколько строк из поэтического этюда И. Бунина «В августе»: «Сквозь слезы я смотрел в даль, и где-то далеко мне грезились южные знойные города, *синий* степной вечер и образ какой-то женщины...». *Синий степной вечер* — *синим*, конечно, было вечернее небо, но *синий* цвет оказался настолько сильным в памяти, так гармонировал с настроением писателя, что неточность реально предметных соотношений (*небо* — *вечер*), обернулась точным словесным образом.

Несколько строк из стихотворения С. Есенина, включающих одно из его любимых цветовых определений:

Предраcсветное. *Синее*. Раннее.

Синее, предраcсветное, раннее — это утро, которое начинается синееющим, светлеющим небом. Эпитет *синее* запечатлел точное наблюдение реального явления природы.

Воздух прозрачный и *синий*,
Выйду в цветочные чащи.
Путник, в лазурь уходящий,
Ты не дойдешь до пустыни.
Воздух прозрачный и *синий*.

Синий воздух (от *синего неба*), *путник, в лазурь уходящий* (*уходящий в голубую от голубого неба даль*) — эти сочетания уже подобны *бунинскому синему вечеру*. Ср.: *Синий май. Заревая теплынь...*

Вечером *синим*, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным...
Синее счастье! Лунные ночи!

Здесь уже *синии* перекликается с *синий* в значении «цвет синей птицы — птицы счастья» и синонимизируется с *голубой* в романтическом осмыслении «счастливый, радостный, нежный, ясный, чистый» (ср.: *голубая родина Фурдуси...; голубая да веселая страна*).

Ты — мое *васильковое* слово...

Так начинается стихотворение С. Есенина, посвященное сестре Шуре. *Васильковое* — какое значение здесь нейтрализовалось и какое развилось? Можно ли здесь говорить о синонимизации *васильковый* — *синий* — *голубой* в переносном осмыслении? Конечно, но при этом нельзя констатировать нейтрализацию буквального значения: *васильковый* — «принадлежащий васильку — полювому цветку». Именно это значение имеет особые оттенки, столь важные для стихотворения С. Есенина: *василек* — это связь с родным краем (ср.: *васильковое слово, соломенная грусть*).

Различные оттенки значения слова — семантические, стилистические, которые «накладываются на его основное значение, служат для выражения разного рода экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов»¹⁸, называют коннотативными, дополнительными. Не споря с определением «дополнительные», обратим внимание на существенность подобных оттенков в дифференциации слов, на их роль «барьера» в процессе нейтрализа-

зрение и индивидуальное чувство» (В. фон Гумбольдт, О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода, СПб., 1859, стр. 194).

¹⁸ О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 203—204.

ции. Отметим также, что создание поэтического образа отнюдь не всегда связано с нейтрализацией буквального значения. Буквальное значение служит основой для переносных, в том числе индивидуальных осмысленных, просвечивает сквозь них то в большей, то в меньшей степени. Синтагматическое «заражение» происходит в условиях столкновения «лексического плана» и «фразового единства». Фраза, синтагма подчиняет отдельное слово, стремится предопределить его значение¹⁹. Но и лексическое значение слова тоже не теряет своей силы и оказывает сопротивление²⁰.

Реальные, конкретные ассоциации с определенным предметом составляют специфику лексического значения. В романе А. Толстого «Петр Первый» мы встретим ряд цветовых определений *красный — клюквенный*: «Все было по древнему чину. Невесту привезли с утра во дворец и стали одевать... боярыни и подружки накладывали на невесту легкую сорочку и чулки; *красного шелка* длинную рубаху с жемчужными запястьями, китайского шелка летник... Поверх летника — широкий *опашень клюквенного сукна* со ста двадцатью финифтяными пуговицами...». Обозначение определенного оттенка красного цвета связано с русской реалией — ягодой клюквой. Нейтрализация конкретного представления о ягоде и нейтрализация относительного значения уничтожают возможность переносного цветового осмысления прилагательного *клюквенный*. Так, в языках, не имеющих обозначения чужой реалии *к л ю к в а*, отсутствует возможность и цветового обозначения по цвету ягоды. В переводах происходит замена: *клюквенный — малиновый, темно-красный*²¹.

О значении и силе конкретных представлений в каждом национальном языке писал еще Г. Пауль: «...следует принять во внимание также и специфическую власть конкретных представлений, которые могут быть сходными в душах собеседников и без помощи наглядного восприятия или предшествующего упоминания. Подобное сходство представлений создается общностью местонахождения, времени, занимаемого положения и житейского опыта вообще»²².

Сила конкретных представлений, общий житейский опыт позволяют и создать, и понять такие словесные выражения, как *васильковое слово, соломённая грусть, клюквенное сукно*. Препятствия возникают, как видим,

¹⁹ См. об этом: Ю. Тынянов, Архаисты и новаторы, [Л.], 1929, стр. 460—461.

²⁰ См. об этом: Р. А. Будагов, Семантика слова и структура предложения, «Уч. зап. ЛГУ». Серия филол. наук, 1946, 10; е г о ж е, Категория значения в разных направлениях современного языкознания, ВЯ, 1974, 4. См. также: В. Н. Ярцева, Взаимотношения грамматики и лексики в системе языка, сб. «Исследования по общей теории грамматики», М., 1968; Т. П. Ломтев, Вопросы выбора глаголов при синтезировании предложения, сб. «Проблемы двуязычия и многоязычия», М., 1972. Ср. также: Э. Косериу, Лексические солидарности, сб. «Вопросы учебной лексикографии», М., 1969.

²¹ Ср., например, перевод сочетания *опашень клюквенного сукна* на английский язык: *a crimson (темно-красный, малиновый) clothrobe* (A. Tolstoy, Peter the First, London, 1956, стр. 127, translated by Tatiana Shebunina) на немецкий язык: *ein weites Kleid aus dunkelrotem (темно-красного) Tuch* (A. Tolstoi, Peter der Erste, Berlin, 1951, стр. 166, Deutsch von Maximilian Schick); на польский язык: *szeroka oponszka z sukna żbawinowej barwy (клюквенного цвета)* (A. Tolstoj, Piotr Pierwszy, Warszawa, 1964, стр. 125—126, перевод — Andrzej Stawar); на болгарский язык: *широка дипленица малиново-червено (малиново-красного) сукно* (A. Толстой, Петър Първи, София, 1967).

²² Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 98. Ср. теорию пресуппозиции. Анализ этой теории см.: Н. Д. Арутюнова, Понятие пресуппозиции в лингвистике, ИАН ОЛЯ, 1973, 1. «Понятие пресуппозиции вошло в лингвистический обиход сравнительно недавно...» (стр. 84). Вероятно, не оспаривая новизну термина, стоит усомниться в новизне идеи о важности социального и культурно-исторического аспекта в языке, фоновых значений, экстралингвистического плана. Ср. также работы Л. П. Якубинского, Б. А. Ларина, В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, В. И. Абаева, Р. О. Шор, Ф. П. Филина, Р. А. Будагова, К. Н. Державина и др.

при переводе на другие языки. «Только при строгом разборе, но за то определенно и ясно, характер оказывается в различном *миросозерцании* народов, как оно выражается *оттенками значения слов*»²³.

Оттенки значения слова подобны вариантам — аллофонам фонемы. Именно аллофоны составляют своеобразие, специфику произношения того или иного языка или акцент иностранца. Нейтрализация оттенков значения, нейтрализация силы конкретных представлений, типичная для калек, ведет к выветриванию самого лексического значения. Приведем один пример: «Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях... Княжны — в немецких робах.. Наталья — в *персиковом*, Ольга — в *зеленом*, полосатом, старшая — Антонида — в *robe цвета „незабвенный закат“*...» (А. Толстой, Петр Первый). Обычно цветное обозначение — *зеленое* платье, понятно и обозначение цвета — *персиковое* платье, живо конкретное представление — «цвета персика». Но какого цвета «незабвенный закат»? Этот словесный образ, лишенный конкретных представлений и коннотативных связей, вместе с тем лишен и значения цвета. Условное цветное название без конкретных ассоциаций превратилось в чисто словесный образ — сочетание слов, создающее эффект комического и особую временную окраску²⁴.

Нейтрализация конкретных представлений равна выветриванию лексического значения. Ср.: минерал *медово-желтого* цвета. Но как известно, если мед липовый, то цвет его почти белый, если гречишный — то темно-коричневый. Так в специальном цветообозначении нейтрализуются конкретные представления, подавлены экспрессивно коннотативные оттенки, однако речевая практика и жизненный опыт определяют место слова-термина в м и к р о - с и с т е м е и возникают новые конкретные представления: *медово-желтый* «цвет определенного минерала».

В некоторых случаях нейтрализация лексических значений как бы заранее обусловлена и как бы принята по договору всеми говорящими на данном языке. В этих случаях складываются своеобразные «языковые ситуации». Поясняем ли мы значение заимствованного слова, термина или просто истолковываем значение любого наименования, мы обращаемся к синонимам. При этом, как правило, не к одному, а к ряду синонимов. Как поясняется, толкуется, например, в «Словаре современного русского литературного языка» упоминавшееся уже цветное прилагательное *голубой*? «*Голубой*... имеющий цвет ясного неба; светло-синий, лазоревый, лазурный». *Лазоревый* в свою очередь поясняется как «светло-синий», «лазурный», а *лазурный* — как «светло-синий», «цвета ясного неба». *Синий* — это «цвет средний между голубым и фиолетовым». *Фиолетовый* же пояснен как «синий с красным оттенком, темно-лиловый, цвета фиалки», а *лиловый* — как «светло-фиолетовый, розовато-голубой, цвета фиалки или сирени». Цвет сирени — это *сиреневый* «светло-лиловый».

Из разнообразной цветовой гаммы образуется, на первый взгляд, почти замкнутый круг, толкование одного цвета «через» другой. При этом заметна условность толкований: *лиловый* — «цвет фиалки или сирени», *фиолетовый* — «цвет фиалки». Но фиалка, как свидетельствует тот же Словарь — «растение с фиолетовыми, желтыми, белыми или разноцветными цветами», а сирень — «кустарник или дерево... с душистыми лиловыми или белыми цветами, собранными в грозди». Какого же цвета «цвет фиалки» и «цвет сирени»? Заметим: условность толкования может подчеркнуть и ил-

²³ В. Гумбольдт, указ. соч., стр. 244.

²⁴ См. также: М. П. Алексеев, Лексикологические заметки к текстам Тургенева. Цвет *аделаида*, «Тургеневский сборник», III, Л., 1968; Л. М. Грановская, Заметки об усвоении иноязычных цветообозначений в XVIII — начале XIX века, сб. «Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху», М., 1964.

иллюстративный пример. Ср.: *Фиолетовый* — «цвет *ф и а л к и*» — демонстрируется в таком тексте: «Наступил июнь, расцвела *с и р е н ь* и опять переживались через забор *фиолетовые* кисти...»²⁵ (разрядка и курсив наши. — А.Б.). Каков же *фиолетовый* цвет — цвета *ф и а л к и* или кистей *с и р е н и* — *фиолетовых кистей сирени*? Общий цвет для фиалки и сирени, как свидетельствует Словарь — *лиловый*. Но можно ли заключить, что *лиловый* и *фиолетовый* — абсолютные синонимы?

Однако в живой языковой практике таких вопросов не возникает. Общий жизненный и языковой опыт (ср. еще у В. Гумбольдта) или, как иногда говорят, общая пресуппозиция позволяют довольствоваться таким словарным толкованием. Конечно, нельзя оправдывать небрежность в толковании и иллюстрации слова. Самый же принцип толкования слов должен быть весьма точным²⁶. Он обусловлен известной двусторонностью лексической системы: открытой, подвижной, благодаря непосредственным экстралингвистическим влияниям, и ограниченной внутрисистемными отношениями. Отсюда, с одной стороны, мы постоянно видим в словарных толкованиях слов выход во «внешний мир», ощущаем силу конкретных представлений: *голубой*, *лазурный* — «цвет ясного неба», *лиловый* — «цвет фиалки, цвет сирени». С другой — для толкования слова создаются особые «языковые ситуации», например, ряды синонимов-пояснений («слово через слово»). В этом последнем «синонимическом» толковании отметим интересное языковое явление. В цепи синтаксически однородных членов (синонимов) как бы происходит «заражение» однородностью — от функционально синтагматической к функционально семантической: выделяется их общий признак. В этой цепи синонимов однородное качество усиливается, как бы нарастает, а дифференцирующие оттенки значения нейтрализуются: *голубой* = *светло-синий*, *лазоревоый*, *лазурный*²⁷.

В речевой практике возможна даже особая «глухость» к несущественным сведениям в той или иной ситуации. «Ведь язык любит обобщать»²⁸.

Однако язык стремится не только обобщать, но и дифференцировать²⁹. В семантических противопоставлениях позиция «тождество — нетождество» оказывается чрезвычайно многообразной. Если у говорящих нет потребности в перечислении всех дифференцирующих признаков, то это еще не означает, что в самом языке нет тенденции к дифференциации оттенков значения. Именно их чередование в речи демонстрирует и семантическую глубину, и семантический объем слова, и разнообразие языкового выражения. Сравним в заключение такие строки А. Куприна (эюд «Фиалки»): «Чудесное открытие. Целый оазис наших милых, *темных*, маленьких северных *фиалок*, благоухающих, как нигде в целом мире». Обозначение цвета хранится в самом наименовании — *фиалок*, оно подразумевается и в определении *темных*, т. е. «очень густых по окраске, не светло-фиолетовых, а темно-фиолетовых». Цветовое же определение в сочетании *скромный фиолетовый букетик* означает не только цвет цветов, но и сами цветы — «скромный букетик фиалок»: «— Какие прелестные *фиалки*...

²⁵ См.: «Словарь современного русского литературного языка», М.—Л., 1948—1965.

²⁶ См. оценку словарных толкований: Н. З. Котелова, Искусственный семантический язык (теоретические предпосылки), ВЯ, 1974, 5, стр. 51 и сл.

²⁷ О семантическом уподоблении см.: Л. Я к у б и н с к и й, О снижении высокого стиля у Ленина (о статье «О национальной гордости великороссов»), ЛЕФ, 1924, 1(5), стр. 73.

²⁸ Е. А. Земская, Как делаются слова, М., 1963, стр. 11. Ср. наблюдения: Е. Н. Этерлей, И пахнут свежле сирени, «Русская речь», 1972, 4.

²⁹ В предисловии к своей книге 1966 года Э. Бенвенист относит исследования «дифференциальных возможностей языка» к важнейшим проблемам современной лингвистики (É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966, стр. 1).

И изящным движением она прицепляет скромный *фиолетовый букетик* к своей груди...». В ряду *темные фиалки — фиалки — цветы — фиолетовый букетик* синтагматическая и парадигматическая синонимизация, переплетаясь, поддерживают семантическую дифференциацию: нейтрализация на одном уровне восполняется дифференциацией на другом (ср.: *цветы — фиалки* и *темные фиалки — фиолетовый букетик*).

Анализ даже небольшого языкового материала все же позволяет заключить:

1. В лексике, как и в фонологии, системные отношения раскрываются в оппозициях. Однако нельзя резко, как это иногда делают фонологи, разграничивать сильные и слабые позиции. Полисемия — многомерность слова — позволяет в случае нейтрализации одних признаков проявиться другим признакам в парадигматическом или синтагматическом плане.

2. Сама возможность сближения лексических и фонологических оппозиций ограничена спецификой лексической нейтрализации: коммуникативным заданием, индивидуальным замыслом, социальными и культурно-историческими условиями, которые обнаруживают многомерность слова. При этом существенными различительными признаками могут стать, казалось бы, несущественные оттенки значения.

3. Пересекающиеся синонимические ряды не нейтрализуют, а перегрушивают значения полисемантического слова, оказавшегося «узловым». Значения, отодвинутые на второй план, «просвечивают» в контекстно определенном осмыслении и выявляют семантическую глубину и объем слова в целом. Именно это явление обуславливает образность, метафоричность, различные переносные значения, т. е. способствует обогащению, развитию лексики и шире — языка.

4. Оттенки значения слова — коннотативные, стилистические, стилевые — можно сравнить с аллофонами в фонологии. В них обнаруживаются национальные особенности словоупотребления. Их нейтрализация в фонологии свидетельствует о корректном произношении чужого языка. Нейтрализация же оттенка в значении слова — это нейтрализация весьма существенных семантических и стилистических черт каждого национального языка.

5. Сила конкретных представлений и их «выветривание», взаимосвязь буквальных и переносных значений не случайны, исторически обусловлены (экстралингвистическими и «языковыми» ситуациями). На лексическом уровне нейтрализация двусторонняя, находится в состоянии противоборствующего равновесия «тождество — нетождество». Многообразие лексического «нетождества» обусловлено, с одной стороны, самой многозначностью (многомерностью) слова и разнообразием системных отношений (парадигматических и синтагматических), а с другой — социальным, культурно-историческим планом.

АЛЕКСЕЕВ М. И.

К ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АФФЕКТИВНОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дескриптивные грамматики кавказских (картвельских и нахско-дагестанских) языков часто отмечают наличие особого построения предложения при глаголах чувственного восприятия (*verba sentiendi*) — «дативной конструкции»¹ Специфика этого построения, как указывается в описательных грамматиках, заключается в постановке подлежащего в дательном падеже, а прямого дополнения — в абсолютном (по терминологии ряда авторов, в именительном) Ядро группы глаголов, образующих в кавказских языках «дативную конструкцию», действительно составляют глаголы чувственного восприятия, т. е. глаголы, выражающие чувства — «завидовать», «правиться», «бояться», «сердиться», «жалеть», «беспокоиться», «стесняться», «стыдиться», «надоедать») и восприятия («видеть», «слышать», «обонять», «чувствовать», «казаться», «мерещиться»)

Вместе с тем круг глаголов способных давать подобное построение, значительно шире, что заметили в свое время уже ранние исследователи кавказских языков. На устойчивость вышеприведенной семантической характеристики глаголов, образующих «дативную конструкцию», указывали в частности, Г. Шухардт, К. Боуда, А. А. Бокарев² и др.

Вследствие того, что семантическая характеристика глаголов, встречающихся в «дативном построении», только как глаголов чувственного восприятия оказывается неполной, определение специфики синтаксического построения, обусловливаемого ими, также страдает неполнотой — ведь семантика глагола не без основания считается ведущим моментом в определении основных моделей предложения языков эргативного строя, представителями которого являются большинство кавказских языков.

Причины данного явления кроются, во-первых, в непродуктивности класса глаголов, способных давать «дативную» конструкцию (откуда — трудности в их адекватной характеристике), и во-вторых, в отсутствии исчерпывающего списка данных глаголов по подавляющему большинству языков, обнаруживающих подобное построение предложения. Наиболее полные списки глаголов этого типа, приводимые в работах разных авторов, едва насчитывают около двадцати единиц.

Прежде чем дать по возможности исчерпывающий список глаголов, которые, помимо глаголов чувственного восприятия, могут образовывать

¹ См. Н. Ф. Яковлев, Синтаксис чеченского литературного языка М — Л 1940, стр. 63, Ю. Д. Дешериев, Бацбийский язык, М., 1953, стр. 232, М. М. Гаджиев, Синтаксис лезгинского языка, ч. 1 — Простое предложение Махачкала, 1954, стр. 103, Б. Г. К. Ханмагомедов, Очерки по синтаксису табасаранского языка, Махачкала, 1970, стр. 90 и др. В картвелистике принят также термин «инверсивная конструкция».

² Г. Шухардт, О пассивном характере переходного глагола в кавказских языках, «Эргативная конструкция предложения», М., 1950, стр. 35, К. Боуда, Subjekt- und Objektkasus beim awarischen Verbum, «Caucasica», fasc. IX, 1931, стр. 50, А. А. Бокарев, Синтаксис аварского языка, М — Л, 1949, стр. 36.

«дативную конструкцию» (что, безусловно, необходимо для правильной семантической интерпретации последней), следует отметить, что термин «дативная конструкция» несколько неудачен, поскольку в нем отражается лишь формальный элемент — постройка подлежащего в дательном падеже. Учитывая, что, например, эргативная конструкция предложения может быть представлена тремя морфологическими типами, именным, глагольным и смешанным³, можно полагать, что «дативное построение» также является вариантом более общего типа структуры предложения.

Правомерность такого решения подтверждается сравнением дативной конструкции с выделяемыми в дагестанских языках аффективной и локативными конструкциями, характеризующимися постановкой в них подлежащего либо в аффективном, либо в одном из локативных падежей. Так, в аварском языке обычно выделяются дативная (*инсуе вас вокьула* «отец сына любит») и локативная (*инсуда вас вихьана* «отец сына увидел»), в некоторых андийских — дативная и аффективная, ср., например, чамалин *илуха ирхьада жеши докьрдету ида* «мать любит свою дочь» (дат), *имхе хайдаг ида ӣсуда вaha* «отец видит своего сына» (афф). Оформление подлежащего дательным и аффективным падежами отмечается также в цахурском языке *де̄кис̄ ӣкана зт* «отец любит меня» (дат), *де̄кikle Gizlen saat Gaʒt* «отец золотые часы увидел» (афф). Оказывается, что названные конструкции обнаруживают значительную общность. Во первых, круг глаголов, обуславливающих вышеназванные построения предложения, в основном совпадает. Например, аварской «локативной» конструкции с глаголами «видеть», «слышать» и т. п. соответствует «дативное» построение в арчинском, ср. авар *инсуда жиндирго вас вихьана* «отец своего сына увидел», где *инсуда* «отец» стоит в локативе, и арчин *иез ип ва̄кур̄ши ии* «я вижу тебя», где *иез* «я» — форма дательного падежа. При сравнении фактов дагестанских языков можно найти немало других примеров подобного рода. Важно заметить при этом, что такой разнотипностью в употреблении падежей подлежащего относятся не только к глаголам лишь с одинаковой семантикой, но и к генетически родственным глаголам разных языков, ср. ботлих *де̄ри*, годоберин *би* «знать», ботлих *ха̄ри*, годоберин *ха̄* «видеть» — в ботлихском названные глаголы требуют дательного падежа подлежащего, в годоберинском — аффективного. Не менее показательным является различие в управлении падежом подлежащего глагола *ал̄чархас* «встречать» в разных диалектах агульского языка — в зависимости от диалекта этот глагол требует дательного, то локативного падежа.

Помимо общности в лексемном составе глаголов, способных давать указанные построения, значительной общностью обладает и семантика падежей, оформляющих в них подлежащее — в них отчетливо проявляется направительное значение. Ср., например, такие характерные функции датива в дагестанских языках, как оформление адресата действия, получателя (хиналуг *ја рхри и п к лакур̄Гома* «я собаке кость даю»), имени объекта физического воздействия (лезг *ада вичин т у п I у з раб акьадарна* «он свой палец иглой уколол»), выражение отношения предназначения (дарг *х I у л ба а с шала* «свет для глаз»), а также его собственно пространственное направительное значение (лезг *ше гь е р д и з хьифена* «уехал в город»). В собственно пространственном направительном значении употребляется и аффективный падеж (ср. багвалин *hindu ba* «в Тлондоду», аналогичное использование аффектива зафиксировано и в каратинском языке). Момент

³ См. И. И. Мещанинов. Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967, стр. 86–88, Г. А. Климов, Очерк общей теории эргативности, М., 1973, стр. 42–43 и др.

направленности отчетливо проявляется и в других функциях аффектива — в частности, в оформлении косвенного дополнения при каузативных глаголах: андийск. *ihoxir voʃubo* «заставить сына делать (что-либо)».

Сфера функционирования пространственных направительных падежей в их нелокативном употреблении также в основном ограничивается выше-названными случаями. В полной мере это относится и к аварскому местному падежу на *-да*, оформляющему подлежащее при большинстве глаголов чувственного восприятия. Обычно этот падеж трактуется как падеж, выражающий состояние покоя, местонахождения: *цьяб гъот Iода цо-цо чана оци бугила* «на каждом дереве было по оленю». Однако не менее характерным является его употребление и для передачи направительных значений, ср. *гъокол цояб к оркъода гъан лъуна* «положил мясо на одно крыло орла», *н у х да вилълана* «отправился в путь» и т. п. Прослеживается направительное значение данного падежа и в его переносном (нелокативном) употреблении: *гъудулас абунила гъосда* «приятель сказал ему», *дов хурхана д и да* «он обхватил меня», *дица къабуна досда* «я ударил его» и т. п.

На основании вышеприведенных фактов представляется целесообразным использовать для сходных по своей семантике построений с дательным, аффективным или каким-либо локативным падежом подлежащего вместо терминов «дативная конструкция», «аффективная конструкция» и «локативная конструкция» единый термин «аффективная конструкция» (ср. употребление данного термина в работах А. М. Дирра, И. И. Мещанинова и др.). Небезынтересным оказывается тот факт, что все эти конструкции являются разновидностями именного типа аффективной конструкции, поскольку выделение ее во всех названных случаях основывается на специфическом оформлении именных членов предложения. Для глаголов, образующих аффективную конструкцию, соответственно используется термин «аффективные глаголы».

Таким образом, понятие аффективного глагола является более широким, чем имеющие до настоящего времени употребление понятия «глаголы чувствования», «глаголы восприятия» и т. п. (нельзя сказать, конечно, что данный термин не лишен известной доли условности, ср., например, лишь косвенно соотносимое с данным понятие «глаголов аффекта»). Кроме названных выше глаголов чувственного восприятия, в разряд аффективных входят также глаголы, характеризующие интеллектуальную деятельность человека: «знать», «верить», «понимать», «научиться», «помнить», «вспоминать», «забывать», «думать», «ошибаться»; глаголы физического состояния человека: «жаждать», «быть голодным», «спать», «бодрствовать», «смеяться», «плакать», «мерзнуть».

Примыкают к аффективным также глаголы, характеризующие условно как посессивные (ср. выделяемые У. Чейфом «бенефактивные» глаголы, образующие, по его мнению, группу, отличную от глаголов восприятия⁴) «иметь», «получать», «хватать; быть в достатке», «недоставать», «нуждаться», «находить», «терять». Следует, впрочем, отметить довольно часто встречающуюся обособленность от данной группы *verba habendi*, что выражается и в выделении в ряде языков соответствующей конструкции предложения — посессивной. Конечно, имеются основания говорить о тесной семантической связи аффективных и посессивных глаголов. Однако очевидно, что аффективные глаголы не являются подклассом посессивных, скорее наоборот: посессивные глаголы должны включаться в более общую группу аффективных (вряд ли можно признать правильной трактовку

⁴ У. Л. Чейф, Значение и структура языка, М., 1975, стр. 167—175.

грузинской формы *т-зул-с* «я ненавижу» как «мне ненависть есть», данную Ф. Н. Финком⁵).

Как свидетельствует языковая эмпирия, в ряду аффективных стоят также глаголы, имеющие модальный оттенок: «хотеть», «желать», «мочь», «справиться», «быть должным». Из глаголов других семантических групп к аффективным относятся «родить», «встретить», «годиться», «быть к лицу».

Безусловно, представленный выше список аффективных глаголов нельзя признать исчерпывающим, окончательным, как нельзя утверждать и то, что все из вышеперечисленных глаголов должны давать аффективную конструкцию в любом из языков, в которых таковая имеется. Важно иметь в виду существенное различие между глаголом, аффективным только по своей семантике, и глаголом, оформленным как аффективный уже лексически и грамматически. Так, то обстоятельство, что глагол «бояться» входит в суммарный список аффективных глаголов, не означает, что в цахурском языке он будет давать аффективное построение (несмотря на то, что такие глаголы, как «видеть», «слышать» и т. п., в этом языке аффективную конструкцию образуют). Напротив, здесь мы имеем абсолютную конструкцию предложения при данном глаголе: *xurun ušaxara xivale qalqalnalmi* «маленькие дети собаки боятся» — с подлежащим (*ušaxara* «дети»), в абсолютном падеже и косвенным дополнением, оформленным исходным падежом (*xivale* «собаки»).

Примеры формальной трактовки аффективных по семантике глаголов то как переходных, то как непереходных довольно распространены. Это обстоятельство указывает на то, что аффективные глаголы являются в эргативных языках непродуктивным классом, переживающим процесс разложения, о чем свидетельствуют зафиксированные в ряде языков случаи перехода от аффективного построения при них к эргативному или абсолютному. Так, «бацбийский язык допускает параллельную постановку подлежащего как в дательном, так и в эргативном падежах при глаголах-сказуемых чувственного восприятия»: *MutIun* (дат. пад.) *xəo gu/MutIos* (эрг. пад.) *xəo gu* «Мито тебя видит», *Son* (дат. пад.) *xəo vabuġo/As* (эрг. пад.) *vabuġos xəo* «я знаю тебя»⁶.

Несмотря на очевидный ограниченный, «остаточный» характер, группа аффективных глаголов представлена лексемами довольно различной семантики. Чтобы ответить на вопрос, имеются ли у данных глаголов какие-либо общие семантические характеристики, необходимо дать их сравнительный анализ с глаголами других групп.

Одним из наиболее показательных различий языков номинативного и эргативного строя является формальная маркировка именных членов предложения. Так, при общем для языков номинативной и эргативной типологии немаркированном падеже подлежащего в непереходном предложении (в номинативных языках — именительный падеж, в эргативных — абсолютный) переходное предложение номинативных языков маркирует прямое дополнение (винительный падеж), а в эргативных языках — подлежащее (эргативный падеж). Немаркированным членом переходного предложения при номинативной типологии языка оказывается подлежащее, при эргативной — прямое дополнение, что отражается в соответствующем

⁵ Ф. Н. Финк, О якобы пассивном характере переходного глагола, «Эргативная конструкция предложения», стр. 109.

⁶ Ю. Д. Дешериев, Основные особенности эргативной конструкции предложения в нахских языках, «Вопросы грамматики. Сборник статей к 75-летию академика И. П. Мещанинова», М.—Л., 1960, стр. 56. В нахских языках полагают также обратное развитие: от эргативного предложения к «дательному». См.: Ю. Д. Дешериев, Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и развития горских кавказских народов, Грозный, 1963, стр. 503.

оформлении их немаркированными падежами — именительным и абсолютным

В связи с этим возникает возможность трактовать винительный падеж номинативных языков как направленный он показывает, что действие направлено на объект. Если же с этой точки зрения рассмотреть переходное предложение эргативных языков, то эргативный падеж также окажется направленным (исходным) он показывает, что субъект является источником действия.⁷

Вряд ли можно дать подобную семантическую интерпретацию имени субъекта в аффективной конструкции. Это отчетливо представляли себе уже пионеры кавказского языкознания. Ср., в частности, следующее высказывание А. М. Дирра, отмечавшего, что в аффективном предложении «язык смотрит на действие как на несходящее, независимое от индивидуума»⁸. Аналогичных взглядов придерживались и другие языковеды. Г. Шухардт, например, отмечал, что в кавказских языках при глаголах чувственного восприятия «подлежащее передается не как источник, а как направление действия»⁹.

Ее вызывает сомнения правильность подобной трактовки семантики аффективных глаголов. Обращает на себя внимание при этом тот факт, что характеристика субъекта при глаголах данной семантической группы в качестве адресата аффективного действия налицо в языке любой типологии. Неслучайно поэтому многие языковеды отмечали «несоответствие» формы и содержания в аффективных по семантике предложениях ряда индоевропейских языков, строящихся на основе общих норм номинативности, ср. высказывание Суита о том, что в предложении типа *Он боится этого человека* отношения выглядят перевернутыми, поскольку источник действия оформляется аккузативом, а предмет, подвергающийся действию — номинативом.¹⁰

Если номинативное построение предложения с аффективной семантикой не позволяет говорить о лексической обособленности аффективных глаголов, то в эргативных языках средством лексического выделения данной группы является специфическое падежное управление постановка подлежащего в дательном, аффективном или локативном падежах, в семантике которых доминирует элемент направленности. Однако и в номинативных языках наличествует построение предложения, аналогичное аффективной конструкции — это конструкция типа *мне нравится, мне кажется, меня знобит* и т. п.

Легко заметить, что подобные конструкции обладают значительным сходством с аффективным построением. Во первых, состав предикатов, образующих данные конструкции, во многом пересекается с группой аффективных глаголов, так, в их число включают модальные предикаты, предикаты мысли, восприятия, эмоции, желания, психического и физического состояния, обладания, произвольного движения и т. п. Во вторых, имя субъекта в таких конструкциях также оформляют падежи направительной семантики: чаще всего дательный (*мне кажется*) или винительный (*меня знобит*), если же в них присутствует имя объекта, то оно при этом ставится обычно в немаркированном именительном падеже. Из менее важных сходных черт двух сравниваемых типов конструкций предложе-

⁷ На маркированность эргатива впервые обратил внимание Р. Якобсон (см.: R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamt-Bedeutungen der russischen Kasus. TCLP 6, 1936, стр. 254).

⁸ А. М. Дирр, Рутульский язык, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», 42, Тифлис, 1912, стр. 62.

⁹ Г. Шухардт, указ. соч., стр. 34.

¹⁰ «Collected Papers of Henry Sweet» arranged by H. C. Wyld, Oxford 1913, стр. 25.

ния можно назвать обычное согласование с именем объекта и отсутствие такового с именем субъекта (хотя и не во всех случаях)

Сопоставление аффективной конструкции с дативно-аккузативными конструкциями номинативных языков предпринималось многими лингвистами. Если некоторые из них делают вывод об абсолютном тождестве рассматриваемых конструкций, то в работах других авторов предлагались различные критерии их разграничения: периферийность безличных конструкций в рамках номинативности при органическом вхождении аффективного построения в эргативную систему, строгость специализации косвенных падежей в функции субъекта в эргативных и непоследовательность такой специализации в номинативных языках, безобъектность безличных предложений при наличии объекта в аффективной конструкции и др.¹¹ Немаловажную роль играет также различие в трансформационных возможностях рассматриваемых типов предложений.

Одним из способов выделения аффективной конструкции предложения является «инверсия» личных глагольных аффиксов. В этом случае глагольный аффикс, указывающий на имя объекта при переходном (или активном — для языков активного строя) глаголе, употребляется при аффективном глаголе для указания на имя субъекта, ср. гуарани *še mani a* «я помню», *pe mani'a* «ты помнишь» при *še-pete* «он меня бьет», *pe-pete* «он тебя бьет» и т. д.¹² Аналогично происходит выделение аффективных предикатов и в грузинском *tiqvars* «я люблю его», *giqvars* «ты любишь его» при *mcems* «он бьет меня», *gcems* «он бьет тебя». При этом инверсия личных глагольных аффиксов сопровождается в грузинском языке характерным для аффективного построения оформлением именных членов предложения: имя субъекта получает аффикс дательного падежа, имя объекта — именительного.

Легко видеть, что сущность инверсии личных глагольных аффиксов и «дативного» оформления подлежащего в аффективной конструкции предложения одна и та же — в объектном оформлении имени субъекта на уровне морфологии. С точки зрения значения здесь налицо указание на субъект аффективного предложения как на «адресат», получатель. В то же время объект аффективного предложения получает, по видимому, характеристику источника действия. Формально подобная его интерпретация выражается в постановке имени объекта в одном из исходных падежей: ср. агульск *zuz t i d i k e s qal aydine* «я на него обиделся», *ze čičis ħularihas la mus ħaja* «моя сестра стесняется гостей», рутульск *čabalešis ublilt gičer* «овцы волка боятся».

В аффективной конструкции подобное явление нельзя квалифицировать как общее правило. Обычно аффективное дополнение ставится здесь в абсолютном падеже. Регулярным становится употребление исходных падежей в качестве показателей объекта аффективного действия при глаголах, аффективных по семантике, но уже непереходных по формальным признакам (т. е. при глаголах дающих абсолютную конструкцию предложения). В этом случае исходный падеж имени объекта как бы компенсирует отсутствие «дативной» марки у имени субъекта. Можно сказать, что и в таких предложениях налицо инверсивность, проявляющаяся в семантике

¹¹ См. И. И. Мещанинов, Проблема стабильности в развитии языка ИАН ОЛЯ 1947 3 стр. 179, М. М. Гухман, Конструкции с дательным/винительным лица и проблема эргативного прошлого индоевропейских языков (Эргативная конструкция предложения в языках различных типов) Л. 1967, стр. 64. С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 207.

¹² F. G. G. e. g. o. r. e. s, J. S. u. a. r. e. z, A description of colloquial Guarani, The Hague — Paris 1967, стр. 131—132.

падежа дополнения: она здесь не направительная, как, скажем, у винительного падежа номинативных языков, а исходная.

Таким образом, одной из характерных особенностей аффертивной конструкции предложения является интерпретация субъекта в качестве «адресата» аффертивного «действия», процесса, причем объект в данном предложении получает факультативную маркировку источника действия.

В то время как в языках эргативного строя в семантике аффертивного предложения доминирует момент направленности процесса к субъекту, в языках активной типологии дело обстоит несколько иначе. Профилирующей чертой лексики активных языков является распределение глагольного словаря на две группы — группу активных глаголов (таких, например, как «бить», «бежать» и т. п.) и группу стативных глаголов («сидеть», «лежать» и т. п.). Оказывается, что при таком распределении глагольной лексики целый ряд глаголов не может получить однозначной квалификации в качестве активных или стативных. Так, глаголы «видеть», «слышать», «думать», «спать» и др. образуют разряд глаголов, осособленный от активных и стативных¹³.

В качестве одного из вероятных объяснений данного явления можно предложить следующее: все эти глаголы («видеть», «слышать» и т. п.) по своей семантике следовало бы отнести к стативным, поскольку, как неоднократно подчеркивали многие авторы, подобные глаголы явно противопоставлены активным, обозначающим действия и связанным с проявлением воли действующего субъекта. Косвенным указанием на стативный характер этой группы глаголов можно, по-видимому, считать их несомненную связь с категориальной формой стативного аспекта (в арчинском языке, например, по устному сообщению А. Е. Кибрика, глаголы состояния *ти* «быть красивым», *çuIba* «быть белым» и т. п. характеризуются дефектной парадигмой, в которой имеются лишь формы дуратива, с другой стороны, в эту же группу включаются также типичные аффертивные глаголы, как *ħzan* «любить», *sin* «знать»). Отчасти свидетельством аналогичного плана можно считать и практическую невозможность сочетания с основами аффертивных глаголов пространственных превербов: при наличии целого ряда превербов локативного значения в некоторых лезгинских языках аффертивные глаголы сочетаются лишь с превербом *q*-, означающим повторность действия. С другой стороны, в языках активной типологии существует и распределение имен на активный и инактивный классы (в первый входят названия людей, животных, растений; во второй — в основном, имена неодушевленные). В силу своей семантики аффертивные глаголы тяготеют к активному классу имен и не сочетаются с именами инактивного класса. Таким образом, противоречие между активной субъектной валентностью и стативным содержанием разрешается выделением «остаточного» класса глаголов, по целому ряду признаков сближаемых с аффертивными глаголами эргативных языков.

В целом состав группы глаголов, выделяемой таким образом в языках активного строя, сопоставим с классом аффертивных глаголов эргативных языков: здесь налицо те же типичные аффертивные глаголы — «видеть», «слышать», «знать», «помнить» и т. п., что, по-видимому, дает основание говорить о данных глаголах как об относящихся к классу аффертивных и в языках активной типологии. Это представляется тем более верным, если учесть, что при разных конкретных принципах их выделения и в тех и в других языках главным является признак «остаточности» класса аффертивных глаголов.

¹³ Г. А. Климов, К характеристике языков активного строя, ВЯ, 1972, 4, стр. 5—6.

Не следует забывать также и о том, что наличие лексически противоположенных переходным и непереходным аффективных глаголов не является органической принадлежностью эргативной типологии. Сопоставление же их с аналогичными глаголами активных языков позволяет сделать вывод об исторической преемственности их в рамках общей трансформации языковой структуры от активного строя к эргативному.

Вместе с тем нельзя не отметить и того факта, что аффективное построение в языках активного строя встречается при гораздо большем числе предикатов. В их семантике нельзя, по-видимому, выделить с той же степенью очевидности, как это можно сделать в эргативных языках, элемент направленности действия к субъекту [ср. такие аффективные глаголы, отмечаемые в языке ассинибойн из группы сиу американских языков, как *yuksá* «обрываться», *yusóta* «изнашиваться; уставать», *yuwéga* «ломаться» наряду с типичными аффективными *wauáka* «видеть», *yuhá* «иметь(ся)», *awáyaka* «бодрствовать»¹⁴]. В эргативных языках подобные глаголы структурно не отличаются от непереходных глаголов, образуя абсолютную конструкцию предложения.

В связи с этим более правильным было бы характеризовать аффективные глаголы активных языков не в качестве указывающих на субъект как на адресат действия, а в качестве глаголов непроизвольного действия и состояния. Нельзя, конечно, принять утверждение, что в эргативных языках аффективные глаголы не выражают непроизвольные действия или состояния, а аналогичные лексемы в языках активной типологии не свидетельствуют об «адресатности» субъекта. Речь может идти лишь о том, какой из обоих этих аспектов выдвигается в каждом конкретном случае на первый план.

Квалификация аффективных предикатов в качестве предикатов непроизвольного действия и состояния находит подтверждение в формальном совпадении структуры аффективного предложения со структурой предложений, ориентированных на выражение непроизвольного действия. Примеры такого рода можно обнаружить и в номинативных языках, ср. русск. *мне хочется*, *мне нравится*, *мне известно* и т. п. при аффективных предикатах и *мне работается*, *мне играетя*, *мне поется* и др.

Параллелизм в структуре аффективного построения и конструкций, выражающих непроизвольность действия, отмечается и в языках эргативного строя, ср., например, «инверсию» личных глагольных аффиксов при аффективных глаголах в абхазском языке (*и-с-гахьуп* «то-я-хочу», *д-л-ы-хшейт* «то-она-родила» и т. п.) с совпадающей по структуре конструкцией предложения с переходными глаголами в форме непроизвольности (а также потенциалиса): *й-амхафейт* ← *и-и-амхафейт* «то(в.) он (м.) невольно съел». В этой форме глагола реальный субъект «он» выражен префиксом косвенного объекта *и*-¹⁵.

Случаи дативного или локативного оформления имени субъекта (что, как известно, является одним из характерных способов выделения аффективной конструкции) при глаголах в категориальной форме потенциалиса отмечаются в ряде дагестанских языков. Например, в хиналугском языке глагол, стоящий в форме потенциалиса, требует локативного оформления имени субъекта: *k š ä š saz jāqin̄kwar* «кто на сазе играть может?» (при переходном глаголе), *šä b i j i š kan̄widmä* «мой отец может прийти» (при непереходном глаголе).

Интересен в связи с этим и факт формального совпадения аффективной модели с формальной структурой переходного предложения в третьей се-

¹⁴ N. B. Levin, *The Assiniboine language*, IJAL, 30, 3, pt. 2, 1964, стр. 42—43.

¹⁵ «Грамматика абхазского языка», Сулуми, 1968, стр. 101—102.

при времен грузинского языка: ср. *deda-s švili uqvars* «мать сына любит» и *deda-s švili gauzrdia* «мать сына воспитала, оказывается», где в последней фразе глагольная форма имеет оттенок результативности (требование отграничения аффективной конструкции от построений предложения с переходным глаголом в третьей серии времен грузинского языка¹⁶ не исключает возможность поисков содержательной интерпретации формального совпадения данных моделей предложения).

Выражая непроизвольность действия и состояния, аффективные предикаты противопоставлены прежде всего активным, выражающим действие, исходящее от субъекта. Наличие подобного противопоставления обнаруживается в самых разных языках независимо от того, обособляются ли аффективные глаголы лексически или объединяются в структурном плане с глаголами других лексических групп (ср., например, такие пары глаголов, как «видеть» — «смотреть», «слышать» — «слушать», «получать» — «брать» и т. п.). В номинативных языках, где аффективные по семантике глаголы, образуя обычную номинативную конструкцию, не отличаются формально от переходных (ср. *я вижу дом* и *я строю дом*) или непереходных (*я сплю* и *я сижу*), они, однако, обособляются от последних целым рядом особенностей трансформационного характера. В частности, для глаголов чувственного восприятия тюркских языков отмечается невозможность образования форм, выражающих намерение, долженствование, повеление и др., т. е. форм, «в которых заключено указание на действие, исходящее от самого субъекта произвольно или сознательно»¹⁷.

Аналогичные свойства аффективных предикатов отмечаются и в индоевропейских языках, где к основным лексико-грамматическим окружениям, трансформациям и т. п., практически невозможным для аффективных предикатов, относят замену глаголом «делать» в вопросительных предложениях (*что делает?*), употребление в различных модальных конструкциях, сочетаемость с глаголами приказа, просьбы, с обстоятельственными словами типа *небрежно*, *усердно* и др. Определенные особенности аффективных глаголов обнаруживаются при образовании от них форм пассивного залога (чаще всего такие формы просто невозможны).

Следовательно, второй важнейшей чертой семантики аффективного предложения является квалификация в нем глагола-сказуемого в качестве глагола непроизвольного действия и состояния.

¹⁶ См.: И. И. Мещанинов, *Общее языкознание*, Л., 1940, стр. 181—182.

¹⁷ А. А. Юлдашев, *Глаголы чувственного восприятия (verba sentiendi) в тюркских языках, «Историческое развитие лексики тюркских языков»*, М., 1961, стр. 295.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ЭДЕЛЬМАН Д. И.

К ФОНЕМНОМУ СОСТАВУ ОБЩЕИРАНСКОГО

(о фонологическом статусе *x^v)

Как известно, в общеиранском состоянии и в языках древнеиранских памятников имелся консонантный звуковой комплекс, или единый согласный звукотип комплексной артикуляции, звучавший (по разным представлениям) как *xv, *hv или *x^v, *h^v и отразившийся на письме в древнеперсидском как *uv*, *u*, в авестийском как *hv*, *x^r* (мидийское соответствие — *f*). Факт наличия этого комплекса на фонетическом уровне несомненен, однако его фонологическая интерпретация как в языках памятников, так и в праязыке, до сих пор остается спорной.

Сходные звуковые комплексы, или комплексные звукотипы, имеются и в ряде живых иранских языков. Характерно при этом, что даже здесь, при возможности непосредственного фонетического обследования, фонологическая интерпретация этого комплекса в некоторых случаях вызывает определенные затруднения. Так, неясен его статус (как и статус ряда других консонантных комплексов, сочетающих язычную и лабиальную артикуляцию) в осетинском языке¹, хотя лабиализация согласных, будучи одной из существенных черт различия между иронским и дигорским диалектами, давно привлекает особое внимание осетиноведов². Требуется дальнейшего анализа место комплексов *xv*, *γv* (или *x^o*, *γ^o*) и в фонологической системе пушту.

Для ягнобского и язгулямского языков, а также для говора курдов Туркмении, этот комплекс описывается как единая самостоятельная фонема *x^o*, причем только в язгулямском она входит в более широкий ряд лабиализованных согласных; в ягнобском и в курдском говоре Туркмении она является единственной лабиализованной согласной фонемой³. Ее фоне-

¹ Ср.: В. С. Соколова, Очерки по фонетике иранских языков, М.—Л., 1953, ч. II, стр. 48—49; М. И. Исаев, Дигорский диалект осетинского языка, М., 1966, стр. 18. Указания на фонетическую лабиализацию ряда согласных см.: В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, I, М.—Л., 1958, стр. 6 (далее — ИЭСОЯ); В. И. Абаев, Грамматический очерк осетинского языка, в кн.: «Осетинско-русский словарь», Орджоникидзе, 1962, стр. 500.

² В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.—Л., 1949, стр. 367—368; е го же, О диалектах осетинского языка, «Indo-Iranica. Mélanges présentés à Georg Morgenstierne», Wiesbaden, 1964, стр. 2.

³ О фонологичности *x^o* во всех курдских диалектах группы курмаджки, а также, по-видимому, в диалектах центральной группы см.: Р. Л. Цаболов, Очерк исторической фонетики курдского языка, М., 1976, стр. 34—35. Наличие *x^o* со слабым лабиальным фокусом отмечается также в ряде слов в кабули (дари). Автор благодарит В. А. Ефимова, указавшего на этот факт и предоставившего возможность прослушать эти слова от информанта.

тический облик действительно носит сложный характер артикуляция представляющих ее звукотипов осуществляется в двух далеко отстоящих и не гомоганных фокусах — увулярном и табальном, «работающих» далеко не всегда синхронно. Губная артикуляция может начинаться прежде увулярной и продолжаться более длительный отрезок времени, причем и образные и ти *u* образные сегменты бывают слышны до и после основной артикуляции, она может и просто опережать основную артикуляцию или отставать от нее, может быть более сильной (вылоть до *w* образной) заглушающей основную, и может заметно ослабляться.⁴

Таким образом в живых иранских языках даже при наличии фонетически данных, выводы о фонологическом статусе этого комплекса не всегда однозначны. В какой то мере этому способствует именно сложность, комплексность, несинхронность артикуляции его компонентов, однако немалую роль играют при этом, вероятно, и фонологические критерии, с которыми подводит к материалу сам исследователь.

Тем более сложна фонемная интерпретация аналогичного комплекса в мертвых древнеиранских языках засвидетельствованных только в графике далеко не всегда отражающей не только фонологический, но и фонетический строй языка⁵ а также в праязыковом состоянии, наблюдения над которым могут быть только косвенными.

Для того чтобы подойти к проблеме фонологической интерпретации этого комплекса в общеиранском состоянии, следует, по возможности, уточнить его фонетическую характеристику. Поскольку на основании письменных памятников сделать это невозможно, остается и здесь попытаться пойти косвенным путем — восстановить эту фонетическую характеристику на основании рефлексов данного комплекса в реально засвидетельствованных иранских языках. Наиболее удобна здесь позиция начала слова, где согласные в иранских языках подвергаются наименьшим изменениям. Рассмотрим некоторые соответствия.

1. «Сам», «свой» ав *hva-*, *x^va* (ср *x^vatō* «сам по своей воле», *x^vapaivda*, *x^vaeraivda* «собственный») др перс *iva* (ср *ivaipasiya* «собственный»), сак хот *havu*, *hivva*, *hivva* (косв пад *hvata*), тумш *havva* согд будд *ṛwty*, ср перс *x^vat* *x^vēš* турф *x^vēbaš*, класс перс *x^vad* *x^ves*, *xestan*, совр перс *xod* *xiš*, *xištan*, тадж *xud*, *xēš* «родственник», тат *xištæn*, курд Арм *xiə* курд Туркм *x^və*, бел *wat*, *wat*, тал *ʔstan* *ʔsta* гил *xi*, *xišan* маз *xēt*, *še*, диалекты полосы Кашана *xud* бахт *xas*, *xi* *xud*, *xīš* «родственник», сент *eštan* седеи, гази, кеур *xud*, шемер *xus*, абд *xī*, талах *wūže*, сив *fei*, осет ир *xəd*, диг *xwəd*, ягн *x^vat*, язг *xūd* [*x^vād*], шугн *xubaθ*, *xi*, ишк *xa(da)k*, *xi*, сангл *xe*, вах *xat* *xə*, мувдк *xay*, йидга *xoi*, пушту *xpəl*, пар *xi*, орм *xui*, *xwai*.⁶

⁴ В. С. Соколова Очерки по фонетике иранских языков ч. I стр. 93—98, ч. II стр. 71—72, 193—194. Ч. X. Бакаев. Говор курдов Туркмении. М. 1962 стр. 16, 19. М. Н. Боголюбов. Ягнобский язык (Языки народов СССР). I. М. 1966, стр. 344. А. Л. Хромов. Ягнобский язык, М. 1972 стр. 13. Д. И. Эдельман. Язгулямский язык, М., 1966 стр. 17.

⁵ Ср. различную фонетическую интерпретацию ряда графем в авестийском (например, в работах G. Morgenstierne Orthography and sound system of the Avesta, JATS, XII 1942 и G. L. Windfuhr Diacritic and distinctive features in Avestan JAOS, 91 1, 1971) и древнеперсидском (например в работах R. Kent Old Persian, New Haven 1953 и W. Brandenstein M. Mayrhofer Handbuch des Altperersischen Wiesbaden 1964) и др.

⁶ Слодный тип соответствия налицо и в образованных от этого корня словах с семантикой «собственный», «хозяйин», «господин», «бог» и других (например название мельницы в ряде восточноиранских языков, построенное по типу «само молка») однако, будучи культурными терминами, они могут заимствоваться и допускать фонетические перебои благодаря контактам с заимствованиями.

2 «Есть» ав x^{ar} -, сак $hvar$ ($hvida$ «он есть»), согд $\gamma w r$ -, $x w r$ (ср будд $\gamma w' y r$ -, ман $x w y r$ -, «кормить»), ср перс x^{ar} x^{art} , класс перс $x w a r$, $x w a r$ $x w a r d$, совр перс $x o r$ - $x o r d$, тадж $x \ddot{u} r$ - $x \ddot{u} r d$, тат $x a r$, курд Арм $x w \ddot{e}$ -, $x w i$ -($x \ddot{e}$ -) $x w a r$ ($x a r$ -), курд Туркм $x^{\text{o} \ddot{e}}$, $x^{\text{o} i}$ $x^{\text{o} a r}$, бел $w a r$ $w a r t$, таж $h a r$, гил $x u r$ -, заза $w a r$, бахт. $x \ddot{u} r$ $x u r d$, сив $u e$ $f o r d$, абд $x u r$ $x u v o r d$, телех $-i a r$ - $x v o r d$, зеф $x o r$ -, осет ир $x \ddot{e} r$, диг $x w \ddot{e} r$ -, ягн $x^{\text{o} a r}$, язг $x^{\text{o} a r}$ $x \ddot{u} g$ (прич $x^{\text{o} i g a g}$), шугн $x a r$ - $x u d$ (глагол $f u r$ -: $f u r t$ «хлебасть», по видимому, звукоподражательный), ишк $x a r$ $x u l l$, сангл $x w a r$ $x(w) o l$, мундж $x a r$ -, $x u r$ -, йидга $x o^{\text{r}}$ -, $x u r$ -, пушту $x u r$ - $x w a r$, пар $x a r$ $x \ddot{u} r$, орм $x(u) r$ $x u a l$ ⁷

3 «Стол для еды» «скатерть с кушаньем» ср перс x^{an} «накрытый стол с кушаньем», класс перс x^{an} , совр перс $x a n$ «накрытая скатерть», язг $x^{\text{an} \ddot{a} g}$ «доска для резанья продуктов, раскатки теста» ($*x^{\text{an}} + a h a$), руш $x a n a$ - $w u r d$ «скалка» (вторая часть из корня $*v a r t$ - «вращать») Осет ир $f \ddot{u} n g$, диг $f \ddot{u} n g \ddot{e}$, по мнению В И Абаева, — возможное заимствование из греческого скифского периода ⁸ (ср, однако, $f < *x^{\text{v}}$ в лексеме «сон») В согд. христ $p n$ «стол» p - возводится И Гершевичем к начальному $x w$ - ⁹

4 «Хотеть», «любить», «просить» (в ряде языков также «сватать») согд будд. $\gamma w y z$, христ $x w \ddot{z}$, ман $x w j$ -, ср -перс $x^{\text{w} \ddot{a} b}$ $x^{\text{w} \ddot{a} s t}$, класс перс $x^{\text{w} \ddot{a} h}$ $x^{\text{w} \ddot{a} s t}$ совр перс $x a h$ - $x a s t$, тадж $x o h$ - $x o s t$ кабули (дари) $x(w) \ddot{a} s t$, гил $x a$ $x a s t$, курд Арм $x w \ddot{a} s t$ ($x a s t$), курд Туркм $x^{\text{a} z}$ $x^{\text{o} \ddot{a} s t}$, ягн $x o h$ -, ишк $b \ddot{y} x o$ $b \ddot{y} x o s t$, пушту $x w \ddot{a} \ddot{s} a$ «желание», ср осет ир $a x o d \ddot{e} n$ $a x o s t$, диг $a x w a d u n$ $a x w a s t$, $a x u s t$ «вкушать», класс перс $x w a(i)$ «вкус», санг $x a i d$ «сладкий», бел $w \ddot{a} d$ «соль», курд Арм $x w e$, курд Туркм $x^{\text{o} e}$ «соль» ¹⁰

5 «Тесть», «свекор» ав x^{asura} -, класс перс $x w \ddot{a} \ddot{s} a$, тадж $x u s u r$, ягн $x u s u r$, язг $x^{\text{o} \ddot{e} s o r}$, шугн $x i s(s) u r$, вах $x u r s$, пушту $x u s a r$, пар $x a s u r$, орм $x \ddot{o} \ddot{s} a i$ и т д

6 «Теща», «свекровь» класс перс $x w \ddot{a} \ddot{s}$, совр перс $x o \ddot{s}$ -($d a m a n$), $x o s r u$, тадж $x u \ddot{s}$ $d o m a n$, кабули (дари) $x o \ddot{s} \ddot{u}$, курд Арм $x w \ddot{e} s i$, курд Туркм $x^{\text{o} \ddot{a} s i}$, воиш. $x e s \ddot{u} r a$, кохр $x a s r \ddot{u}$, кеш $x o r s \ddot{u}$, зеф $x o s \ddot{u} r i$, седеи $x u r s i$, гази $x o r s u$, авром $h a s i r u a$, бел $w a s s o$, $w a s i$, язг $x \ddot{u} x$, шугн $x i x$, ишк $x \ddot{e} \ddot{s}$, санг $x o \ddot{s}$, вах $\ddot{z} a \ddot{s}$, пушту $x w \ddot{a} \ddot{s} e$, пар $x u \ddot{s}$, орм $x u \ddot{s} i$, $x w \ddot{o} \ddot{s} i e$ Не исключено, что часть этих лексем в ягнобском, памирских, парачи заимствована из таджикского или контаминирована с заимствованиями

7 «Сестра» ав x^{ayhar} , сак $h w a r a$, согд будд $\gamma w' r h$, ман $x w' r$, парф $u x r$, ср перс x^{ahar} класс перс $v a h a r$, совр перс $x a h a r$, тадж $h o h a r$ (в говорах Бадахшана $x^{\text{w} \ddot{a} r}$), кабули (дари) $x w a r$, тат $x w a r$, таж $x o z a$, гил $x a x u r$, бел $g u a r$, курд Арм $x u s k$, курд Туркм $x^{\text{o} a}$, $x a n g$, заза $w \ddot{a} i$, $w \ddot{a} r a$, хури $f a r$, кешеи $x \ddot{u} h$, зеф $x o h$, бияб $x w a k a$, бахт $x \ddot{o} h e r$, абд $x u e$, лазг $h o u a k$, таджр $x w e r$, осет $x o$, ягн $x^{\text{o} o r}$, язг $x^{\text{o} a r \ddot{g}}$, шугн $y a x$, ишк $i z o$, вах $x y u$, мундж $y i x a$, пушту $x o r$ (мн ч $x w a n d i$), пар $x i$, орм $x w a r$ ¹¹

8 «Сон», «спать» — от корня $*x^{\text{w} \ddot{a} r}$

а) «сон» — ав x^{afna} -, сак $h u n a$, согд $\gamma w \beta n$, парф $x w m r$, ср перс $x^{\text{w} \ddot{a} \ddot{b}}$, $x^{\text{w} \ddot{a} m n}$ -, класс перс $x^{\text{w} \ddot{a} b}$, совр перс $x a \ddot{b}$, тадж $x o b$, кабули (дари)

⁷ Аналогичный тип соответствия в производных типа «пицца» («вкусный») («сладкий») и т д прослеживается практически по всем языкам

⁸ ИЭСОЯ I стр 498

⁹ I G e r s h e v i t c h A grammar of Manichean Sogdian Oxford 1954 стр 37

¹⁰ ИЭСОЯ I стр 90

¹¹ Отсюда образования — часто с более архаичной формой основы — со значе нием «племянник» («племянница») (построения типа «сестрон роженный») («сестры-сын», «сестры дочь»), например, курд $x u a r z$ осет ир $x \ddot{e} r \ddot{x} \ddot{e} f u r t$ диг $x i \ddot{x} \ddot{e} r i f u r t$, язг $x^{\text{o} e} r$, шугн $x e r$ и т п

xwab, *xau*, курд Арм *xəw*, курд Туркм *xəw*, *xəwn*, бел *wāb*, ил *xab*, гур *wart*, бахт *xōv*, *zoft*, диалекты полосы Кашана *xou*, йезди *xwarm*, авром *worm*, сив *fermo*, абд *xob*, осет ир. *ʃɒn*, диг *ʃɒn*, ягн *xɪtn*, *xɪvɒn*, язг *xɪdɒt*, шугн *xɪdɒt*, санг *xodɒt*, мундж *xubɒn*, йидга *xovɪn* *xobɪn*, пушту *xob* (заимств. ?), пар *xōt*, орм *xwaw*, *xwāb*,

б) «спать» — ав корень *xʰar*, сак *hus-*, согд *wʃs*, ср-перс *xʰafs* *xuft*, класс перс *xuspr-*, *xuft-* (во всяком случае, такова традиция чтения «вав» в этом слове), совр перс *xab- zoft*, тадж *xob xuft* тат *xɪs xɪsr*, тал *hʷte* курд Туркм *xʰaz-*, гил *xus- xuft*, бел *wasp wart*, бахт *xau xaus-*, сенг *xos- zoft* шемерз *xos xof*, седеи *xuft-*, гази *ɪyɒuss ɪyousso*, кеур. *oxus- oxuff*, сив *-ossi- fet*, абд *xʰass- xɪvat*, телал (*ɪ*)*as x(u)vat*, воннш *oxus- xuft*, кохр *xus- (avus-), xut*, кешей *xus- xut*, зеф *hevuss hevost*, осет ир *xwʰssɛn*, диг *xɪssun*, ягн *ɪfs- ɪfta*, язг *pxas pxovd* (ср *xʰab xʰabd* «усыплять»), шугн *ʃofc- xovd*, вах *ɣɪxɪr-*

9 «Солнце» ав *hʷarə-*, *xʰan*, согд буд *ɣwr*, ман *xur* ср перс *xʰarset*, класс перс *xʰaršed* совр перс *xoršid*, тадж *xuršed*, тал *haʃi*, хури *ʃar*, гур *war*, сенг *xōr*, телал *xwer*, *xɪvar*, кеур *xɪʃid*, зеф *xursid*, осет ир *xur*, диг *xor*, ягн *xur*, язг *xəwʷr*, шугн *xɪr*, руш *xor*

10 «Фарн», «фарр» (божественный символ царской власти) ав *xʰarənah-* «могущество», др-перс *farnah-*, сак *phārra*, согд *frn*, *prn*, класс. перс *farr*, осет ир *ʃarn*, диг *ʃarnæ*

11 «Хороший», «красивый» ав *xʰa-*, *hu-* (также *hʷ-*, ср *hʷ-arah* «хорошо работающий»), др-перс *hu*, сак тумш *hvesta-* «лучший», согд *ɪ ɣš*, *ɣwš*, *ɣwš-* «веселье, веселый», будд *ɣwb*, ман *xwr* «хорошо, хороший», ср-перс *xʰaš*, *xʰar* (или *xɪr*), класс перс *xub*, *xvaš* (или *xuš*), совр перс *xub*, *xos* тадж *xub*, *xuš*, тат *xub*, курд Арм *-xwəš* (*xəš*) курд Туркм *xʰaš*, гил *xob*, *xuš*, бет *waš*, гур *waš*, бахт *xəš*, вон *xeb*, кешей *xub*, зеф *xob*, *xōš* сенг *xūš*, телал *xoss*, *xovš-* и т д, осет ир *xo-*, диг *xwa-* (в *xorz/ xwarz*), ягн *xuš*, *xub*, язг *xasa*, пушту *xwaš*, орм *xuš*, *xwas* (часть лексем, очевидно заимствована из персидского и таджикского)

12 «Читать», «призывать», «говорить», «учиться» ав *xʰan*, сак тумш *hʷan*, хот *hʷai-* *hʷata*, ср-перс *xʰan-*, класс перс *xʰān* *x and*, совр перс *xan-* *xand*, тадж *xon-* *xond*, тат *xun-* *xund*, курд Арм *xwən* *xwand* (*xan-* *xand*), курд Туркм *xʰan-* *xʰand*, гил *xan* *xand*, диалекты полосы Кашана *xun-*, бахт, сенг *xūn*, сив *xōn*, абдуи *xun* *xvand* телал *xvan*, тат *han*, бел *wan* *want-*, осет ир *xonɒn*, диг *xonɪn*, язг *xʰan-* *xʰant*, пушту *xan* *xwan-*, пар *xān-*

13 «Давить», «молотить», «бить», «колотить» ав *xʰahaya-* «теснить давить» *xʰasta-* «побитый, молоченный», сак *hʷai-* *hʷasta* согд будд *ɣw y-* «бить», ман *-xw y- xwst-*, ср-перс *xʰah-* *xʰast* «топтать мять», гази, кешей *ohun*, зеф *āhu* «гумно», бахт *axɪ* «молотьба», осет ир *xoɣɪn*, диг *xɪayɪn* «стучать»¹², ягн *xʰay-* *xʰasta* «молотить», *xʰay* «зерно во время обмолаота» язг *xʰayn* «молотьба», шугн *xay* *xust*, ишк *xɣy-* *xɣyd* сангл *xay* *xɪd*, йидга *xai* *xast*, орм *xay-* *xust* «молотить»

14 «Обиженный», «униженный», «презренный» ав *x ara-* «рана», ср перс *xʰār* класс перс *xʰar*, совр перс *xar*, тадж *xor* тат *xar*, курд Арм *xuar* (*xar*) курд Туркм *xʰar*, бахт *xor*, осет ир *ʃɣxærɪn*, диг *ʃɣxwæɣɪn* «обидать», пушту *xwār* «бедный жалкий», *xwarawəl* «обижать, унижать» Ср также пушту *xwar* «кора, короста, струп, колыца, чешуя», осет ир *xælmag*, диг *xwælmag* «струш»

15 «Маленький», «мелкий» ср перс *xʰartak*, класс перс *xward*, совр перс *xord*, тадж *xurd*, кеур *xurde*, сив *ʃurd*, пушту *wor* и т п.

¹² Подробнее см. Э. Б. Ефендиш, Очерки по осетинскому языку М 1965, стр 56—57

16 «Пот» «потеть» ав $x'aēda$ - «пот», $x'aed-$ $x'isa$ - «потеть», согд будд. $yūys$ - «потеть», ср перс $x'ēh$, $x'ist(ak)$ «вспотевший», класс перс $xvāh$, $xvay$ «пот», $xvayidan$ «потеть», совр перс xey , бел $hēd$, курд $xodan$, $xwedan$ «пот», язг $x'id$, шугн $xēd$, сар $xayd$, сангл $xair$, вах xil , йидга xul , пушту $xwala$, пар $xālo$, орм $xola$

Как показывают приведенные примеры, рефлексы начального комплекса в подавляющем большинстве случаев указывают на фонетический прототип в виде $*x^v$ или $*xv$ и лишь в единичных лексемах, в основном, по северо-западным языкам, притом нерегулярно, можно предположить форму $*h^v$ или $*h$

В авестийском языке в ряде лексем отмечается изображение этого комплекса с графемами для h и для x , при том, что в ранней традиции используется единый знак для x^v , а аналитическое написание с графемой для h является более поздним¹³ Древнеперсидский же материал нуждается в дополнительной интерпретации. Графемы uv , u могли отражать здесь x и h в сочетании с лабиальностью. На отчетливость лабиального элемента и на одновременность, а не последовательность работы обоих фокусов (т.е. на артикуляцию типа $[x^v]$, а не $[xw]$) в древнеперсидском, по-видимому, указывает и эламская передача рассматриваемого комплекса, как и фонемы v , посредством m ¹⁴

Материал сакского языка не показателен, поскольку в его графике не было специального знака для x , и знак h обозначал здесь и h , и x (даже в тех случаях, где звучало несомненное x $raha$ - «сваренный», ср пушту rox ¹⁵, язг $rax^o < *raxva$ -, др -инд $prakva$ -)

Парфянское отражение в виде wx (см пример 7) и согдийское wy (пример 11) может свидетельствовать как о двухфонемном комплексе xw , yw с последующей метатезой¹⁶, так и о графической традиции изображения диграфа фонемы $*x^v$. Дело в том, что отсутствие синхронности двух артикуляционных фокусов зачастую мешает и носителям современных языков осознать $/x/$ как нечто единое, и при просьбе записать то или иное слово с лабиализованной согласной они (будучи грамотными на другом — литературном языке) изображают лабиализованную как последовательность Cw , wC , wCw и Cw и т.д.¹⁷

Таким образом, рефлексы в живых языках и некоторые данные письменных памятников указывают на то, что их прототипом был звуковой комплекс, который в наиболее древнюю эпоху мог звучать приблизительно как $x^v h$ или $xv hv$, однако очень быстро практически почти по всему иранскому ареалу (кроме, возможно, отдельных северо-западных диалектов) закрепилось его произнесение, по-видимому, типа $*x^v$. Очень раннее почти повсеместное произнесение этого комплекса именно с элементом $*x$, а не $*h$ подтверждается еще и тем, что факты более позднего перехода $*h > x$, наблюдаемые в западноиранских языках (а также случаи возникновения здесь протетического x), далеко не всегда находят свою аналогию в восточной группе (совр перс $xošk$ «сухой», но язг $walk$, пушту $wič$ и т.д., ср ср-перс $hušk$, др-перс $uška$ -, ав $huska$ -, др-инд $suska$ -, совр перс. $xers$ «медведь» но язг $yûrx$, пушту $yaž$ и т.д., ср ав $arša$ -, др-инд $řkṣa$ -)

¹³ G L Windfuhr, указ соч, стр 115

¹⁴ См, например W Hinz Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferung, Wiesbaden, 1975, стр 137—139

¹⁵ H W Bailey, Languages of the Saka, «Handbuch der Orientalistik Abt I, Bd IV Iranistik Abschn I Linguistik», Leiden — Köln, 1958 стр 140

¹⁶ См D N MacKenzie Notes on the transcription of Pahlavi, BSOAS XXX pt 1, 1967 стр 26, примеч 29

¹⁷ Именно такое изображение наблюдается в записях язгулямцами (грамотными по таджикски) лабиализованных согласных в язгулямских словах

При дальнейшем развитии этого комплекса в основном в некоторых западноиранских языках, в ряде слов его лабиальный элемент, усиливаясь, «заглушил» более задний, что обусловило рефлекс типа *w*¹⁸ Это произошло в большинстве случаев в белуджском, в авромани, гурани, заза и ряде слов в телухедешки В сивенди, хури на его месте наблюдается *f*, как и в отдельных лексемах в осетинском, что встречается аналогии во многих языках мира (ср русск диалект *Хведор, фороств*) Почти фронтальное *f* в слове «фарн», заимствованном, очевидно, из мидийского в древнеперсидский и затем в другие языки, связано с вложением слова в сакральную текстику, канонизирующую определенный тип произнесения

В ряде языков этот комплекс сохранился практически в том же виде, выступая (во всяком случае, фонетически) в виде *x^o*, *x^w* в дигорском диалекте осетинского, говорах курдского, в ягнобском, язгу иямском, пушту, а в отдельных случаях — и в других языках

Во многих языках происходит его делабиализация и он отражается как *x* и — изредка (например, в белуджском перед **i hēd* «пот», в «малых» языках Ирана) — как *h*, а в единичных случаях наблюдается его расчленение (например, белудж *gwar* «сестра», где *gw* < **x^v*, или **x^w*, язг. *xəwīr* «солнце», где *xəw* < *xw* < **x^v*) или более сложные преобразования (например, в язг *pas-* «спать» < **x^vapsa-* с возможной метатезой **p* и поглощением им затем губного элемента **x^v*, ср, впрочем, отражение **x^v* в виде *px-* в форме прошедшего времени этого глагола *pxovd* < **x^vapta-*, где метатезы **p* не происходило)

Различные по делабиализации рефлексy этого комплекса в близко родственных языках и даже диалектах (язгулямский ~ шугнано рушанская группа, дигорский и иронский диалекты осетинского) свидетельствуют о том, что делабиализация произошла здесь сравнительно недавно Для персидского и таджикского языков недавнее наличие лабиального элемента подтверждается существованием его графического отражения в языке классического периода, а также сохранением его в ряде слов в кабули (дари) Характерны закономерности делабиализации в этих языках лабиализованный в соседстве с долгим гласным утрачивает лабиальность бесследно, в соседстве с кратким — передает ее обычно краткому класс перс *x^vēš* ~ совр перс *xiš* «свой», класс перс *x^vāhar* ~ совр перс *xahar* «сестра», но класс перс *x^vad* ~ совр перс *xod* Любопытно, что это правило действовало и прежде — при делабиализации среднеперсидского среднего и конечного *x^v*, в том числе и вторичного ср перс *passax^v* «ответ» < **pati-sax^van* ~ совр перс *pasox*, ср -перс *sax^van* (ср ав *sax^van-*, *sax^var-*) ~ совр перс *soxan* (возможно, сюда же относится и основа прошедшего времени перс *poxt* «сварил», связанная не с **paxta-*, а с **paxva* + + поздним *-*ta*, ср др -инд *pakva-*, при отражении *a* в основе настоящего времени *paž-* < **pača-* из корня **pak-*)

Таким образом, рассматриваемый древнеиранский комплекс отражился в современных языках разными звуковитипами с различным фонологическим статусом, давшими основания выявить фонетическую характеристику этого комплекса **xw* или **x^v* (и в редких случаях — для северо-запада, — по-видимому, **hw* или **h^v*) Исходя из этих данных, можно обратиться к его фонологической интерпретации

Древнеиранская фонетическая система была подвергнута фонологическому анализу (в современном понимании этого термина) только в последнее время¹⁹, причем данный комплекс рассматривается как сочетание двух

¹⁸ Ср G Morgenstierne *Stray notes on Persian dialects*, NTS, XIX, 1960 стр 135

¹⁹ См E Benveniste, *Le système phonologique de l'iranien ancien*, BSL, t 3, fasc 1 1968 стр 61

фонем *hv* При этом предлагается следующее фонологическое обоснование а) двухфонемная интерпретация этого комплекса соответствует внутренней структуре системы, которая допускает отдельное существование *h* и *v*, б) этот комплекс соответствует древнеиндийскому сочетанию двух фонем *sv*

Такая аргументация вызывает сомнения как с точки зрения методики выделения фонем, так и с точки зрения интерпретации самого материала

С точки зрения методики по первому пункту напрашивается следующее возражение известно что в отдельных живых иранских языках — ягнобском и курдских диалектах — при наличии в фонологической системе консонантов *x* *h*, *w*, *v* вычлняется отдельная фонема *x^o* Таким же образом в язгулямском наличие фонем *k*, *g*, *x*, *x*, *γ*, *q*, *w*, *v* не препятствует самостоятельному фонологическому статусу лабиализованных *k^o*, *g^o*, *x^o*, *x^o*, *γ^o*, *q* Следовательно, отдельное существование в древнеиранском фонем *x*, *h*, *v* не исключает статуса самостоятельной фонемы *x^v* (или *x^{o/h^v}*)

Следует отметить, что стремление «снять» с фонемного уровня звукотипы комплексной артикуляции на основании наличия в системе данного языка соответствующих «простых» фонем свойственно фонологическим концепциям ряда лингвистических школ В частности, в работах американских дескриптивистов, в том числе и по иранским языкам, из числа фонем исключаются аффрикаты, объявляемые консонантными группами (clusters), например $c = t + š$, $c = t + s$, $j = d + ž$, $z = d + z$ и т д²⁰ В тех трудах, где они все-таки включаются в число фонем, авторы доказывают их фонематичность сложнейшими дистрибутивными и системными выкладками, однако все-таки считают их — на фонетическом уровне — последовательностями звуков (sequences)²¹ Аналогична трактовка аффрикаты у А Мартине²², что, возможно, повлияло на отношение отдельных лингвистов к другим звукотипам комплексной артикуляции — лабиализованным

Думается, что такой подход к аффрикатам — искусственное построение «бумажной фонологии» Обращение к фактам реальной фонетики показывает, что артикуляционные и фонетические свойства аффрикат отнюдь не являются механической суммой или последовательностью соответствующих характеристик смычного и щелевого звукотипов оба компонента выступают здесь в значительно измененном виде²³

Анализ лабиализованных согласных в живых иранских языках показывает что здесь лабиальная и заднеязычная или вулярная артикуляции тем более не следуют механически друг за другом, а, налагаясь друг на друга, выступают в несколько отличном виде от артикуляции губных фонем и заднеязычных или вулярных фонем в отдельности Следовательно, такое различие могло иметься и в общеиранском В этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что в отличие от обычного **h*, которое в древнеиранском в свободной позиции соответствовало древнеиндийскому *s*, в артикуляции рассматриваемого комплекса даже в очень раннюю эпоху выступал какой то более продвинутый вперед глухой щелевой элемент,

²⁰ См например JH Penz, A grammar of Pashto a descriptive study of the dialect of Kandahar, Washington, 1955, стр 16—18

²¹ См, например Г Глисов Введение в дескриптивную лингвистику, М, 1959, стр 255, 271 E N Mesars A Kurdish grammar (descriptive analysis of the Kurdish of Sulaimaniya Iraq), New York 1958, стр 12, 17—18

²² См например А Мартине, Основы общей лингвистики «Новое в лингвистике», III, М, 1963 стр 431—432

²³ См детальный фонетический анализ персидских аффрикат и сопоставление их с консонантными группами Ш Г Гаприндашвили, Дж Ш Гиунашвили, Фонетика персидского языка, I Звуковой состав Тбилиси, 1964, стр 130—135, 148—152, 159

что подтверждается очень быстрым и почти фронтальным продвижением фокуса произнесения этого элемента в увулярную или заднеязычную зону. Немаловажно при этом также свидетельство одновременности работы обоих фокусов и отчетливого звучания губного элемента с самых начальных сегментов этого комплекса в древнеперсидском в виде передачи его эламским *m*, — черт, которые могли быть свойственны общепиранскому. Таким образом, и по чисто фонетическим качествам этого комплекса, его невозможно приравнять к сумме $h + v$.

Что касается второго аргумента — соответствия рассматриваемого древнеиранского комплекса сочетанию двух фонем ($s + v$) в древнеиндийском, то можно привести много примеров на соответствие одного звука или фонемы в одном языке группе звуков или фонем в другом. Ср., например, ягн. *waxin*, пушту *wina*, язг. *x̌an*, вах. *wax̌an*, ишк. *wep*, сив. и хури *ḫin*, перс. *xin* и т. д. «кровь», где комплексу *wax*, *wax̌* одних языков соответствуют отдельные звуки или фонемы (*w*, *f*, *x*, *x̌*²⁴) в других; ср. также мундж. *xšawâ*, ягн. *xišap*, пушту *šab*, тадж. *šab* и т. д. «ночь» (*xš*, *xiš* ~ *š*, *š*); тадж. *kard*, вах. *kərt*, язг. *kəg*, шугн. *čūd*, ишк. *kūll*, йидга *kəḡ* и т. д. «сделал» (*rd*, *rt* ~ *g*, *d*, *ll*, *r*). Число таких примеров можно увеличить до бесконечности. Это лишь дополнительное доказательство того, что соответствие одной фонемы в одном языке группе фонем в другом вполне возможно. Следовательно, наличие в древнеиндийском группы фонем *sv* не противоречит возможности существования в общепиранском состоянии в этих лексемах единой фонемы.

С точки зрения интерпретации материала, анализ фонетической сущности данного комплекса, выявляющий, как уже говорилось, не ларингальный *h*, а значительно более продвинутый вперед звукотип (при возможной одновременности артикуляции с ним губного элемента), также препятствует отождествлению его с последовательностью *hv*.

Таким образом, присоединяясь в целом к отчетливо сформулированному еще Хр. Бартоломе мнению о том, что этот комплекс представлял собой в общепиранском единый лабиализованный «гutturальный» звук²⁴, мы можем лишь добавить, что в самый ранний период он мог быть не «гutturальным», а звуком несколько более заднего образования (но не чисто ларингальным), и что он представлял собой самостоятельную фонему.

По-видимому, самостоятельный фонологический статус этот звукотип (при всей его комплексности) имел в ряде языков (авестийском, древне- и среднеперсидском, классическом персидском и др.) и в более поздний период.

²⁴ Chr. Bartholomae, Vorgeschichte der iranischen Sprachen, «Grundriss der iranischen Philologie», I, Abt. 1, Strassburg, 1895—1901, стр. 37.

ПАХАЛИНА Т. Н.

О РОЛИ *i*-УМЛАУТА В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВОКАЛИЗМА
ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Под *i*-умлаутом имеется в виду явление уподобления по признаку ряда гласного исторически предшествующего слога гласному **i* или **y* последующего слога. В данном случае нас интересует прежде всего влияние гласного **i* или полугласного **y* конечного (для древнеиранского, следовательно, и безударного) слога на гласный предшествующего ударного слога. Для древнеиранского вокализма, если исходить из принятого исследователями его восьмифонемного состава гласных (шесть монофтонгов и два дифтонга), речь может идти, стало быть, о влиянии исторических **ī* или **y* на гласные смешанного ряда **ā*, *a*, на гласные заднего ряда **ū*, *u*, на гласные переднего ряда **i*, *i* и на дифтонги **ai* и **aī*.

Нельзя сказать, чтобы до настоящего времени в иранистике не отмечалось это явление. Даже беглый просмотр литературы подтверждает это. Так, например, для авестийского языка еще Х. Бартоломе отмечал явление эпентезы¹, ср. ав. *ma'nyav*- «мысль», *ma'rya*- «юноша», *va'ri*- «море», *va'di*- «оросительный канал», *ma'dya*- «середина», *a'rya*- «арийский», *za'ri*- «желтый», *dū'rē* сравнительная степень от *dūra*- «далекий, далеко», *ahu'rya*- «ахуровский», *baō'di*- «ароматный».

На различную графическую передачу в авестийском др.-ир. **ā* в зависимости от согласного окружения, а также на явление *i*-умлаута указывал и Г. Моргенштерне². Им, в частности, было подмечено, что в ряде слов др.-ир. **ā* в положении *i*-умлаута передается в языке Авесты знаками *ā̄* (ср. ав. *īāni*- наряду с *janī*- «жена, женщина»), *e* (ср. ав. *ye'di* «если, когда»), *i* (ср. ав. *yim* — др.-инд. *yam* косвенная форма местоимения «какой, который»). Г. Моргенштерне отмечал также факультативность знака эпентезы. Анализ авестийского материала показывает, что в одних и тех же фонетических позициях и даже в одном и том же слове знак эпентезы может быть и может отсутствовать, ср., например: *manyav*-/*ma'nyav*- «мысль», *pariy*/*pa'ri* «передний, впереди, ранний, раньше», *patay*/*pa'ti*- «господин», *janī*- «жена, женщина», но *ja'ni* «убивающий», *anya*- «другой», но *ka'nyā* «девушка», *ra'di* «путь, дорога», но *pa'dya*- «причастный к чему-либо», *vātya*- «относящийся к ветру», но *va'ti*- в *va'ti-gaēša*- название гор и др.

Такая непоследовательность в употреблении эпентезы в языке Авесты заслуживает внимания. Думается, что вряд ли это можно было бы истолковать как чистую случайность или небрежность писца, даже если учесть то, что язык Авесты письменно был зафиксирован уже тогда, когда он не был живым языком. Вряд ли также можно допустить, чтобы в одном и том же фонетическом положении или в одном и том же слове гласный **ī* или **y* последующего слога иногда оказывал влияние на гласный **ā* или **ū*

¹ Ch r. Bartholomae, Awestasprache und Altpersisch, «Grundriss der iranischen Philologie», 1, Abt. 1, Strassburg, 1895—1901.

² G. Morgenstierne, Orthography and sound-system of the Avesta, NTS, XII, 1942.

предшествующего слога, а иногда нет. Это явление, несомненно, носило системный характер. Можно говорить о том, что это влияние могло быть большим или меньшим в зависимости от фонетических условий или, может быть, от говорной принадлежности (хотя для языка канонического текста священных книг Авесты последний фактор маловероятен), но то, что оно было, несомненно. Очевидно, тут нужно предположить другое, а именно: наличие или отсутствие эпентетического *i* не было определяющим в варьировании гласных **ā*, **ī*. Основной и, так сказать, постоянно действующей причиной варьирования **ā* или **ī* был гласный переднего ряда **i* или полугласный **y* последующего слога, т. е. в данном случае имела место регрессивная ассимиляция на расстоянии, выражавшаяся в продвижении гласного **ā* или **ī* вперед (ср. аналогичное явление в германских языках, например, нем. *Buch* «книга» — *Bücher* «книги», *Hand* «рука» — *Hände* «руки»). Именно такого типа переднерядные варианты др.-ир. **ā* и **ī* в положении *i*-умлаута, т. е. **ā̄*, *ā̄* и **ī̄*, *ī̄*, и были, вероятно, исходными для той гаммы рефлексов, которую мы обнаруживаем для этого случая в различных иранских языках как среднего, так и нового периодов.

Как известно, существует и другая точка зрения на механизм действия *i*-умлаута. В частности, некоторые исследователи влияние *i* или *y* последующего слога на гласный предшествующего слога сводят к образованию эпентетического дифтонга, который потом превращается в монофтонг. Препятствием для такого толкования механизма действия *i*-умлаута является факультативность эпентетического *i*. А кроме того, в таком случае мы, вероятно, вправе были бы ожидать появления эпентетического дифтонга (а затем и соответствующего монофтонга) и при *u*-умлауте от **ā*, чего, как показывает языковой материал, не произошло, ср., например, ав. *dā^uru-* «дерево; древесина» (др.-перс. *dāru-*, н.-перс. *dār*, шуги. *dōrg*, язг. *derkī*, ишк. *dbrk*). Думается, что механизм действия умлаута в одном и том же языке не мог зависеть от качества конечного гласного. Вероятнее все же, что действие его в любом случае было одинаковым в языке. Эти обстоятельства склоняют нас к тому, чтобы видеть в *i*-умлауте именно явление регрессивной ассимиляции. В пользу этого предположения свидетельствует, как нам представляется, и анализ рефлексов др.-ир. *i*-умлаутных **ā* и **ī* в иранских языках.

Из языков среднеиранского периода следы *i*-умлаута от **ā* отмечались исследователями в сакском и среднеперсидском языках. Так, С. Конов в одной из своих работ по сакскому языку, описывая гласные этого языка, пишет: «... мы можем отметить обычную *i*-окраску перед *i* и *y* (умлаут), параллель для которой имеется и в Авесте»³. На месте др.-ир. **ā*, а в положении *i*-умлаута им отмечены такие гласные, как *ā̄*, *ā̄*, *ē̄*, *ē*, *ī̄*, *ī*. Не исключена возможность, что гласный тип *ā̄*, *ā̄* полностью совпадал по качеству с основным исходным вариантом древнеиранских *i*-умлаутных **ā*, *a*.

Как уже упоминалось, следы *i*-умлаута от **ā* отмечались исследователями и в среднеперсидском языке. В очерке среднеперсидского языка К. Г. Залемана⁴ приводятся в качестве примера такие слова, как *mē-yān*⁵ (ав. *ma'iyāna-*) «срединный», *mēnōk* (ав. *ma'nyava-*) «духовный», *ērān* (<**aryānām*) «Иран», *mērak* (<**maryaka-*) «юноша», *vēh* (ав. *vahyah-*) «лучше», ср. также *jēh* «женщина» (ав. *Jahi-*) и др. Следы *i*-умлаута в среднеперсидском языке не могут не свидетельствовать, как нам представляется, о том, что влияние др.-ир. **ī*, **ȳ* на гласный предшествующего слога су-

³ С. К о н о в, Primer of Khotanese Saka, Oslo, 1949, стр. 22.

⁴ «Grundriss der iranischen Philologie», 1, Strassburg, 1895—1901.

⁵ Долгота, возможно, чисто графическая, поскольку специального знака для краткого *e* не было.

ществовало и в древнеперсидском языке, хотя графически это не нашло отражения ⁶.

Как можно видеть из приведенных выше примеров, перегласовка в среднеперсидском языке имела место даже в тех случаях, когда в языке Авесты она не отражена. Встречаются и обратные случаи, т. е. когда в авестийском отражен *i*-умлаутный вариант **ä*, а в среднеперсидском как будто нет следов перегласовки, ср., например, ав. *pa'ti* — ср.-перс. *pat* предлог, ав. *za'rita-* — ср.-перс. *zart* «желтый», ав. *fra-za'nti-* — ср.-перс. *frazand* «ребенок», ав. *da'n̄hupa'ti-* — ср.-перс. *dehpat* «правитель». Большой интерес в связи с этим представляют парфянские заимствования в армянском, ср., например, арм. *-pet* в *mogpet* «магупат» ⁷ при ср.-перс. *-pat* в *magapat* (ав. *pa'ti*- «господин»). Означает ли это, что в одних словах или в одном случае у одного и того же слова имела место перегласовка, а в других — нет. Думается, что не означает. Влияние исторических **ī*, **y* на гласный предшествующего слога **ä* имело место во всех случаях. Но если рефлекс *ë* является как бы очевидным следом *i*-умлаута, поскольку он необычен (и потому специфичен) для отражения древнеиранского **ä*, то рефлекс *ä* ⁸ не является таковым, поскольку в среднеперсидском, как известно, любое др.-ир. **a* отразилось как *ā*, а др.-ир. **a* — как *a*. И тем не менее это, как нам представляется, хотя и затемненный, но все же след *i*-умлаута. Дело в том, что это *ä* в данном случае не является прямым продолжением др.-ир. **ä*. Оно как бы вторично, поскольку представляет собой результат развития древнеиранского *i*-умлаутного варианта **ä*, т. е. гласного типа **ǟ*, *ǟ*. Отсюда мы можем предположить, что исходный *i*-умлаутный вариант др.-ир. **ā*, *ā*, т. е. **ǟ*, *ǟ*, в процессе своего развития мог не только сужаться по подъему, но и отодвигаться назад по ряду, сливаясь в определенные периоды своего развития с существовавшими уже в языке фонемами другого происхождения. Это свойство исходного древнеиранского *i*-умлаутного **ǟ* и послужило основой для возникновения столь многообразных по качеству рефлексов этого гласного в современных иранских языках.

В связи со среднеперсидскими рефлексами древнеиранского *i*-умлаутного **ǟ*, т. е. *ë* и *ǟ*, хотелось бы обратить внимание еще на следующий момент: сравнительная отдаленность по качеству этих рефлексов от исходного *i*-умлаутного варианта древнеиранского **ǟ*, т. е. от **ǟ*, *ǟ*, может служить подтверждением мнения исследователей о том, что засвидетельствованный в известных нам памятниках среднеперсидский язык отражает сравнительно позднее состояние на фоне среднеиранского языкового периода в целом, т. е. что среднеперсидский более близок к новоперсидскому.

Из современных иранских языков следы *i*-умлаута представлены как в языках западной группы, так и восточной. Отмечая это явление для осетинского языка при пояснении причины отражения др.-ир. **a* в слове *mīd/med* «внутри, внутренний» (из др.-ир. **madya-*) через гласные переднего ряда, В. И. Абаев пишет: «Огласовка *ī/e* указывает, что осетинский отражает форму с эпентезой **ma'īdya-*» ⁹. Другие типы рефлексов древнеиранского *i*-умлаутного **ǟ*, встречающиеся в осетинском, а именно *ä* и *a* (ср.

⁶ По этому поводу см.: W. Grandenstein, M. Maughofer, Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden, 1964.

⁷ Н. Нübсhман, Armenische Grammatik, I, Leipzig, 1895.

⁸ Графема *a*, употребляемая исследователями при транскрибировании среднеперсидских слов, чисто условная: на письме в этих случаях вообще отсутствует какой-либо знак, поэтому можно предположить, что реально в этом случае мог быть и передний гласный нижнего подъема.

⁹ В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка. II, JL, 1973, стр. 114.

nal «самец» < **narya-*, *waz* «тяжесть, вес» < **wazyā-*, *warcc* «перепелка» — др-инд *vartikā*, *kard* «нож» < **karti-*, *acc* «утка» — др инд *ātī-* «водяная птица»¹⁰) слились с рефлексами др-ир **a*, *a* не *i*-умлаутного происхождения (ср осет *fad* «нога» < **pāda-*, *fad* «след» < **pada-*)¹¹

Следы *i*-умлаута от **ā* имеются также в ягнобском языке *zërta* «желтый» (ав *zārīta-*), *weš* «трава» < **wāstrya-*¹² (ав *vāstra-*), *pīel* «капкан» < **paḍya-* (ср подтверждающее такое толкование шугн *rēb*, язг. *paḍ*, вах *rōb* «западня»), *véške* «наружу» — др-инд *bahūh* «снаружи», согд *bys*¹³, *pīn-* в слове *pīnoč* «жены многоженца по отношению друг к другу» < **paḍni-* (ав *paḍnī-* «госпожа») Так же, как и в осетинском языке, в ягнобском на месте древнеиранского *i*-умлаутного **ā* представлены такие гласные, которые характерны и для др-ир **ā* не *i*-умлаутного происхождения, т е гласные *a*, *o*, ср, например *kort* «нож» < **kārti-* (при *virot* «брат» < **bratar-*), *morti* «мужчина» < **martiya-*, *γar* «гора» < **gari-* (при *das* «десять» < **dasa-*)

Следы *i*-умлаута имеются также и в пушту, ср, например *mer* «муж» < **marya* (при *las* «десять» < **dasa-*), *hilay* «утка» (у Г Моргенштерне — *helaī* < **aḍya-ki*¹⁴) < **ātī-ki-* (др-инд *ātī-*), *-veḡd* в *sar veḡd* «подушка» (др инд *barhūh*, ав *bar²ziš-* «подушка»), *žer* «желтый» (ав *zari-*), *meyanz* «середина» < **madyana-* и др Наряду с такими очевидными рефлексами древнеиранского *i* умлаутного **a*, какими являются гласные *e*, *i*, в пушту в этом случае встречаются также гласные *ā*, *a* (ср *wāla* «арык» < **wadi-* *γar* «гора» < **gari-*) и гласный *ə* (ср *ban* «жена многоженца по отношению к другой жене» < **paḍni*, *xpəl* «сам» — ав *x^vaē-pati-* «сам»)

В таких языках, как персидский и таджикский, для которых не был характерен переднерядный тип развития *i* умлаутного **ā*, следы *i*-умлаута от **ā* наиболее трудно распознаваемы, поскольку др-ир **ā*, как *i*-умлаутного, так и не *i*-умлаутного происхождения, в процессе своего развития слились в этих языках, т е любое др-ир **a* в персидском отразилось как *a*, в таджикском как *o*, а др-ир **a* в персидском дало *a*, в таджикском — *a*. Но тем не менее очевидные следы *i* умлаута можно обнаружить и в этих языках ср, например, перс *bih*, тадж *beh* «хороший» (ав *vahya-*, ср-перс *vēh*)

Более широко, по-видимому, представлены следы *i*-умлаута от **ā* в северо-западных иранских языках, в частности в курдском, ср *mer* «мужчина» < **marya-* (при *dəh* «десять» < **dasa-*, *dəst* «рука» < **zasta-*), *drež* «длинный» < **drajya-*, *meš* «муха» — ав *maxši-*, *həwe* «жена многоженца по отношению к другой жене» < **ham-paḍni-* (ав *paḍnī* «госпожа»), *tin* — основа настоящего времени глагола «оставаться» — ав *manya-* (ср *ta* — основа прошедшего времени того же глагола < **mata-*) и др

Но наиболее богаты рефлексами древнеиранского *i*-умлаутного **ā* памирские языки В них в качестве фонем представлены почти все основные типы гласных, отмеченные Л В Щербой в его классификационной таблице¹⁵ Различная комбинация этих рефлексов по языкам создает специфику каждого из них Для языков шугнано рушанской группы, язгулямского и в какой-то степени для мунджанского эти рефлексy впервые были выявлены В С Соколовой¹⁶ Проведенный нами анализ материала ва-

¹⁰ См указ словарь, т I (М — Л, 1958) и II

¹¹ Там же, I, стр 427

¹² М С Андреев, Е М Пещерова, Ягнобские тексты, М — Л, 1957

¹³ Там же

¹⁴ См Г Morgenstierne, указ соч, стр 263

¹⁵ См Л В Щерба, Фонетика французского языка, 3 е изд, М, 1948, стр 283.

¹⁶ См В С Соколова, Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы, Л, 1967, е е ж е, Генетические отношения мунджанского языка и шугнано язгулямской группы, Л, 1973

ханского и ишкашимского языков позволил выявить соответствующие рефлексы и для этих языков¹⁷ Ниже приводим перечень рефлексов древнеиранских *ι*-умлаутных **ā*, *a* в каждом из памирских языков

1) шугнано-рушанская группа *æ*, *ē*, *ē*, *ī*, *ι*, реже — *ā*, *a* *ō*, *o*, *ō*;
 2) язгулямский язык *ā*, *a*, *ι*, реже — *e*, *ə* и очень редко — *o*,
 3) мундланский язык *a*, *a*, *ə*, *e*, *ι*, реже — *o*,
 4) ишкашимский язык *ι*, *e*, *o*, реже — *a*,
 5) ваханский язык *ā*, *ə*, *ā*, *a*, *ō*, *o*, реже — *ι* Правда, следует сказать, что не все эти гласные характерны только для положения *ι*-умлаута Так, например, гласные *ā*, *ō* почти во всех памирских языках встречаются также и на месте др-ир **ā* не *ι*-умлаутного происхождения То же самое можно сказать и о бартангском гласном *o*, рушанском *o*, шугнанском *ī* Приводим в качестве примера несколько слов по языкам

1) др-ир **wadī* (ав *va di* «оросительный канат») шугн *wēd*, руш, хуф *wed*, барт, орош *wod*, сар *wod*, язг *wād*, мундж *wela*, ишк *wid*, вах *wod/d* (ср шугн руш *virod*, язг *ved*, мундж *vroy*, ишк *vrud*, вах *vryt* «брат» < **brātar*),

2) др-ир **karti-* «нож» шугн *čēd*, руш, хуф барт, орош *čēg*, сар *čog*, язг *kag* (последнее с несколько другим значением, а именно — «меч»), мундж *kera*, ишк *kel*, вах *kēž*,

3) др-ир **padya* «западня, ситок» шугн *pēd*, руш, орош *pēd*, хуф *pæd*, барт *pod*, язг *pād*, вах *pod*,

4) др-ир **madya-* «срединный, середина», «талиа, стан» шугн *mīd*, руш, хуф, барт *mēd*, сар *med*, язг *madən*, мундж *mālen*, *mālon*, ишк *med*, вах *mad* (ср шугн-руш (*w*)*uvd*, язг *wd*, мундж *ōvda*, ишк *wd*, вах *yb* «восемь» < **hapta-*);

5) др-ир **wazyu-* «груз, ноша» (ав *vazyu*) шугн *wīz*, руш, барт *wēz*, хуф *wæz*, сар *uez/z*, язг *waz* (со вторичной долготой),

6) др-ир **barziš-* «подушка» (др-инд *barhiṣ*, ав *bar^zziš-*) шугн *viγz* (*ē*), руш *-vawz*, барт, орош *-vēwz*, язг *wæz*, мундж по говорам *vazniy*, *væzni*, *veznī*, *virzane*, ишк *vožd*(*ι*), вах *vorzik*,

7) др-ир **gari-* «гора» (ав *ga^rri*) шугн-руш *žri*, сар *žer*, язг *γār*, вах *γar*,

8) др-ир **ham-paθnī-* (ср ав *paθni-* «госпожа») шугн-руш *abiⁿ*, язг *aben* «жена многоженца по отношению к другой жене»,

9) др-ир **pati-* (ср ав *patay-*, *pa^ti-* «господин», *x^vaē-pati* «сам») шугн-руш *-baθ* в *xu-baθ* «сам», ср также язг *pət-* в *pətyərwāg* «хозяин скота»

10) др-ир **bazi-* «снаружи, вне, без» (др инд *bahih-*, согд *bys*) шугн, руш, сар *vaj*, барт *viĵ*, орош *vej*, язг *vig*, вах *vič*;

11) др-ир **wartikā-* (др-инд *vartikā-* «водяная птица») шугн *gorđ*, руш, барт *gārđ*, орош *girđ*, язг *g^oid*, мундж *wárγa/wórγo*, ишк *worc*, вах *wolč* «перепелка»

Сравнительный анализ рефлексов древнеиранских *ι*-умлаутных **a*, *a* в памирских языках дает очень многое для уяснения истории развития памирских языков, для установления отношений между ними, для их классификации¹⁸ Но поскольку в данном случае нашей задачей является показать роль *ι*-умлаута для развития вокализма иранских языков в целом, то здесь мы не будем останавливаться на этом

Сам по себе набор рефлексов древнеиранских *ι*-умлаутных **a* *a* в памирских языках, т. е. их синхронный срез, как бы воссоздает историю их раз-

¹⁷ См. Т. Н. Пахалина, Ваханский язык, М., 1975

¹⁸ Несколько подробнее об этом см. Т. Н. Пахалина, указ. соч., стр. 24—32

вития в иранских языках вообще. Если в других иранских языках (живых или мертвых) эти рефлексy как бы фрагментарны, то в памирских языках они являют собой непрерывность развития, сам процесс. Рефлексy древнеиранского *i*-умлаутного **ǎ* в памирских языках показывают, насколько широким оказался диапазон исходного *i*-умлаутного варианта др.-ир. **ǎ*. В процессе своего развития он, как свидетельствуют факты, мог не только сужаться до *i* в пределах переднего ряда, но и отодвигаться назад, сужаясь до *o* в заднем ряду (с последующим продвижением вперед до *ö* в бартангском языке) и до *e* в смешанном ряду. Учет такой возможности развития древнеиранского *i*-умлаутного **ǎ* очень важен. Особенно большое значение он имеет при анализе различного рода грамматических элементов, сильно редуцировавшихся в процессе своего функционирования. Это позволяет иногда объединить такие грамматические элементы которые, на первый взгляд, материально как будто бы несопоставимы. В качестве примера укажем на рефлексy древнеиранского послелого **rādi(y)* в некоторых современных иранских языках: бел. *-rā, -ā, -r*, перс. *-rā*, тадж. *-ro* (в говорах *-ra, -a*), гил. *-a*, маз. *-re, -e*, шугн. *-ard, -rd, ra(d)*, бадж. *-(i)rd, -rid, -rī, -rē*, шахд. *-al-i*, руш. *-re/i*, барт. *-r(i)*, сар. *-r(i)*, язг. *-ra, -rag*, ишк. *-i*, вах. *-ər(k), -(r)ək, -ē, -əy*. Интересно отметить, что в памирских языках некоторые фонетические варианты разошлись и функционально. Так, например, сар. *-ir, -ri* и вах. *-ər(k), -(r)ək* употребляются при указании на косвенный объект (адресат, назначение, цель), а вах. *-ī, -əy* и ишк. *-i* — только при указании на прямой объект.

Если влияние **ī, y* на гласные предшествующего слога **ā, a* в древнеиранском привело к довольно ощутимым последствиям в истории развития вокализма иранских языков, то влияние тех же **ī, y* на гласные **ū, u* не дало таких результатов. Это объясняется тем, что *i*-умлаутный тип варианта древнеиранских **ū, u*, т. е. **ū̄, ū̄*, не был стойким и в процессе своего развития расщеплялся на **ū̄* и **ī̄*, сливаясь, таким образом, с уже существовавшими в системе вокализма иранских языков гласными **ā* и **ī̄* другого происхождения. Поэтому там, где на месте древнеиранских *i*-умлаутных **ū, u* представлены гласные *ū, u* (или их последующие варианты *o, ə, ɔ*), вряд ли можно было бы вообще говорить о каком-то следе *i*-умлаута. И все же это — след *i*-умлаута, хотя бы потому, что эти *ū, u* не являются прямым продолжением др.-ир. **ū, u*. Они как бы вторичны, т. е. представляют собой результат развития исходного *i*-умлаутного варианта др.-ир. **ū, u*, т. е. **ū̄, ū̄*. Подтверждением этому служат рефлексy другого типа, представленные на месте др.-ир. **ū, u* в положении *i*-умлаута в некоторых иранских языках, а именно гласные *ī, i* (или последующие их варианты *e, ə, ɔ*) и огубленные гласные переднего ряда верхнего подъема *ū, ū̄* (при условии, конечно, что в этом языке вообще любое др.-ир. **ū̄* не перешло в *ī* или *ū̄, ū̄*).

Прежде чем привести примеры на *i*-умлаут от **ū, u* в современных иранских языках, приведем несколько слов из языка Авесты, которые свидетельствуют о том, что гласный **ī̄* или **y* оказывал также влияние и на гласные **ū, u* предшествующего слога: ав. *dūirē* «далекий», *duibitya-* «второй» (ср. ср.-перс. *ditigar* «другой»), *mrūtē/mrūtē* «то, что должно быть сказано», *āhūrya-* «ахуровский». Примеры из современных иранских языков на *i*-умлаут от **ū̄*:

1) др.-ир. **sūcī-* «игла»: бел. *sīcīn/sūcīn*, ягн. *sincīn* (ср. ягн. *vūta* «был» < **būta-*), шугн.-руш. *siž* (ср. шугн. *vud* < **būta-*), вах. *sic* (ср. вах. *bud* «уток» < **wūta-*);

2) др.-ир. **dūray-* (ср. ав. *dūray-*, т. е. сравнительную степень от *dūra-* «далекий»): вах. *dir*, ишк. *dir* (ср. ишк. *vəd* < **būta-*), мундж. *lūra* (ср. *šəy* < **šūta-*);

3) др.-ир. **dūtay*- «дым»: ишк. *did*, вах. *dit*, мундж. *lūy*, возможно, сюда же тадж. (в говорах) *did/dūd*;

4) др.-ир. **pūtay*- «гнилой» (ав. *pūtay*-); ишк. *pith*, *puduk*, вах. *pith*, язг. *pod* (основа прош. вр., ср. язг. *pəd*- в *pədag* < **pūta*-);

5) др.-ир. **sūci*-: ягн. *siča* «воробей, мелкая птица» (ср. соответствующее слово в шугн. *sūci*, язг. *soč*);

6) др.-ир. **wahunī* «кровь» (ав. *vohunī*-): ягн. *waxin*, шугн. *wixin* (ср. шугн. *mut* «кулак» < **mušti*-), сар. *waxin* (ср. *mt* «кулак»), орош. *waxēn*, ишк. *wen* (ср. ишк. *mt* «кулак»), вах. *wyān* (ср. *mās/št* «кулак», но *mi/yc* «пригоршня»), мундж. *yīna* (ср. *māšk* «кулак»), тадж. (в говорах) *xin/xun*.

7) др.-ир. **supti*- «плечо» (ав. *suptay*-): шугн. *sīvd*, сар. *sevd*, мундж. *suva/svda*, ишк. *svd*;

8) др.-ир. **stūni*- в вах. *istin*, ишк. *stin* «столб, колонна» (ср. шугн. *si-tan* < **stūnā*-, ав. *stūnā*-).

Думается, что приведенные примеры не могут не свидетельствовать о влиянии в прошлом гласного * \bar{u} или * \bar{y} на гласные предшествующего слога * \bar{a} , \bar{u} . Количество их, несомненно, могло бы быть увеличено, если бы внимательно проанализировать лексику современных иранских языков с этой точки зрения.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно констатировать следующее. В системе вокализма древнеиранского языкового состояния, когда конечные гласные безударных слогов еще не редуцировались и не отпали, они (т.е. эти гласные) оказывали определенное влияние на качество гласного предшествующего слога. Особенно интенсивным и ощутимым по своим результатам было влияние гласного * \bar{u} или полугласного * \bar{y} (а не гласных * \bar{a} , * \bar{a}) последующего слога на гласный предшествующего слога. Это влияние выражалось в продвижении вперед гласного предшествующего слога. Таким образом, основным исходным вариантом др.-ир. * \bar{a} , \bar{a} в положении *i*-умлаута оказался гласный тип * \bar{a} , \bar{a} , а основным исходным вариантом др.-ир. * \bar{u} , \bar{u} в положении *i*-умлаута оказался гласный тип * \bar{u} , \bar{u} .

Но роль *i*-умлаута этим не исчерпывалась. Суть его состояла в следующем. До тех пор, пока варьирование др.-ир. * \bar{a} , \bar{a} , * \bar{u} , \bar{u} было позиционно обусловленным, т.е. до тех пор, пока не редуцировались и не отпали конечные * \bar{u} , \bar{y} безударного слога, варьирование др.-иран. * \bar{a} , \bar{a} , * \bar{u} , \bar{u} не было фонологически существенным. Но с редукцией или отпадением конечных гласных безударных слогов, что, как известно, было одной из характерных черт перехода от древнеиранского к среднеиранскому языковому состоянию, исчезли и фонетические условия, благодаря которым появились переднерядные варианты др.-ир. * \bar{a} , \bar{a} , * \bar{u} , \bar{u} . А это в свою очередь не могло не привести к тому, чтобы др.-ир. * \bar{a} , \bar{a} и * \bar{u} , \bar{u} из позиционно обусловленных вариантов не превратились бы в самостоятельные фонемы, т.е. в данном случае не могло не произойти расщепления др.-ир. * \bar{a} , \bar{a} на * \bar{a} , \bar{a} и * \bar{a} , \bar{a} и др.-ир. * \bar{u} , \bar{u} — на * \bar{u} , \bar{u} и * \bar{u} , \bar{u} . Отсюда мы вправе предположить, что, помимо известных специалистам для среднеиранского языкового состояния восьми гласных фонем (\bar{a} , \bar{a} , \bar{u} , \bar{u} , \bar{i} , \bar{i} , \bar{e} , \bar{o}), в системе вокализма этого периода были представлены еще две пары гласных фонем, т.е. * \bar{a} , \bar{a} и * \bar{u} , \bar{u} . В этом заключалась роль *i*-умлаута в истории развития вокализма иранских языков.

Заканчивая изложение, хочется подчеркнуть, что две дополнительные пары гласных фонем в системе вокализма этого переходного периода — это только минимум. Возможно сюда же нужно будет прибавить еще и превратившиеся в фонемы *u*-умлаутные варианты др.-ир. * \bar{a} , \bar{a} , т.е. может быть * \bar{a} , \bar{a} (ср. ав. *dā^uru*- «дерево», *po^uru*- «много»); из современных иран-

ских языков ср. осет. *mud/myd* «мед» < **madu-*¹⁹ при *das* «десять» < **dasa-*), также *ā*-умлаутные варианты др.-ир. **ū*, *u*, т. е. может быть **ū̄*, *ū̇*, если последние гласные не были еще более открытыми и в таком случае не совпадают с существовавшим в системе вокализма этого периода гласным *ō*, ср. такие отражения, как:

- 1) др.-ир. **puθrā-* «сыновья» (им п мн. ч) шугн.-руш., язг. *pac-* (при язг. *roc*, шугн.-руш. *pic* «сын» < **puθra-*);
- 2) др.-ир. **būzā* «коза, козы»: шугн.-руш. *vaz*, язг. *vaz*;
- 3) др.-ир. **dūrā-* «далекий». шугн.-руш. *dar*, язг. *dar*, мундж. *ləra*,
- 4) др.-ир. **utā* «и»: шугн.-руш. *-at*, язг. *at*, вах. *-ət*;

В меньшей степени оказались ощутимыми следы *a*-умлаута от **ī* (ср. пушту *mer* «солище» — ав. *miθra-* название божества), шугн. *sipaṣ*, язг. *səraw* «вошь, вши» < **spišā-* (ав. *spiš-*) и *a*-умлаута от **ā*, *a* [ср. шугн. *vōyd*, язг. *woyt*, ишк. *vaṣd*, вах. *vaṣd* «злой дух» < **baxtā-* при шугн. *vūyd* (муж. р.) < **baxta-*, при язг. *xūr*, ишк. *xūr*, вах. *xur* «осел» < **xara-*]. *A*-умлаутный вариант др.-ир. **ī*, **i*, т. е. возможно **ē*, став фонемой, слился с существовавшей в системе вокализма раннесреднеиранского периода гласной фонемой *ē*, возникшей из др.-ир. **ai*. Что касается варьирования др.-ир. **ā*, **a* в положении *ā*-умлаута, то, если оно и существовало, то было настолько незначительным, что не могло привести к возникновению особой фонемы.

В настоящей статье совершенно не затронут вопрос влияния гласного исторически последующего слога на предшествующий дифтонг, хотя этот вопрос также заслуживает внимания, ср. следующие соответствия в памирских языках:

- 1) сар. *reṇ*, ишк. *réṣṇ*, вах. *riṣṇ* «окно в крыше дома» < **raṣčīna-* (ав. *raḃčīna-* «окно»); при шугн. *rūz*, язг. *rəjon* < **raṣčana-* (ав. *raḃčana-* «окно»);
- 2) ишк. *reṇ* «масло, жир» < **raṣṣṇi-* (ав. *raḃṣṣau-*) при вах. *rūṣṇ*, мундж. *rūṣṇa*, язг. *rəṣṇ* < **raṣṣṇa-* (ав. *raḃṣṇa-*);
- 3) язг. *bi* < **baṣdi-* при шугн. *būy*, вах. *vūl* «запах» < **baṣda-* (ав. *baḃda-*);
- 4) шугн. *taṣ*, язг. *taw*, мундж. *tāya*, вах. *tāy* «овца» < **maišā-* при шугн. *tiṣ* «баран», вах. *tišək* «горный баран», сар. *meš* «мешок из шкуры» < **maiša-* (ав. *maēša-*).

Анализ лексики иранских языков с этой точки зрения несомненно даст также что-то новое.

¹⁹ См. В. И. Абаев, указ. словарь, II

ЕРМОЛАЕВА Л. С.

ТИПОЛОГИЯ СИСТЕМЫ НАКЛОНЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Вопрос о количестве наклонений в современных германских языках, как и принципы их выделения, остается предметом споров среди лингвистов¹. По-видимому, наиболее распространенная (хотя далеко не общепринятая) точка зрения, согласно которой в каждом германском языке различаются три наклонения (изъявительное, сослагательное, повелительное), не соответствует более фактам языковой действительности, о чем свидетельствует целый ряд внутренних противоречий, присущих данной концепции. Назовем лишь наиболее существенные из них: 1) презентные и претеритальные формы конъюнктива трактуются как «временные» формы, хотя каждый раз оговаривается, что разница между ними не временная, а модальная; 2) остается неясным место кондиционалиса в системе наклонений; следует ли его рассматривать как особое наклонение или же как особую временную форму; 3) при описании семантической структуры наклонений в одном ряду рассматриваются такие перекрещивающиеся значения, как реальность — нереальность, возможность — необходимость, достоверность — недостоверность, побудительность — непобудительность, косвенность — некосвенность высказывания; 4) остается неясной роль императива: является ли он средством выражения модальности или же средством выражения побудительной целеустановки предложения².

Указанные противоречия, присущие теории трехчленной оппозиции, не случайны: они отражают то исторически сложившееся своеобразие системы наклонений германских языков, которое отличает их от таких древних языков, как санскрит, древнегреческий, латинский. Исторические изменения в системе наклонений можно характеризовать в самых общих чертах: 1) в плане выражения — разрушение флективных форм, замена их аналитическими; 2) в плане содержания — переориентация системы наклонений, выражающей «внутреннюю» модальность, на выражение «внешней»

¹ См., например Т. В. Строева, Модальность косвенной речи в немецком языке. АДД, Л., 1951, стр. 37; Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева, Современный немецкий язык, М., 1957, стр. 148 и сл.; W. Flammig, Zum Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart. Inhalte und Gebrauchsweisen, Berlin, 1959; H. Glinz, Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik, Bern — München, 1968, стр. 111; S. Jäger, Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart. Untersuchungen an ausgewählten Texten, München — Düsseldorf, 1971; О. И. Москальская, Грамматика германских языков, М., 1975, стр. 75; U. Schwartz, Modus und Satzstruktur. Eine syntaktische Studie zum Modusystem, Regensburg, 1973; Г. Н. Воронцова, Очерки по грамматике английского языка, М., 1960, стр. 240 и сл.; R. W. Zandvoort, On the so called subjunctive, «English language teaching», XVII, 2, 1963; A. Sundqvist, Studier i svensk moduslara, Lund, 1955.

² Концепция трехчленной оппозиции наклонения не является ведущей в англистике. Ср., например А. И. Смирницкий, Морфология английского языка, М., 1959, стр. 341—352; Л. С. Бархударов, Очерки по морфологии современного английского языка, М., 1975, стр. 129—137; В. Я. Плоткин, Грамматические системы в английском языке, Кашинев, 1975, стр. 92—101.

модальности. К сожалению, второй момент, как правило, недостаточно учитывается исследователями. Попытки же объяснить происходящие изменения, исходя исключительно из плана выражения, приводят либо к противоречивой концепции трехчленной оппозиции, либо к выводу об «отмирании» категории наклонения в германских языках³.

Разграничение различных видов модальности все более последовательно проводится в лингвистической литературе последних десятилетий⁴. Под «внутренней» модальностью понимается отношение субъекта (реже объекта) действия к совершаемому им действию (для объекта — отношению к действию, которому он подвергается): *Er will essen* «Он хочет есть», *Die Krankheit will kuriert werden* «Болезнь нужно лечить». Основным средством выражения внутренней модальности в современных германских языках являются модальные глаголы⁵.

Под «внешней» модальностью предложения понимается отношение его содержания к действительности в плане реальности — нереальности (внешняя модальность I типа) и степень уверенности говорящего в сообщаемых им фактах (внешняя модальность II типа). Основным средством выражения внешней модальности I типа в современных германских языках являются наклонения, основным средством выражения внешней модальности II типа — модальные слова, например: *vielleicht* «может быть», *wahrscheinlich* «вероятно», *gewiß* «конечно» и т. д. Хотя все три ряда отношений принято называть модальностью, необходимо учитывать как разноплановость их значений, возможность их перекрещивания, наслаивания друг на друга, так и неоднородность средств их выражения. Так, в предложении: *Wahrscheinlich kann er mir helfen* «Вероятно, он может мне помочь» модальность реальности (индикатив) сочетается с модальностью возможности (модальный глагол *können* «мочь») и модальностью неуверенности (модальное слово *wahrscheinlich* «вероятно»). В предложении же *Er könnte mir natürlich helfen, (wenn er hier wäre)* «Он, конечно же, мог бы мне помочь (если бы он был здесь)» модальность нереальности сочетается с модальностью возможности и модальностью уверенности.

Таково, в общих чертах, соотношение трех названных здесь типов модальности в современных германских языках. Необходимо, однако, учитывать, что средства выражения каждого из типов модальности исторически изменчивы. Так, модальные глаголы сформировались как средство выражения внутренней модальности в сравнительно более поздний период: в древних германских языках с разной степенью интенсивности протекает процесс их «отпочкования» от полных глаголов⁶. Еще «моложе» по своему происхождению класс модальных слов, восходящий к наречиям. Наиболее древним из перечисленных здесь средств выражения

³ См.: А. Л. Зеленецкий, Формирование глагольной системы нидерландского литературного языка (на материале памятников XIII—XVII веков). КД, М., 1966, стр. 2, 21.

⁴ См.: Т. В. Борисова, Лексические средства выражения модальности. КД, М., 1954; К. Г. Крушельницкая, Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков, М., 1961, стр. 128—129, 149 и сл.; Л. С. Ермалова, Система средств выражения модальности в современных германских языках (на материале немецкого, английского, шведского и исландского языков). АБД, М., 1964; Т. П. Ломтев, Предложение и его грамматические категории. М., 1962, стр. 89—105.

⁵ «Внутренняя» модальность предложения в германских языках не является грамматической категорией. Ср.: В. З. Панифлов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 181.

⁶ См.: Л. М. Каниер, О выражении модальности претерито-презентными глаголами в древневерхнегерманский период, Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена], 190, I, 1959; E. Stanoop, Syntax und Semantik der altenglischen Modalverben, Bochum, 1957.

модальности являются наклонения, и было бы одинаково неправомерным полагать, что их семантика на протяжении тысячелетий не претерпела принципиальных изменений или же что с развитием модальных глаголов и модальных слов наклонения становятся «ненужными» и «отмирают».

Если сопоставить систему наклонений санскрита (индикатив — оптатив — императив) или древнегреческого (индикатив — оптатив — конъюнктив — императив) с системой наклонений любого древнего германского языка (например, готского), то прежде всего бросается в глаза отсутствие в санскрите или древнегреческом специальных морфологических средств выражения нереальности. Иное дело в готском. Здесь в системе наклонений находит отражение противопоставление реального действия действию нереальному, причем нереальность выражается формой так называемого «претерита оптатива»⁷. Например: *aiþþau barna izwara unhrainja weseina, iþ nu weiha sind* — I Kor. 7, 14 («Die gotische Bibel», hrsg. von W. Streitberg, Heidelberg, 1908) «Иначе дети ваши были бы неблагочестивы, а они ведь святые». Здесь и в других подобных случаях употребления «претерита оптатива» имеет место несоответствие значения данной формы как модальному значению оптатива (презент оптатива выражал реальное желание, реальную возможность, необходимость), так и временному значению претерита (претерит индикатива выражал прошедшее). Форма, совмещающая в себе маркеры претерита и оптатива, выражает в готском модальность нереальности безотносительно к временному значению (настоящее, прошедшее или будущее в зависимости от контекста). Все это свидетельствует о том, что данная форма не является временной формой оптатива, а представляет собой форму особого наклонения — и р р е а л и с а. Формальные маркеры прошедшего в форме ирреалиса переосмыслены, что свидетельствует о тесной исторической взаимосвязи категорий времени и наклонения.

В современных германских языках морфологическая категория наклонения обозначает отношение действия к действительности в модальном плане реальности — нереальности. Поскольку различные виды модальности могут наслаиваться друг на друга, в системе наклонений реальными представляются действия, не только осуществившиеся или осуществляющиеся в определенный отрезок времени, но и действия, реальность осуществления которых возможна, желательна, необходима или же только предполагается. Нереальными же представляются действия, либо не осуществившиеся, либо не осуществимые в обозначаемый отрезок времени, о которых, однако, условно говорится как об осуществившихся или осуществимых. Как отмечает В. Г. Адмони, «введение ирреальности в предложение всегда связано с наличием каких-либо семантических компонентов (либо в контексте, либо в самом этом предложении), которые так или иначе мотивируют введение соответствующей ирреальной характеристики сказуемого отношения в предложении»⁸. Например, в предложении *Beim Licht hätte ich ihn erkannt* «При свете я бы его узнал» таким дополнителем смысловым моментом является указание на условие, при наличии которого данное действие оказалось бы реальным (*beim Licht* «при свете») ⁹.

⁷ Представляется неслучайным отсутствие данной формы в санскрите и древнегреческом, хотя в обоих языках имеется имперфект индикатива.

⁸ См. : Г. А д м о н и, Синтаксис современного немецкого языка. Система отношений и система построения, Л., 1973, стр. 147.

⁹ Там же, стр. 147—150.

Таким образом, в пределах парадигматических значений наклонений германских языков модальность нереальности может быть выражена только ирреалисом. Формы же, восходящие к системе наклонений, ориентированной на выражение внутренней модальности, обозначают модальность реальности, различаясь по каким-либо другим дополнительным признакам. Таким дополнительным признаком была в древних германских языках внутренняя модальность, однако по мере того, как функция выражения внутренней модальности переходила к модальным глаголам, формы глагола, выражающие реальность, принимали на себя другие, как правило, синтаксические функции, различаясь возможностью их употребления в различных типах предложения (различные типы придаточных, побудительные — непобудительные предложения, прямая — косвенная речь). Иными словами, на базе форм глагола, противостоявших ранее друг другу в плане внутренней модальности, сложились структурно обусловленные средства выражения реальности, противостоящие по своему модальному значению ирреалису.

При наличии общей исходной модели и общей тенденции развития системы наклонений в германских языках (см. стр. 2) типологические различия между системами наклонений современных германских языков в значительной степени определяются судьбой рефлексов прежней модели, иными словами, степенью приближения того или иного языка к конечной общегерманской модели¹⁰, свободной от рефлексов прежней модели и знаменующей собой завершение процесса перестройки системы наклонений. Представляется возможным использовать такую конечную модель в качестве эталона сопоставления, тем более что имеются языки, очень близкие к данному эталону.

Таким эталоном является система наклонений, характеризующаяся следующими признаками: 1) двучленная оппозиция индикатива — ирреалиса; 2) индикатив представлен немаркированной формой глагола, ирреалис — аналитической формой кондиционалиса; 3) оппозиция наклонений построена исключительно на противопоставлении реального действия ирреальному; 4) как индикатив, так и ирреалис не ограничены в своем употреблении предложениями, принадлежащими к какому-либо определенному структурному типу (зависимое — независимое, повествовательное — вопросительное — повелительное, прямая — косвенная речь и т. д.); 5) оба наклонения симметричны в отношении парадигмы залога, лица — числа, имеют временную соотнесенность¹¹.

Наиболее приближенное состояние к описанному эталону обнаруживают английский язык и африкаанс. Общими для обоих языков являются следующие черты: 1) единственным представителем «реалиса» (в результате ослабления морфологической противопоставленности самих форм) становится немаркированный в плане выражения индикатив, противопоставленный аналитическому кондиционалису: англ. *I do — I should do* «я делаю — я делал бы»; афр. *ek val — ek sou val* «я падаю — я падал бы»; для прошедшего времени: англ. *I did — I should have done* «я делал — я делал бы»; афр. *ek het geval — ek sou geval het* «я падал — я падал бы»; 2) в побудительных предложениях абсолютное большинство глаголов обнаруживает ту же самую немаркированную форму индикатива, что и в повествовательных предложениях. Ср. англ. *You go — Go* «Вы ходите» — «Идите!»; афр. *ju(u) val — Val!* «Вы падаете» — «Падайте!».

¹⁰ См.: Э. А. Макаев, Сравнительная, сопоставительная и типологическая грамматика, ВЯ, 1964, 1, стр. 5.

¹¹ Данные признаки выведены на основании общей тенденции развития систем наклонений в германских языках.

Специфическими чертами языка африкаанс, еще более приближающими его к описанному эталону¹², являются: 1) отсутствие форм флективного ирреалиса для большинства глаголов (за исключением формы от глагола «быть» и модальных глаголов), что связано с отсутствием форм претерита индикатива, так что кондиционалис в языке африкаанс для большинства глаголов является единственной формой ирреалиса; 2) отсутствие каких-либо личных окончаний в формах индикатива; 3) употребление немаркированной формы индикатива как в самостоятельном, так и во всех типах придаточных предложений прямой и косвенной речи.

Английский язык в этом отношении сохраняет некоторые черты, не позволяющие безоговорочно свести систему наклонений к оппозиции индикатив — кондиционалис [наличие флективного ирреалиса, омонимичного претериту индикатива: *I did* «я делал» и «я делал бы»¹³, а также маркированной формы с флексией *-(e)s*: *he goes* «он ходит» в 3-м лице ед. числа простого настоящего].

Представляется целесообразным рассматривать формы с *-(e)s* и немаркированную форму в современном английском языке как различные наклонения: обе формы являются вариантами 3-го лица ед. числа простого настоящего индикатива или реалиса.

Следует также полностью согласиться с мнением Р. Зандворта, отмечающего, что термин «субьюнктив» отражает реальное положение вещей в латыни или древнеанглийском, но не в современном английском. Лишь немногие грамматические термины столь же обусловлены традицией, как «субьюнктив», отмечает Р. Зандворт. Причину этого Р. Зандворт видит в неудачной трактовке таких понятий, как наклонение, модальность, вспомогательные глаголы модальности¹⁴.

Что же касается употребления немаркированной формы в побудительных структурах, адресованных 2-му лицу (например: *Help me please* «Помогите мне, пожалуйста!»), то также нет достаточных оснований для рассмотрения ее в качестве самостоятельного наклонения — императива. В плане выражения данная форма ничем не отличается от индикатива. Значение же побудительной целеустановки создается исключительно контекстом: односоставностью предложения, побудительной интонацией, лексическими средствами. Модальность побудительных предложений есть модальность реальности, если понимать последнюю в широком смысле: не только как то, что имеет место в действительности, но и то, что должно совершиться.

В английских предложениях типа *You go home* «Вы пойдете домой!» имеет место транспозиция двусоставной структуры предложения в сферу употребления односоставной (*Go home* «Идите домой!»), типичной для выражения побуждения. Индикатив же как форма наклонения остается в обоих случаях равным самому себе и выступает в качестве структурно свободного средства выражения реальности. Контекст, интонация и структура предложения в подобных случаях конкретизируют тип предложения по

¹² Необходимо отметить, что система наклонений языка африкаанс лишь наиболее полно воплощает в себе результаты перестройки системы наклонений, характерной для всех германских языков, так что особенности языка африкаанс не следует рассматривать как результат иноязычного влияния, хотя последнее, бесспорно, имело место (см. Th. F r i n g s, *Ursprung und Entwicklung des Afrikanischen*, PBB, 75, 1953, стр. 157—165; С. А. М и р о н о в, Соотношение традиций и инноваций в литературных языках африкаанс и нидерландском с типологической точки зрения, в кн.: «Типология германских литературных языков», М., 1976).

¹³ Согласно другой точке зрения, форма прошедшего времени индикатива объединяет оба значения: реальности и ирреальности. См., например: Л. С. Б а р х у д а р о в, *Очерки...*, стр. 130—131.

¹⁴ R. W. Z a n d v o r t, указ. соч., стр. 75 и сл.

целестановке, а не модальное значение формы глагола. Функции императива, будучи синтаксическими по своему характеру¹⁵, полностью перешли в английский язык и в африкаанс от морфологии к синтаксису.

К рефлексам прежней системы наклонений относятся остаточные формы флективного ирреалиса, субъюнктива (< презенс оптатива) и императива, свойственные отдельным глаголам. В английском языке это формы от глагола *to be* «быть»: *were* (флективный ирреалис) и *be* (императив). Например: «. . . if I *were* you I'd think a lot more about that» (D. Carter, Tomorrow is with us) «Я бы на Вашем месте задумывался над этим немного более»; «*Be honest like your face...*» (R. L. Stevenson, The pavilion on the links) «Будьте так же искренни, как искренне Ваше лицо. . .». Хотя глагол *to be* отличается исключительной структурной значимостью и высокой частотностью употребления, его реликтовые образования, на наш взгляд, должны рассматриваться на фоне парадигматических рядов, представленных однокоренными единицами, в связи с чем корреляция супплетивных форм *is — were* и *are — be* снимается¹⁶.

В языке африкаанс специальные формы императива сохраняются у глаголов: *wees* «быть» (императив *wees*, индикатив *is*), *hê* «иметь» (императив *he*, индикатив *het*). У небольшого числа глаголов (*gaan* «идти», *staan* «стоять», *done* «делать», *begin* «начинать», *behoor* «принадлежать»), имеющих в индикативе параллельные формы на *-n* и *-t*, форма императива совпадает с одной из двух параллельных форм индикатива, отличаясь от другой: *ju, jul gaan (gaat)/gaan* «ты идешь, вы идете/иди(те)»¹⁷. В устойчивых сочетаниях сохранилась форма 3-го лица ед. числа императива *lewe* «да здравствует», восходящая к оптативу. Ср. также: *hoe dit ook sy* «как бы то ни было».

Характерно, что в побудительных предложениях обоих языков широко распространены сочетания с модальными глаголами. Например, англ. «You must take her back to the palace» (B. Shaw, Caesar and Cleopatra) «Вы должны взять ее назад во дворец»; афр. *Ju moet weggaan* «Ты должен уйти», *Moenie hier staan nie!* «Нельзя здесь стоять!»¹⁸. Вопрос о парадигматизации этих сочетаний должен быть рассмотрен особо. Следует, однако, отметить, что утрата императивом формальной маркированности не может быть критерием парадигматизации соответствующих сочетаний¹⁹, так как на протяжении всей истории германских языков императив обнаруживает тенденцию к ослаблению и отрицанию не только как синтетическая форма, но и как форма наклонения. Средства же выражения побудительной целестановки предложения не обязательно должны включать морфологические единицы, вернее, включают их лишь пережиточно.

Все остальные современные германские языки отличаются от языков английского и африкаанс (а также и от описанного выше эталона) прежде всего тем, что имеют разветвленную систему реалиса, несводимую к индикативу. Под реалисом мы будем понимать систему морфологических форм глагола, выражающих модальность реальности и противостоящих ирреалису. По степени разветвленности системы реалиса (иными словами, по степени представленности рефлексов прежней системы на-

¹⁵ Ср.: В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1972, стр. 464; В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 178; R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, в кн.: «A Prague school reader in linguistics», compiled by J. Vachek, Bloomington, 1964, стр. 354.

¹⁶ См.: В. П. Конецкая, Супплетивизм в германских языках, М., 1973, стр. 17, 54.

¹⁷ См.: С. А. Мпиров, Язык африкаанс, М., 1969, стр. 89.

¹⁸ С. А. Мпиров, указ. соч., стр. 89.

¹⁹ Ср.: Г. Н. Воронцова, указ. соч., стр. 251.

клонений) можно различить: 1) языки, где реалис представлен формами индикатива и императива: шведский, датский, норвежский, фарерский, нидерландский, фризский и 2) языки, где реалис представлен формами индикатива, императива и субъюнктива, развившегося в результате переосмысления формы презенса оптатива в придаточных предложениях и косвенной речи: немецкий, исландский.

Прежде чем перейти к непосредственной характеристике каждой из названных групп языков, остановимся кратко на проблеме императива, общей для обеих этих групп. Как уже было отмечено выше, модальность побудительных предложений есть модальность реальности. Следовательно, императив не имеет какого-либо особого модального значения, отличного от значения индикатива, и, объединяясь с ним в одно наклонение — реалис, противостоит ему в плане целеустановки высказывания. Таким образом, индикатив и императив не противостоят друг другу как категориальные формы наклонения, а образуют категорию побудительности — непобудительности, отличную от категории наклонения и подчиненную ей (последнее вытекает из отсутствия подобного противопоставления в парадигме ирреалиса):



Итак, в шведском, датском, норвежском, фризском, фарерском, нидерландском языках система наклонений представляет собой асимметричное построение, где единому, структурно независимому средству выражения нереальности (ирреалис) противостоят два структурно обусловленных компонента реалиса (индикатив и императив), находящихся в отношении дополнительной дистрибуции²⁰.

При этом структурная обусловленность употребления индикатива носит менее выраженный характер: будучи основным средством выражения реальности в независимых повествовательных и вопросительных предложениях, а также в придаточных предложениях, содержащих прямую и косвенную речь, индикатив может транспонироваться в сферу употребления императива. Например, швед. „Du går inte uten lov någon mer gång, för då blir det stryk“, — sa mor och såg sträng och elak ut» (M. Martinson, *Mor gifter sig*). „Больше ты туда без разрешения не пойдешь, иначе ты будешь наказана“, — сказала мать строго и зло».

Лишь в некоторых языках данной группы формы императива полностью сохраняют маркированность относительно форм индикатива (датский, норвежский, фарерский). При этом, если в фарерском формы 2-го лица ед. числа индикатива и императива (*nevnið* «ты называешь», *nevni* «называй»), а также соответственно формы 2-го лица мн. числа (*nevna* — *nevnið*)²¹ имеют различные окончания, то в норвежском (риксмол) и датском формы императива унифицированы для ед. и мн. числа и представлены чистой основой, в индикативе же обобщено окончание *-(e)r* для всех форм лица и числа: дат. *læs* «читай(те)» — *læser* «ты читаешь, вы читаете»; норв. (соответственно) *les* — *leser*.

²⁰ О. И. Москальская, указ. соч., стр. 76.

²¹ См.: W. B. Lockwood, *An introduction to modern Faroese*, Copenhagen, 1955, стр. 77.

В нидерландском и фризском языках формальная маркированность императива сохраняется в ед числе (нидерл *schrijft* — *schrijf* «ты пишешь — пиши») фриз *rogtest* — *rogt* «ты направляешь — направляй») и отсутствует во мн числе (нидерл *schrijft* «вы пишете, пишете», фриз *rögte* «вы направляете, направляйте») ²³

В шведском языке, где устаревшая форма 2 го лица мн чиста императива на *en* сохраняется лишь в высоком стиле (*kallen* «зовите»), обычно употребляется общая для ед и мн числа форма (например, *kalla* «зови, зовите»), но для ряда глаголов (I и III спряжения) отсутствует формальная маркированность императива по отношению к индикативу во мн числе (эта форма в последние десятилетия фактически вышла из употребления). Отсутствие тичных окончаний в императиве у глаголов II и IV спряжения (*boj* «гни, гните» *grip* «хватай хватайте») отличает его как от ед, так и от мн числа индикатива (*griper, gripa*)

К парадигме императива в фарерском, шведском, нидерландском языках должна быть также отнесена форма, восходящая к 3 му лицу ед числа оптатива и выражающая предписание фар *nevni* «следует назвать» ²⁴ (ср *nevni* «он называет»), швед *man läse* «следует читать» (ср *han läser* «он читает»), нидерл *men neme* «следует взять» (ср *hij neemt* «он берет»)

По возрастающей степени формальной маркированности императива рассмотренные языки располагаются в следующем порядке нидерландский, фризский шведский датский и норвежский. Степень сохранения формальной маркированности оппозиции «индикатив — императив» исторически обусловлена двумя процессами разрушение флексии способствует ослаблению формальной маркированности данной оппозиции, обобщение же личных окончаний в индикативе напротив, способствует усилению ее формальной маркированности

В системе ирреалиса языки данной группы не обнаруживают столь существенных отличий от английского языка, но в то же время сильно отличаются от языка африкаанс. Все без исключения языки сохраняют формы флективного ирреалиса, но только в шведском данная форма отличается от претерита индикатива. Ср швед претерит индикатива *sjong* «шел», *satt* «сидел» и флективный ирреалис *sjunge* «шел бы», *sutte* «сидел бы». Флективный ирреалис маркирован в шведском суффиксом *e* и (для некоторых глаголов) особой ступенью аблаута. Ср в других языках этой группы дат *jeg bad* «я просил» и «я просил бы» норв *jeg falt* «я упал» и «я упал бы», нидерл *ik hoorde* «я слышал» и «я слышал бы» и т. д.

Как и в английском языке, формы флективного ирреалиса и формы претерита индикатива различаются в контексте в первую очередь благодаря их различной временной соотношенности а также благодаря употреблению в контексте кондиционалиса норв «Hvis han vendte hjem ville han ikke kunne forsette sitt arbeid» («Friheten») «Если бы он вернулся домой он бы не смог продолжать свою работу» ²⁵

Различна в данных языках также степень морфологизации кондиционалиса, но этот вопрос должен быть рассмотрен особо ²⁶ В большинстве

²² Данное различие снимается в вопросительных предложениях где местоимение *je* стоит после глагола например *Schrijf je?* «Ты пишешь?» — *Schrijf!* «Пиши!» (см С А Миронов Нидерландский (голландский) язык, М 1965 стр 73)

²³ См В В е n d s e n, Die nordfriesische Sprache nach der Moringer Mundart zur Vergleichung mit den verwandten Sprachen und Mundarten Leiden, 1860 стр 281

²⁴ В фарерском данная форма может выражать также реальное желание *Verdi ljós* «Пусть будет свет!» (см В В Л о c k w o o d указ соч, стр 137)

²⁵ См М И С т е б т и н Каменский Грамматика норвежского языка М — Л 1957 стр 131

²⁶ См М М Г у х м а н, Процессы парадигматизации и историческая типология словоизменительных систем германских языков в кн «Историко-типологические

языков этой группы кондиционалис формируется на базе словосочетаний «модальный глагол желания или долженствования + инфинитив». Ср дат *skulle (velle) komme* «пришел бы» норв *skulle (ville) lese* «читал бы», швед *skulle hälla* «называл бы», нидерт *zou maken* «сделал бы». Исключения составляют фризский образующий кондиционалис с помощью вспомогательного глагола *wurden* «становиться», восходящего к инвоативному *u ord heuen* «имел бы», и фарерский, использующий в этой функции глагол намерения *mundi vera* «был бы».

Если в языках второй группы неимператив равен индикативу (см схему) то в языках третьей группы (немецкий, исландский) неимператив представлен двумя членами (субъюнктивом и индикативом), противостоящими друг другу по признаку «косвенность»²⁷ — некосвенность высказывания». При этом субъюнктив возможен в косвенной речи лишь в том случае если в соответствующем предложении прямой речи был бы употреблен индикатив (но не ирреалис). Ср *Hans fragte «Ist Peter zu Hause?»* «Ганс спросит „Петер дома?“» — *Hans fragte ob Peter zu Hause sei* «Ганс спросил, дома ли Петер». Однако *Hans sagte «Ich ware beinahe gefallen»* «Ганс сказал Я чуть было не упал» — *Hans sagte, er ware beinahe gefallen* «Ганс сказал что он чуть было не упал». Таким образом модальность косвенной речи, содержащей глагол в форме субъюнктива есть модальность реальности, морфологическая же категория косвенности — некосвенности высказывания²⁸ подчинена категории наклонения, как и категория побудительности — непобудительности. Субъюнктив же является, следовательно, структурно обусловленным средством выражения реальности в косвенной речи.

Особенностью исландского является то что субъюнктив выступает также как обязательное средство выражения подчинения в некоторых типах придаточных предложений например в бессоюзных условных *Geti eg gert það skal eg koma* «Если я смогу сделать это, я приду» (ср *Ef eg get gert það skal eg koma*)²⁹ Ср также в косвенной речи *þa segja margir, að gaman hafi verið að lifa í Oðaðaborg* (≈ *Jónsson* *I dyrum gleðinnar*) «Многие говорят что было весело жить в Одадаборге».

Необходимо отличать от субъюнктива в обоих языках формы 3 го типа императива, также восходящие к оптативу нем *Man gehe taglich zu Fuß* «Следует ежедневно ходить пешком» *Es gedehne unsere Heimat!* «Пусть процветает наша Родина!» исл *Fari þeir sem fara vilja, komi þeir sem koma vilja* «Пусть уезжает, кто хочет пусть приезжает, кто хочет», *Gangi þér vel!*³⁰ «Удачи тебе!» Данные формы включаются в парадигму императива по следующим соображениям. Выражая волеизъявление, они находятся в отношении дополнительной дистрибуции с исконными формами императива формы восходящие к оптативу употребляются для выражения во-

исследования морфологического строя германских языков», М 1972, Т Н Дренясова Структурные функции модальных глаголов в современных германских языках АНД М 1968

²⁷ Имеется в виду так называемая стандартная косвенная речь. См об этом Н П Дронова Несобственно косвенная речь в немецком языке (на материале источников XVI—XX вв.) АНД Калинин 1975 стр 3

²⁸ Р Якобсон называет данную категорию глагола категории «засвидетельство вавности» (evidential) и также рассматривает ее отдельно от категории наклонения. См Р О Якобсон Шифтеры глагольные категории и русский глагол, в кн «Принципы типологического анализа языков различного строя», М, 1972, стр 101

²⁹ А Бедварссон, Краткий очерк грамматики исландского языка, в кн «Исландско русский словарь», сост В П Берковым при участии А Бедварссона, М 1962 стр 1016

³⁰ Примеры С Эйнарссона (St Einarsson Icelandic, Baltimore, 1945, стр 150 174)

леизъявления исключительно в 3 м лице, исконные же формы императива — исключительно во 2 м лице³¹

К особенностям данной группы языков относится также сохранение формальной маркированности флективного ирреалиса (хотя и не для всех классов глаголов) а также использование в качестве различительного признака ступеней аблаута (в немецком — лишь в дублетных формах) Ср нем *sang — sange* «пел — пел бы», *sprang — sprange sprunge* «прыгал — прыгал бы», исл *song — yungi* «пел — пел бы» Лишь в языках этой группы в ирреалисе сохраняется перегласовка на *i* Наряду с флективным ирреалисом в обоих языках имеются формы кондиционалиса нем *wurde kommen* «пришел бы», исл *tundi (myndi) koma*

Подведем кратко итоги 1) каждая из трех выделенных групп языков отражает определенный этап в преобразовании оппозиции «индикатив — опатив — императив — ирреалис» в оппозицию «индикатив — ирреалис» 2) упрощение системы наклонений связано с переходом функций императива и опатива (> субъюнктива) к синтаксису в результате чего границы категорий наклонения в современных языках не совпадают³², 3) представляется типологически значимым соотношение морфологических и синтаксических средств, обнаруживающих функциональную общность Не случайно выделенные группы языков различаются по степени аналитичности³³, 4) в связи с постепенностью развития новых и отмирания старых способов выражения какой-либо категории возможно сохранение в языке в течение длительного времени (в силу традиции) «элементов с малой функциональной нагрузкой»³⁴ глагольные категории побудительности — непобудительности, косвенности — некосвенности могут выступать на фоне развитых синтаксических средств выражения данных значений 5) перечисленные в пункте 4 «элементы с малой функциональной нагрузкой» не могут рассматриваться как лишние всякого содержания. Данные категории носят рефлексивный характер, отражая семантику соответствующих синтаксических структур Их значения «конструктивно обусловлены»³⁵, 6) развитие наклонения вторичного образования — ирреалиса обусловленное развитием гипотаксиса, не может считаться особенностью лишь германских и даже индоевропейских языков³⁶, в связи с чем возникает вопрос о возможных типовых линиях перестройки системы наклонений в языках различного строя

³¹ См также G Windfuhr, Strukturelle Verschiebung Konjunktiv Präsens und Imperativ im heutigen Deutsch, «Linguistics» 36 1967, стр 98

³² Ср « даже при буквальном совпадении какой либо грамматической категории (что чаще всего бывает в языках, генетически связанных) границы ее „наложения“ в двух языках никогда не бывают тождественными так как элементы системы, находящиеся рядом с рассматриваемой категорией как бы „отбирают“ у нее в одном языке то, что может присутствовать у нее в другом языке» (В Н Ярцева Лингвистическая типология, в кн «Проблемы языкознания X международного конгресс лингвистов», М 1967, стр 205)

³³ Ср Н В Социнцева В М Социнцев, Анализ и аналитизм, в кн «Аналитические конструкции в языках различных типов» М — Л, 1965, стр 83

³⁴ Э Косериу, Синхрония диахрония и история в кн «Новое в лингвистике», III М, 1963 стр 284, 336

³⁵ См В В Виноградов, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, 5, стр 27.

³⁶ См например Б А Серебряников, Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках, М, 1964 стр 148, В С Мочос, К проблеме развития косвенных наклонений (на материале греческого языка) АНД М 1976

УСТИНСКАЯ З. И

О ГЕНЕЗИСЕ ЦОКАНЬЯ В РУССКИХ ГОВОРАХ

(По материалам псковских, смоленских
и северо-восточных белорусских говоров)

Исследуемые говоры белорусско-русского пограничья расположены на территории бывшего племенного союза кривичей. Говоры объединяются по характеру произношения шипящих и свистящих звуков, их общность проявляется как в количестве фонематически различаемых единиц, так и в фонетических особенностях этих единиц и их позиционных изменений. Наблюдения над указанными говорами велись автором с 1950 г.¹ Материалом для статьи послужили типичные наблюдения в полевых условиях во время экспедиций в Смоленскую, Псковскую, Витебскую области. Использованы диалектологические материалы экспедиций в Московскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Минскую области, а также данные картотек Псковского областного словаря и Диалектологического атласа белорусского языка, хранящейся в Институте языкознания АН БССР и в Минском пединституте им. А. М. Горького.

В настоящее время во многих говорах интересующей нас территории фонемы /ц/ и /ч/ различаются. При этом свистящая аффриката /ц'/ (не из мягкого т //) во всех говорах тверда *цапля, купцы* и т. п. Шипящая аффриката /ч/ в северо-восточных белорусских, псковских и западносмоленских говорах твердая *чыста, в'ечэром* и т. п., а в этих говорах противопоставляются *ц* и *ч*. В остальных смоленских говорах шипящая /ч'/ мягкая. Здесь противопоставлены *ц* и *ч'* — *месца, уліца, скарцы, ноч', в'ич'арок, ноц'и* и т. п.

В ряде говоров белорусско-русского пограничья представлено цоканье (неразличение /ц/ и /ч/) ². При этом в северо-восточных белорусских, псковских и западносмоленских говорах фонемы /ц/ и /ч/, не различаясь, совпадают в твердой /ц/ *цар', скарцу, баццбм, канцы, цэп, цан, цўрка, цбрный, калац, пццка, цысты, цым, цот* — *н'ецбт, междометие цмок, цбар* «ушат» (др.-русск. *чбьбрь*), *моц, абцацка* и др., а в /ц/ × /ч/ → → /ц'/ См также изоглоссу слова *бццук* — *бццўк* (карта 258 ДАБМ). Совпадение /ц/ и /ч/ в мягкой /ц'/(/ц/ × /ч/ → /ц'/) характерно для центральных и восточносмоленских говоров *ауц'а, ц'ерква, куп'ец, вцц'иц'и*,

¹ См соответствующие публикации под прежней фамилией — З. И. Жакова. Восточносмоленские говоры в их истории и современном состоянии АБД, М., 1954 и е. же, К вопросу об исторических связях северо-восточных белорусских и смоленских говоров, сб. «Знахаданннн на беларускай і рускай мовах», Мнск, 1961 и е. же. О консонантизме говоров белорусско-русского языкового пограничья «Лингвистический сборник МОПИ им. Н. К. Крупской» (в печати).

² См Р. И. Аванесов, Русская диалектология, М., 1949, стр. 131, П. А. Расторгуев, Говоры на территории Смоленщины, М., 1960, стр. 81—85, В. И. Чернышев, Псковское наречие, «Избранные труды», том второй, М., 1970, стр. 378, В. Г. Ортова, История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров, М., 1959, стр. 59 «Лингвистическая география и группировка белорусских говоров», Мнск, 1968, стр. 224—225. К. Ф. Захарова, В. Г. Ортова, Диалектное членение русского языка, М., 1970, стр. 66, карта № 9, Л. Ф. Боровкова, Заметки по фонетике говоров Печорского р. на Псковской области, «Лингвистический сборник МОПИ им. Н. К. Крупской» III М., 1975, стр. 179—180.

скўц'на, ц'улк'ў, п'ец', нбц'уй, н'ац'ўстыйа. По говорам представлена и беспорядочная мена твердых /ц/ и /ч/ (/ц/ × /ч/ → /ц//ч/): *гр'эцк'у, пада-рацкоў, дбца. ноц, доц, цбры, зацым, цасты, цасбцык, цылав'эка, в'эцный*, а также: *чэрка. паццыр'ича. чэлы, жан'ўтча, чэрства, крыл'чб, с'эра, чар', чар'ўча, п'атн'ича, чэп, чыгэн* и др.; а также /ц/ × /ч/ → /ц'//ч' (на территории центральной и восточной части Смоленщины): *скўц'на, ц'ин'ў (чиню), ц'аўб, ц'улк'ў, знэц'ит', п'ец', нбц'уй, ц'ип'илэ, а также йшч'б, айч'а, Скварч'ба, ч'ад'їла м'ялакб* и т. п. На севере Печорского р-на, в отдельных говорах Себежского и Опочского районов Псковской обл., некоторых говорах Бельского р-на Смоленской обл., на северной и северо-восточной окраинах белорусского языка отмечено цоканье, при котором /ц/ и /ч', не различаясь, совпали в /ч' (/ц/ × /ч' → /ч'/): *чэрства, трбича, мылад'эча, чар'ўча, чудотвб'р'еч, расчв'їтїт, чыгэн, крыл'чб, чэлы, с айч'б, мїл'чы. псков. д'їн'ичы «варежки»* (в других псковских говорах *дїлн'їцы, суп с кл'бчкам* и т. п. Местное население почти каждой деревни на севере Печорского р-на хорошо помнит, что раньше говорили «с причоком». В отдельных смоленских говорах /ц/ × /ч' → /ч'/: *ч'еп, ч'ир'амбн'їя, ч'ар', вўл'ич'а* и др.

Заметим, что среди говоров с различием двух аффрикат нет ни одного говора с противопоставлением /ц'/ и /ч'/ . Во многих восточносмоленских говорах наблюдается утрата затвора в аффрикате ч' : *дош', ш'ашка, ш'ай, ш'атыр'и, ш'їлав'эк* и т. п. В результате в этих говорах противопоставление /ч'/ : /ц/ → /ш'/ : /ц/. В системе одного говора возможно сосуществование реликтов цоканья (*цэп'елэ*) и произношения ш' на месте ч' (*ш'їлав'эк, замїш'їл'и, ш'атб'р'и, дош'* и т. п.), т. е. /ч' / × /ц/ → /ц/ при /ш'/ : /ц/ (например, в д. Писково Сычевского р-на). Отмечена утрата затвора в белорусских (витебских и могилевских) говорах, как цокающих, так и нецокающих, с сохранением мягкости шпнщам: *ш'блж'и, наш'албш', атв'еш'їц', св'ерш'ок, смарш'к'ї, ш'хан'н'е* и др. Следовательно, утрата затвора здесь произошла еще до отвердения аффрикаты ч'. В других белорусских и псковских говорах на месте твердого ч произносится твердый ш: *п'аршїткш; памшн'їка, в'ешный, рушн'їк, ашнїўс'а, смїшнаїа* (в сочетании -чн-, очевидно, сначала ч' → ш', а затем, после утраты v, ш' отвердел). Таким образом, в этих говорах противопоставление /ч'/ : /ц/ → /ш/ : /ц/.

В ряде белорусских и псковских говоров свистящая аффриката ц тоже теряет затвор (ц → с): *куп'ес, кан'ес, падл'ес, з прїсы* (вм. *працы*), *багїства, смок — цмок* (сказочный змей), *рукав'їса, сочев'їца* («чечевица»), т. е. здесь /ч/ : /ц/ → /ш/ : /с/, а в цокающих говорах /ч' / × /ц/ → /ц/ → /с/ при возможном различии /ш/ : /с/ (*смїшнаїа* и *смїснаїа*). Вместе с тем во многих псковских говорах, не различающих аффрикаты /ц/ и /ч', имеет место утрата фрикации, свистящего и шпнщего призвука этими аффрикатами и сохранение затвора, в результате чего произносится звук т как на месте ц: *ат'эт* («отец»), *жыл'эт* («жилец»), *брїт'ет* («братец»), *красавїт* («красавец»), так и на месте ч: *царевїт* («царевич»), *п'ет* («печь»), *б'ет* («бечь»), *дот* («дочь») и др. В псковских говорах со значением «грибы» употребляются слова: *бл'їцы* (вариант *б'эл'їцы*), *бл'їчк'и, бл'їты*. Подобное явление встречается и в белорусских говорах: *тэраз* («через»), а также *цэраз с'эн'и, тв'атк'ї, тв'атбчк*. Таким образом, возможна нейтрализация /ц/ и /ч' / с реализацией в /т' (/ц/ × /ч' → /т'/). Процесс нейтрализации затронул и /т' / × /ч' / → /ч' / (или /т' / × /ч' → /ч' /) в следующих говорах: смол. *ч'їжалб, ч'їжблїй, анч'їхрїст*; псков. и белорусск. *чыжалб, чыжблїй, анч'їхрїст*. С другой стороны, в белорусских и многих псковских говорах /т' / → /ц' /: *п'ец'* («петь»), *звац'* («звать»), *ц'анў* («тяну»), *сц'анў* («стену») и т. п., т. е. в этих говорах создается новая оппозиция /ц' / : /ц' / ← /ц' / : /т' /.

В лингвистической литературе почти нет разногласия по вопросу о времени возникновения цоканья. Большинство лингвистов считает, что цоканье сложилось в период племенных диалектов. Неразличение /ц'/ и /ч'/ отразилось в древнейших памятниках русской письменности с XI в. О причинах возникновения цоканья существуют разные гипотезы, в числе которых видное место занимает гипотеза иноязычного происхождения цоканья на основе финно-угорского субстрата. Последней противостоит теория самобытного, славянского характера происхождения неразличения аффрикат как результатов внутрисистемного развития языка³. Нет единого мнения и по вопросу о том, что древнее — цоканье или чоканье. В. Г. Орлова утверждает, что чоканье представляет собой явление более позднее сравнительно с мягким цоканьем и возникло под влиянием нормализованного типа языка на почве борьбы с цоканьем в условиях слабого распространения грамотности⁴. Л. Н. Макарова на основе анализа материалов Кировских говоров пришла к выводу, что «до второй половины XIII в. вероятность закрепления ч и ц в севернорусских говорах была одинакова, быть может, несколько увеличиваясь в пользу ч как звука с более привычными артикуляциями»⁵. Сторонники субстратного происхождения цоканья обычно ссылаются на узкую локальную ограниченность этого явления в русских говорах.

На наш взгляд, неразличение аффрикат в русских говорах следует рассматривать на общеславянском фоне, связав его с судьбой всех шипящих и свистящих согласных вообще. Так, параллельно с неразличением /ц/ и /ч'/ или /ц/ и /ч'/ во многих белорусских, смоленских и псковских говорах наблюдается шепелявое произношение мягких свистящих /с'/ и /з'/: *шем'* («семь»), *ш'эры́й* («серый»), *мылаш'* («мылась»), *раз'ива́лаш'* («развивалась») и т. п.; *ж'имой* («зимой»), *важ'мю́* («возьму») и т. п. При этом противопоставление с твердой шипящей /ш/ сохраняется — *шум*, *шю́й*, *шак*, *шрам*; *жук*, *жом*, *жар*, *жратвю́*, т. е. /с'/ : /ш/ → /ш'/ : /ш/; /з'/ : /ж/ → /ж'/ : /ж/'. Однако возможно и /с'/ × /ш/ → /с'//ш'/ (*арс'и́н* («аршин»), *пар'ю́к* (*парас'ю́к*) и *паршю́к* («кастрированный кабан») см. карту 292 ДАБМ; псков. *брус'н'и́ца* и *брушн'и́ца*). В современных псковских говорах «шепелявость» отмечается почти повсеместно, но лишь как пережиточное явление.

В ряде северо-восточных белорусских, смоленских, а также псковских говоров (на территории, входящей в круг по линии Пыталово — Печоры — Псков — Порхов — Пушкинские горы, частично и севернее), кроме этого, возможно взаимное смещение твердых свистящих и шипящих: *дбшка* («доска»), *шкарлупка* и *скарлупка*, *скю́ра* («шкура»), *скарн'ак*, *шкло* («стекло»), *шкл'анка*, *ша́бля* («сабля»), *штакан* («стакан»), *шкóл'ко* («сколько»), *шы́н* («сын»), *шва́дьба* («свадьба»), *арс'и́н* («аршин»), *снурóк*, *ба́бу́ска*, *йе́зл'и* («жгли»), *зал'эзо* («железо»), *лезат'* («лежать»), *Завранкавы* («Жаворонковы»), *в мажгю́* («в мозгу») и др., т. е. /с/ × /ш/ → /ш//с/; /з/ × /ж/ → /ж//з/. Смещение шипящих и свистящих зафиксировано и в многочисленных говорах Сибири⁶. Параллельно в этих же сибирских говорах отме-

³ Достаточно полно обзор литературы по этому вопросу дан в статье Л. Н. Макаровой (см.: Л. Н. Макарова, К истории аффрикат в русском языке, ВЯ, 1973, 1, стр. 87).

⁴ В. Г. Орлова, История аффрикат в русском языке..., стр. 43—44.

⁵ См.: Л. Н. Макарова, указ. соч., стр. 90; Е. Ф. Карский, Белорусы. Выпуск первый, М., 1955, стр. 357—360.

⁶ Д. К. Зеленин, О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», VI, М., 1954; П. Я. Черных отмечает широкое распространение шепелявого произношения мягких свистящих согласных (*шемья*, *вжяли*) в русских говорах на севере и востоке Сибири, которое проводится последовательнее, нежели произношение *жу́бы*, *шоба́ка*, *ша́м* (см. «Сибирская советская

чается неразличение аффрикат /ц/ и /ч/ или реликты цоканья, а также утрата затвора в аффрикате /ц/. В тех же говорах мягкая шипящая аффриката /ч'/ может произноситься на месте /т'/: *ходичь, кѣшачь, убрачь, чепло, чяну* («тяну»), *лоскучья, ленчяй, чѣма* («темя»), *пячь* («пясть») и др. Аналогичные примеры зафиксированы в тульских, рязанских, тамбовских, воронежских, курских говорах и в русских говорах Подолья: *ч'ижало, ч'ижблый, ч'есак* («тесак») и др. Нейтрализация /ц/ × /ч'/ → /т'/ встречается в тульских и рязанских говорах: *т'в'ет, т'в'эт'ик, т'в'ит'от', т'в'атной, т'в'ат'устай, т'анка* (встречается и *цанка, чанка*) «мотыга», *т'анат'* (градки).

Утрата затвора свистящей аффрикатой /ц/ представлена также в уральских говорах, некоторых говорах Тульской, Орловской, Курской областей, в тамбовских говорах нами отмечено слово *сосуля* («большой ломоть хлеба или пирога»), ср. костромское *цоцуля, чочуля, чеча*, южнорусское *сочсвіца* («чечевича») ⁷. Указанный ряд примеров можно пополнить почти повсеместно распространенными словами *свѣкла* (ср. серб. *цвѣкла* и болг. *цвѣклѡ*), *сверчок* (ср. серб. *цврчак*), *сверчать* (ср. серб. *цврчати*). Широко употребительное в русских говорах *шкварка* — результат утраты затвора в аффрикате /ч'/ с последующим отвердением /щ'/ → /ш/ перед задненёбным /к/ (ср. серб. *чвѣрак*, а также *чвѣрити* «вытапливать, топить сало»). По говорам известно и *скварка*, т. е. /ш/ × /с/ → /ш//с/. В украинских говорах отдельные лексемы сохраняют реликты утраты затвора шипящей аффрикатой /ч'/ . Ср., например: *мур'ачкы, мур'ачнык, мур'ачивнык, мур'ачулик, мурачунык* — *мур'ашчкы, мурашчнык, мур'ашчивнык, мурашчаник* — *мурашкы, мурашнык, мурашивнык, мурашкыкы, мур'ашнык*, а также мену шипящих и свистящих: *дѣш'ак* — *дѣс'ич, дѣс'идло, дѣс'илка, дѣс'иво, душайло* — *дѣсак, шкал'арушча* («скорлупа») ⁸.

Нельзя не согласиться с выводом Д. К. Зеленина о том, что «самое единообразие сибирско-русских говоров можно объяснить лишь тем, что в истории их преобладала фонетика единого старорусского языка, принятая в Сибирь из Европы, а не воздействие со стороны разнообразных языков и наречий коренного населения Сибири. Особенности сибирско-русских говоров свидетельствуют о неустойчивости мягких и бывших прежде мягкими согласных: ... взаимная мена шипящих и свистящих. Все это увязывается с историей всех славянских языков, где произошли в различные эпохи две палатализации задненёбных согласных: первая палатализация дала в результате шипящие звуки (*боже, душа*), вторая — свистящие (*о боже, о душе*)» ⁹. На основе анализа материала кировских говоров Л. Н. Макарова считает, что предпосылки неразличения аффрикат в русских говорах восходят, по-видимому, к периоду между второй и третьей палатализациями. Причиной возникновения цоканья и чоканья и других вариантов неразличения аффрикат является состояние фонологической системы древних окраинных северных говоров восточных славян:

эпиклопедия», I, [Новосибирск], 1929, стр. 669); В. Барте́нев. О русском языке в Обдорском крае. «Живая старина», IV, 1894, 1, стр. 127—128.

⁷ Н. М. Никитенко, З. В. Василенко, Г. П. Мудрик, К характеристике лексики народной техники, сб. «Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу (Гомель, 9—12 сентября 1975 г.)». Тезисы докладов. М., 1975, стр. 218; «Русская диалектология», под ред. П. С. Кузнецова, М., 1973, стр. 87.

⁸ И. В. Сабалодш, Названия для тысячелистника обыкновенного (*Achillea millefolium*) в говорах украинского языка, сб. «Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу», стр. 241; З. Ганудель, Названия посуды и кухонной утвари в украинских говорах Восточной Словакии, там же, стр. 256; А. А. Свещенко, О лексических особенностях говора села Новоивановки Сумской области, там же, стр. 166; П. С. Лисенко, Словник польських говорів, Київ, 1974.

⁹ Д. К. Зеленин, указ. соч., стр. 74.

вторая и третья палатализации в данных говорах осуществились, вероятно, позднее и протекали непоследовательно, что привело к очень ограниченному употреблению /ц/. Близкие по артикуляции /ч'/ и /ц'/ были слабым звеном в фонологической системе; не будучи противопоставленными, они не выполняли сигнификативной функции по отношению друг к другу, что неизбежно должно было привести к неразличению этих звуков и к конвергенции их ¹⁰.

В целом присоединяясь к гипотезе, выдвинутой Л. Н. Макаровой, нам кажется вероятным искать истоки неразличения шипящих и свистящих, в том числе /ц/ и /ч/, исходя из возможностей языковой системы праславянского языка и тенденций ее развития, а не только из состояния фонологической системы древних окраинных северных говоров восточных славян. Во-первых, реликты цоканья — цоканья свидетельствуют о достаточно широком ареале этого явления в прошлом. Так, по данным современных народных говоров и памятников письменности цокали кривичи, словене новгородские, зафиксировано цоканье на территории вятичей (говоры рязанской мещеры); отмечено цоканье на территории некоторых соседствующих районов Московской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Рязанской областей. Произношение с ч' в соответствии с литературным ц распространено в целом ряде слов в орловских, курских, калужских, тамбовских, воронежских говорах ¹¹.

Конвергенция в пользу /ч'/ прошла и у словенцев (южные славяне), где аффрикаты /ц'/ и /ч'/ совпали в /ч'/ и фонема /ц'/ совсем ушла из системы. Эти говоры описал И. А. Бодуэн де Куртене ¹².

Сербско-болгарская изоглосса свидетельствует о нейтрализации /ц/ : /ч'/ в позиции перед прежним *r*. Ср.: серб. *црв*, болг. *чървей* «червь», серб. *црвјати се*, болг. *червјасам* «червиветь»; серб. *црвлив*, болг. *червилв* «червивый»; серб. *црва*, *црвотчина*, болг. *червотчина* «червотчина»; серб. *црвен*, болг. *червен* «красный»; серб. *црвѐнети*, болг. *червенѐа се* «краснеть»; серб. *црвѐнло*, болг. *червенила* «краснота»; серб. *црвѐница*, болг. *червѐнка* «корь, краснуха»; серб. *црѐво*, болг. *чѐрво* «кишка»; серб. *црпсти*, *црѐпати*, болг. *чѐрпя* «черпать»; серб. *црпалка*, болг. *чѐрпак* «черпак, ковш»; серб. *црта*, болг. *черта* «черта»; серб. *цртати*, болг. *чѐртай* «чертить»; серб. *црно* «черное», болг. *чѐрно*, нареч. «черно»; серб. *црнети*, болг. *чернея* «чернеть»; серб. *црнило*, болг. *чернилка* «черная краска»; серб. *црнити*, болг. *чѐрня* «чернить»; серб. *црнок*, болг. *чѐрнок* «черноглазый, черноокий». Ср. также серб. *цреп* 1) «черепица», 2) «черепок, обломок»; *цмакати*, *цмбкнати* «чмокать, чмокнуть, звонко целовать»; *цмбк* 1) «звонкий поцелуй», 2) межд. «чмок» ¹³. Процесс нейтрализации /ц/ : /ч'/ у сербов отразился и в наличии параллельных форм: *чрѐт* и *црѐт* «лесная топь, болотистое пространство в лесу»; *чиж*, *чийжак*, *чийшка* и *циж*, *цийжак*, *цийшка* «чийж», *чимкати* 1) «отрывать, рвать (мясо с кости)», 2) «трепать (шерсть)» и *цимкати* «подергивать, потряхивать», *цимнути* «дернуть, встряхнуть». Характерно, что в сербском языке параллельно имела место и мена /з/ — /ж/, ср., например, *црѐмжа* и *црѐмза* «черемуха».

У западных славян развилось цоканье. Так, в большей части польских диалектов (мазовецких, малопольских и силезских) конвергенция /щ'/ × /с'/ прошла в пользу /с'/ . В этих говорах выпала из системы фонема

¹⁰ Л. Н. Макарова, указ. соч., стр. 98.

¹¹ О. Н. Моравская, Говоры Мещерского края. АКД, М., 1954; «Русская диалектология», под ред. Н. А. Мещерского, М., 1972, стр. 52.

¹² И. А. Бодуэн де Куртене, О смешанном характере всех языков, ЖМНП, 1901, сентябрь.

¹³ С. Чукалов, Българско-руски речник, София, 1957; И. И. Толстой, Сербскохорватско-русский словарь, М., 1976.

/č'/). Обычно польское цоканье рассматривается в ряду общей замены шипящих свистящими — так называемое «мазурение». Как известно, существует много теорий о происхождении польского «мазурения» и о времени его возникновения. В ходе длительной дискуссии многие польские языковеды высказались за древность этого явления и его связь с эпохой праязыка¹⁴. Цоканье и «мазурение» было присуще полабскому языку, известному цоканье и в нижнедунайском языке.

Важно отметить высказывание Р. И. Аванесова о том, что «предпосылки для появления цоканья были во всех славянских говорах и — в частности у восточных славян». Р. И. Аванесов впервые дал и фонологическую характеристику аффрикат /ц'/ и /ч'/ как комбинаторных вариантов фонемы /к/, которые «не употреблялись в тождественных фонетико-морфологических условиях», а потому «различение /ч/ и /ц/ было лишено... семасиологической нагрузки... и они оказались слабым звеном в фонетической системе славянских языков»¹⁵.

Развивая идею Е. Д. Поливанова о взаимосвязи явлений дивергенции и конвергенции, В. К. Журавлев отметил, что дивергенция и конвергенция фонем и аллофонов осуществляется путем усиления или уменьшения позиций нейтрализации и позиций различения (дифференциации)¹⁶. За последние десятилетия был введен ряд уточнений в понятие системного устройства языка, введено понятие периферии и центра языковой системы, подсистемы¹⁷. Неустойчивые блоки составляют вместе с отдельными элементами, слабо включенными в систему, периферию языка. Так, в синхронном срезе между второй и третьей палатализациями в праславянском языке на периферии фонологической системы, слабо включенными в систему были согласные, не противопоставленные относительно категории твердости и мягкости: *k, g, ch, č', ž', š', c'*. Наиболее слабым был блок аффрикат /č'/ и /c'/, поскольку они находились посередине в противопоставлении смычный — фрикативный, ибо они и смычные, и фрикативные.

В говорах белорусско-русского пограничья /č'/ и /c'/ в древности не были противопоставлены также по глухости — звонкости (дзеканье в белорусских и частично псковских говорах развилось позже), в то же время у предков украинцев такое противопоставление было: *č': ďž', c' : ďz'*, ср., например: укр. *ходжу, дзеркало, дзус, дзурч'ат'*. Фонема /c'/, появившаяся в результате второго переходного смягчения /к/, была слабой. Она слабо была противопоставлена не только /к/, но и /č'/). Как отмечает В. К. Журавлев, сила фонологической оппозиции /č'/ : /c'/ была минимальной, они противопоставлялись лишь в одной позиции — перед *i*¹⁸. Следовательно, в этом блоке аффрикат возможны были изменения. Поскольку позиции нейтрализации здесь преобладали над позициями различения, то новая фонема /c'/, оказавшаяся на периферии языковой системы, наиболее слабо включенная в систему, могла выпасть, выйти из системы, ибо, по справедливому замечанию А. Мартине, периферийный элемент, слабо включенный в систему, будет стремиться включиться

¹⁴ W. Taszucki, *Rozprawy i studia polonistyczne*, II, Wrocław, 1961, стр. 166—168; J. Wójtowicz, *Mazurzenie a granice plemienne*, «Poradnik językowy», 4, 1967, стр. 165—172.

¹⁵ Р. И. Аванесов, Очерки диалектологии рязанской мещеры, «Материалы и исследования по русской диалектологии. I. Описание одного говора по течению р. Пры, I», М.—Л., 1949, стр. 227.

¹⁶ В. К. Журавлев, К понятию «силы» фонологической оппозиции, сб. «Фонология. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского», М., 1971.

¹⁷ J. Vachek, *On the integration of the peripheral elements into the system of language*, TLP, 2, 1966, стр. 23—27.

¹⁸ В. К. Журавлев, К понятию «силы» фонологической оппозиции, стр. 119—120.

в нее¹⁹, будет двигаться по направлению к центру либо выпадет. Появилась реальная возможность для ликвидации новой фонемы /с'/, а следовательно, ликвидации противопоставления /č' : с'/, т. е. возникла возможность для неразличения /č' / и /с'/. Потенциально было три возможности такого неразличения: совпадение /č' / и с' / в /č' /, т. е. появление «чоканья», конвергенция могла пройти в пользу мягкой свистящей аффрикаты, наконец, две аффрикаты могли совпасть в промежуточной мягкой шепелявой аффрикате. Накладывал свои ограничения и произносительный аппарат, близость образования аффрикат /č' / и /с'/. Здесь проявляется взаимодействие между фонологическим и фонетическим уровнями, между реляционно-физическим уровнем и моторно-акустическим реальным содержанием звука речи. Факторы внутрисистемного, структурного порядка подготовили изменение в блоке аффрикат /č' / и /с' / и его возможные направления, структурно равновероятные. Выбор одного из этих направлений должен был определиться уже в зависимости от иных факторов.

Поскольку фонема /č' / была более функционально нагружена²⁰ и позже была поддержана результатом процесса йотации $k + j \rightarrow č'$ (а у восточных славян и $t + j \rightarrow č'$, равно как на стыке морфем $*kt' \rightarrow č'$, $*gt' \rightarrow č'$), то реально было больше предпосылок для совпадения /č' / и /с' / в шипящей аффрикате /č'/. Так, конвергенция /č' / \times /с' / в пользу /č' / прошла у словенцев, где свистящая аффриката /с' / совсем выпала из системы. Реликтами процесса нейтрализации /č' / и /с' / в пользу /č' / могут служить примеры из болгарского языка: *čàna* (наряду с *сàпка*, *цàпка*) «мотыга»; *чèркава* (наряду с *цèркава*) и производные от этого слова *чèркова*, *чèркосен*, *чèрково-ник* и др. Последнее пришло к славянам как народногреческое. Ср. также в старославянском языке *c'èstiti* и *č'istiti* в одном и том же значении «вычищать»: *всѣ безаконѣ моѣ оубѣсти* (Син. пс.), *от грѣха моего очисѣ мѧ* (Син. пс.). О приоритете шипящей аффрикаты /č' / могут свидетельствовать заимствования, восходящие к VIII—XI вв., в которых иноязычный согласный /к'/ передается посредством славянского /č'/. Например, в народной речи юго-востока Балкан греческое имя *Чурик*, в названии северо-западного македонского села *Ничпур* от личного имени греческого происхождения *Ничипор*²¹, а также в древнерусском языке: *Чуприян*, *Чупро*, *Чуприло*, *Чупря*, *Чупрак*, *Чупрук*, *Чуприян*, *Чурило*, *Чурилко*, *Чуренец*, *Чур*, *Чурей*, *Чирец*, *Чурик*, *Чурьяк*, *Чурик*, *Чирей*; *Чирец*, *Ничипор* и др.

Заимствования подобного типа увеличили частотность, функциональную нагрузку фонемы /ч'/. Одновременно мягкий /к'/ в заимствованных словах в древнерусском языке передавали и посредством твердого /к/: *Куприян*, *Купря*, *Курило*, *Курилко*, *Курьяк*, *Курьян*. У восточных славян была большая вероятность для появления чоканья, чем цоканья, так как фонема /с' / имела слишком слабую функциональную нагрузку²², а фонема /č' / была более нагружена. К тому же вторая палатализация у восточных славян прошла непоследовательно, особенно на северо-западе, на территории кривичей и словен новгородских²³. Отметим также примеры: русск.

¹⁹ А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 108.

²⁰ В. В. Иванов, Историческая фонология русского языка, М., 1968, стр. 160, 163—165.

²¹ А. М. Селищев, Старославянский язык, 1, М., 1951, стр. 26—27.

²² В. В. Иванов, указ. соч., стр. 160, 163—165.

²³ См.: Г. П. Мягченкова, О второй палатализации заднеязычных согласных в формах склонения в новгородской и псковской письменности, «Тезисы докладов научной конференции Новгородского пединститута», 1965, стр. 47—48; С. М. Гликина, О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке (на материале северо-западных говоров), сб. «Псковские говоры», II, Псков, 1968, стр. 23; Z. Głuskińska, O drugiej palatalizacji spółgłosek tylnojęzykowych w rosyjskich dialektach północno-zachodnich, «Slavia orientalis», XV, 4, 1966.

лит. *зеркало* и диалектн. *з'ёр'кало* (ст.-слав. *зръцало*), новг. форма муж. рода им. пад. *молодiк*, род. пад. *молодiка* (ср. форму жен. рода им. пад. *молодiца*), белорусск. и Смоленск. *йáйки* («яйца»), арх., тул. *напáлок*, *напáлка*, *напáлку* и т. д. («наперсток; палец перчатки»), белорусск. *огурóк*, *огуркi* — русск. *огурéц*, *огурцi*, белорусск. *нeльга* — русск. *нельзя*, *пбльга* — в одних псковских говорах и *пбл'э'а* — в других, псков. *бeльковец* и *бeльцовец*; *малёк*, *малёкá* («мелкая рыба»), фамилия *Мáлик* и *мáлeц*, *мáльцá* («мальчик»); новгород. *костiца* (варианты: *костiга*, *кострá*) и тульск. *кострiка* («жесткая кора сухого льяного стебля в раздробленном виде»); белорусск. и укр. *кóнáука* и *канбiца* («черпак»); белорусск. *сiнюк*, *сiнюкá*, *сiнюкi*, *сiнюкóм* — русск. *синiца*; в западноукраинских говорах *крóвiк*, *крóвл'áнник*, *крóвлянка* — *крóвiч* — *крóвeц*, *крóвл'áниця*; воронеж. *огникá* — *огницá* ²⁴ и др. Суффикс *-ik(a)* представляет несомненный научный интерес при решении проблемы факультативности третьей прогрессивной палатализации задненебных согласных. В ряде работ суффикс *-ik(a)* рассматривается как генетический «предок» *-ic(a)* (см. Ф. Миклошич, А. Мейе, В. Дорошевский, Р. Бошкович, К. Горалек, В. Вондрак, А. Брюкнер и др.). В исследовании Т. И. Вендиной отмечается, что образования с суффиксом *-ik(a)* сконцентрированы в основном в южно- и восточнославянских языковых континуумах. В западнославянских языках суффикс *-ik(a)* представлен единичными образованиями [здесь произошло утверждение и повсеместное распространение суффикса *-ic(a)* вместо более древнего *-ik(a)*] ²⁵.

В XII в. в Новгородском крае бытовали формы *въха*, *въхоу*. Так, во вкладной Варлаама Хутынского (1192—1207 гг.): *въхоу тоу землю хоутиньскоую*. Непоследовательность второй и третьей палатализаций в псковских говорах привела к беспорядочной мене, путанице фонем /s/ — /ch/, /s'/ — /ch'/, к произношению звука *ch* на месте /s/: *плехнул* («шлеснул»), *опояхатъ* («опоясать»), *вмехный* («совместный»), *вжах* («ужас»), *вжаху* («ужасу») и т. п., *хвистать* («свистать»), *хвистушка* (род птицы), а также звука *ch'* на месте /s'/: *них'мо*, *на х'вете* и др. Путаница фонем /s/ — /ch/ была связана и с фонологизацией *ch*, который постепенно выходил из состояния аллофона (вариации) фонемы /s/.

Непоследовательно изменился у восточных славян *k* в сочетании с *v*. Во многих восточнославянских говорах древнее сочетание *kv* сохранилось. Так, например, укр. *квiтка* («цветок»), фольк. *квiточка* и производные: *квiтнийк*, *квiтування*, *квiтникóвий* и др., белорусск. *квeтка*, фольк. *квeтáчка*, *квeтник*, *квeтнeцъ* и другие производные; псков. *квет*, *квeтка*, арханг. *квeтки*; тульск. *квeтки*, *т'в'ет*, *т'в'eт'иц*, *т'в'ит'бт'*; укр. *квiлiти* («стонать»), *квил* («стон»); белорусск. *квeлiтъ*; волог., яросл., нижегор., тульск., ряз., тамб., орл., твер., *кeлiтъ*; арх. *кялiтъ* («дразнить, сердить, доводить до слез, не давать покою; особенно — дразнить ребенка»), наряду с западным *цвeлiтъ*, др.-русс. *цвeлiти*; ряз. *квeлeтъ* («слабеть, становиться хилым, больным»); тульск., ряз. *квeлiый* и *кволий*; тамб. *квблiый*, арх. *квiлкой*; донск., терск. *квялiый*; белорусск. *квiлкой*; укр. *квблiий* («слабый, непрочный, хилый, болезненный»); укр. *квiчáти*, ср.

²⁴ Л. П. М п х а й л о в а, Названия продуктов обработки льна в новгородских говорах, сб. «Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу», стр. 207; В. И. Дьякова, В. И. Х п т р о в а, Из наблюдений над лексикой народной медицины в современных воронежских говорах, там же, стр. 247; З. Г а н у д е л ь, указ. соч.; А. Ф. И в а н о в а, Словарь говоров Подмоковья, М., 1969, стр. 504; И. П у ш к а р е в, Описание Российской империи в историческом, географическом и статистическом отношениях, I, СПб., 1844, стр. 69—70.

²⁵ Т. И. В е н д и н а, Явление конкуренции суффиксов *-ik(a)/-ic(a)* в славянских языках. АКД, М., 1973; е е ж е, Из истории суффикса *-ik(a)*, сб. «Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу», стр. 119.

диалект. *цвкѣть* и *квчѣть* («пищать, визжать»), белорусск. *квѣцаца* («копаться, возиться») ²⁶.

В. К. Журавлев отмечал, что на синхронном срезе между второй и третьей палатализацией оппозиция /k/ : /c'/ характеризовалась положительной величиной только в изоглоссной области восточных и южных славян (**kvoit-* → *cvět-*), где позиции противопоставления была только позиция перед /v/: $F = D/N = 1/13$. В то же время оппозиция /k/ : /č'/ характеризовалась тремя позициями дифференциации, остальные 11 позиций были нейтральными, слабыми. Сила оппозиции /k/ : /č' могла быть измерена числом $F = D/N = 3/11$ ²⁷.

Приведенный нами выше материал о непоследовательном изменении /k/ в сочетании с /v/ и сохранении сочетания у восточных славян дает возможность полагать, что в этих говорах позиция перед /v/ по существу не была позицией противопоставления /k/ : /c'/, $F = 0$, т. е. оппозиция /k/ : /č'/ между второй и третьей палатализацией в этих говорах фактически отсутствовала, а была только оппозиция /k/ : /č' /.

Ф. П. Филин относит вторую палатализацию заднеязычных *k*, *g*, *x* к III—IV вв. н. э., а изменение *kv*, *gv* в *cv*, *zv* к V—VI вв. н. э. ²⁸

Итак, фонема /č'/ в говорах восточных славян имела довольно большую частотность употребления, значительную функциональную нагрузку, достаточно четко противопоставлялась фонеме /k'. Все это укрепляло позицию пишущей аффрикаты /č'/ в фонологической системе говоров восточных славян. в то время как свистящая аффриката /c' имела слабую функциональную нагрузку, слабо противопоставлялась фонеме /k/, а во многих говорах совсем утрачивала это противопоставление и превращалась в аллофон фонемы /k/. Поскольку оппозиция /č'/ : /c' была крайне слабой и существовала только в одной позиции перед /i/, то естественно ожидать выход фонемы /c'/ из системы путем нейтрализации в пользу /č'/ . Такая нейтрализация, видимо, имела место на всей территории восточнославянской изоглоссной области. Так, реликты совпадения /č'/ и /c'/ в /č'/ сохранились в украинском языке: *чпляти* («цеплять»), *чплятися*, разг. *зачіплювати*, *зачіплюватися*, нареч. *чпко* («цепко») и др.; в белорусском (помимо говоров, не различающих пишущую и свистящую аффрикаты): *адчпнісь* («отцепишься») и др.; а также в подмосковных, тульских, рязанских, тамбовских говорах: *ч'ап'аіа́*, *ч'ап'эл'н'ик* («сковородник»), в говорах Подмосковья *ч'ел'езна́* («не подвергавшаяся обработке земля, целина») ²⁹. В любом цокающем говоре обычно отмечаются и случаи произношения ч' на месте ц. В лингвистической литературе отмечено немало цокающих говоров.

У южных славян (болгар и сербов) процесс нейтрализации /c'/ : /č'/ задержался, а затем после третьей палатализации прекратился, поскольку эти аффрикаты поддерживались другими аффрикатами: /c' — свистящей аффрикатой /d͡z'/, а /č' — пишущей аффрикатой /d͡z'/:

$$\begin{array}{c} c' - \check{c}' \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \widehat{d}z' - \widehat{d}z' \end{array}$$

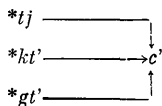
²⁶ «Русско-украинский словарь», Киев, 1955; В. И. Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского языка, II, IV, М., 1955; «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского р-на Рязанской области)», М., 1969; М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, II, М., 1967.

²⁷ В. К. Ж у р а в л е в, К понятию «силы» фонологической оппозиции, стр. 119.

²⁸ Ф. П. Ф и л и н, Образование языка восточных славян, М.—Л., 1969, стр. 166.

²⁹ См.: «Русско-украинский словарь», Киев, 1955; А. Ф. И в а н о в а, Словарь говоров Подмосковья.

В старославянском языке были и две буквы: «земля» и «зело». Были эти аффрикаты и у предков теперешних украинцев. Вот почему украинские говоры не развили ни чоканья, ни цоканья и сохранили обе аффрикаты /č'/ и /c'/. Характерно, что цоканья — чоканья нет и у «русинов», которые живут на территории Словакии³⁰. Венгерский славист И. Мелих отмечает на территории Угорщины древние поселения южных славян, которые языком были похожи на восточных сербов или западных болгар. Несмотря на финно-угорское соседство, цоканье в этих говорах не развивалось³¹. Известный чешский ученый Л. Нидерле на основании археологических данных, исторических документов, славянской номенклатуры гор, рек допускал, что отдельные восточнославянские поселения на южных склонах Карпат и в Закарпатье появились еще в глубокой древности³². Говоры закарпатской Руси и смежных областей исследовал И. Панькевич³³. В этих говорах различаются шипящая и свистящая аффрикаты /č'/ и /c'/, наряду с аффрикатами /dž'/, /dž'/, и нет никаких указаний на цоканье в прошлом. У западных славян функциональная нагрузка фонемы /c'/ была усилена за счет результата изменения древних сочетаний:



Ср. *swetja → польск. *świeca*; *mogti → польск. *noc*; *noctis → польск. *noc*. Поэтому нейтрализация /č'/ — /c'/ пошла в пользу свистящей фонемы /c'/, и стало развиваться цоканье. Наконец, /c'/ и /č'/, не различаясь, могли совпасть в среднем, переходном шепелявом звуке. Такое произношение отмечено в говорах русского языка.

По вопросу о том, следует ли рассматривать чоканье — цоканье в общем ряду смещения шипящих и свистящих в говорах, нет единого мнения. В. Г. Орлова считает, что эти явления разного происхождения, ибо у них изогlossы не совпадают³⁴. Прямо противоположной точки зрения придерживается Ф. П. Филин, который между цоканьем и с" и з" шепелявыми видит прямую генетическую связь. Ф. П. Филин справедливо полагает, что совпадение или сближение мягких свистящих и шипящих по своей фонологической характеристике то же явление, что и цоканье и представляет собой продукт праславянского звукового наследия³⁵. Все польские языковеды в одном ряду «мазурения» рассматривают неразличение /č'/ и /c'/, а также неразличение /š/ — /s/, /ž/ — /z/, замену шипящих свистящими. Как мы уже отмечали выше, многие полонисты относили предпосылки «мазурения» к праславянскому периоду.

В. Н. Чекман установил, что для белорусских говоров характерно переднесреднеязычное — переднесреднеязычное произношение с", з". При этом В. Н. Чекман отметил, что шепелявость в северо-восточных белорусских говорах выше, чем в юго-западных. В своих исследованиях В. Н. Чекман пришел к важному заключению о том, что шепелявость возникла

³⁰ И. Панькевич, Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей, Прага, 1938, стр. 123—140.

³¹ J. Melich, A honfoglalás kori Magyarország, I—III, Budapest, 1925—1929.

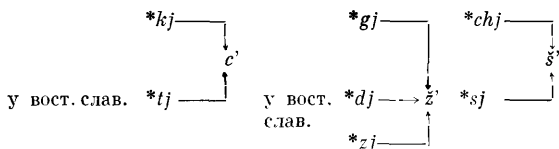
³² N i e d e r l e, Původ a počátky Slovanů východních, «Slovanské Starožitnosti», IV, Praha, 1924, стр. 162—172.

³³ И. Панькевич, указ. соч., стр. 123—140.

³⁴ В. Г. Орлова, указ. соч., стр. 122—123.

³⁵ Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 272.

в процессе развития противопоставления твердости — мягкости согласных³⁶. Однако в связи с тем, что В. Н. Чекман развитие категории твердости — мягкости согласных относит к периоду после падения редуцированных, он и развитие «шепелявости» считает поздним явлением. Ф. П. Филин весьма справедливо заметил противоречие последних выводов В. Н. Чекмана с языковыми фактами, указав, что совпадение свистящих и шипящих согласных зафиксировано в новгородской письменности до падения редуцированных³⁷. Это противоречие снимается, если принять точку зрения В. К. Журавлева о том, что категория «мягкости» согласных генерируется в процессе распада группофонем, который начался после монофтонгизации дифтонгов. На основе анализа многих фактов славянских языков В. К. Журавлев показал, что процесс передачи признака дизности гласного предшествующему согласному, тенденция к палатализации как общеславянское регулярное явление утратило актуальность где-то между процессами монофтонгизации дифтонгов (около VI в. н. э.) и падением редуцированных (XI—XII вв. н. э.). После процесса монофтонгизации дифтонгов возникают такие сочетания согласных и гласных фонем, которые противоречат принципу группового сингармонизма; признак дизности становится релевантным для согласных и гласных, тенденция палатализации прекращает свое действие, группофонемы начинают распадаться, начинают формироваться системы вокализма и консонантизма³⁸. Из «мягкостной корреляции слогов» (Р. О. Jakobson) закономерно развилась «мягкостная» корреляция согласных, характерная для части славянских языков. Рефлексы дизных (палатализованных) согласных, получивших признак дизности /' / как дополнительную артикуляцию от последующего согласного переднего ряда в период так называемой первой палатализации $k \rightarrow c'$, $g \rightarrow \text{ж}'$, $x \rightarrow \text{ш}'$, совпали с рефлексами «палатальных» («гачековых») согласных, позже образовавшихся в результате процесса йотации, имевших палатальную артикуляцию как основную:



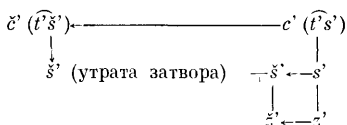
Таким образом, все шипящие фонемы, во-первых, получили достаточную функциональную нагрузку, во-вторых, были одинаковы на реляционно-физическом уровне (с фрикацией), в-третьих, они стали нейтральными по признаку дизности. Дизные свистящие согласные c' , $\text{ж}'$, $\text{ш}'$ на реляционно-физическом уровне по характеру звука приближались к шипящим: наличие фрикации, смягченность. Это обусловило после распада группофонем «перетекание» данных дизных свистящих c' , $\text{ж}'$, $\text{ш}'$ в шипящие \check{c} , $\check{\text{ж}}$, $\check{\text{ш}}$, развитие ими «шепелявости» у восточных славян. В «перетекании» немаловажную роль играло то обстоятельство, что к этому периоду шипящие уже получили значительную функциональную нагрузку. Развитие «шепелявости» у /s'/ и /z'/ поддерживалось и увеличением функ-

³⁶ В. Н. Чекман, Развитие противопоставлений твердых и мягких согласных фонем в белорусском языке. (Типологическое и сравнительно-историческое исследование). АКД, Минск. 1968, стр. 14; с г о ж е, Да пытання аб «шапялявых» С' і З' у беларускіх гаворках, «Весті АН БССР», Сер. грамадскіх навук, 3, 1969.

³⁷ Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, стр. 272.

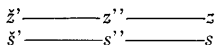
³⁸ В. К. Журавлев, Генезис группового сингармонизма в праславянском языке. АДД, М., 1965, стр. 19—27.

циональной нагрузки фонемы /š'/ за счет утраты затвора фонемой /č'/ (*u'áшка* и т. п.). У восточных славян развитие чоканья, шоканья и «шепелювости» оказалось процессами взаимосвязанными и взаимообусловленными:

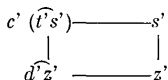


«Перетекание» свистящих в шипящие поддерживалось и расширением функциональной нагрузки фонем /ž'/, /š'/, за счет изменения $z \rightarrow \text{ž}'$, $s \rightarrow \text{š}'$ перед «гачековыми» n' , l' , r' (из **nj*, **rj*, **lj*). «Гачековые» l , \tilde{n} и диззные l' , n' конвергируют в русском языке ($\tilde{l} \times l' \rightarrow \tilde{l}$, $\tilde{n} \times n' \rightarrow \tilde{n}$), и с этим может быть связано $\text{š}' \times \text{s}' \rightarrow \hat{\text{s}}$ («шепелявом»), $\text{ž}' \times \text{z}' \rightarrow \hat{\text{z}}$ («шепелявом»). Ср. широко известное по русским и белорусским диалектам *дражнить*, *порбжний*, др.-русс. *беж него*, *въжлюбити*; *вѣшний*, *всевѣшний*, др.-русс. *оушнати*, в XVII в. у протопопа Аввакума, который был родом из с. Григорова за Кудьмой (ныне в Горьковской обл.) находим *соблажняю*³⁹.

После распада групп фонем и исконые z s получают диззность, которая ранее для них была обусловлена позицией перед диззными гласными (переднего ряда): *зАть* — *зобъ*, *село* — *соужъ*. Таким образом, диззность — недиззность становится дифференциальным признаком свистящих /z'/ : /z/, /s'/ : /s/. Вместе с тем и эти свистящие оказываются втянутыми в процессе конвергенции: /z'/ стал конвергировать с /ž'/, а /s'/ с /š'/ . Развитие «шепелявости» у свистящих /z'/, /s'/ могло повести к нарушению противопоставления диззных — недиззных свистящих /z'/: /z', /s'/: /s/, в результате чего стало возможно вообще смешение шипящих и свистящих согласных:



У западных славян скорее можно было ожидать «перетекание» шипящих в свистящие, ибо блок свистящих там был устойчив:



После процесса монофонгизации дифтонгов создаются асингармирующие слоги, а третья палатализация свидетельствует о сближении тембра смежных звуков, находящихся в двух соседних слогах. Поэтому третья палатализация, с одной стороны, укрепила позиции фонемы /c'/ и мягких свистящих /z'/, /s'/, с другой стороны, она протекала непоследовательно. В результате третьей палатализации фонема /c'/ появилась в новых позиционных условиях, где могли употребляться и фонема /k/, и фонема /č'/ . Фонема /c'/ могла теперь употребляться перед многими гласными. Сила оппозиций /k/ : /c'/, /c'/ : /č'/ теперь возросла в несколько раз. Закреплялась беспорядочная мена шипящих и свистящих, на смену чоканья могла прийти и беспорядочная мена /č'/ — /c'/, так как позиции /c'/ все-таки укрепились. Однако блок аффрикат /č'/ — /c'/ продолжал оставаться на периферии фонологической системы и был слабо-

³⁹ «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Пг., 1916, стр. 71 и др.

включенным в систему. Свидетельством того, что свистящая аффриката /с'/ еще не закрепилась в системе, а, наоборот, продолжала «выходить» из системы и после третьей палатализации, могут служить примеры утраты звуком /с'/ ффрикативного элемента или затвора.

Таким образом, в самой фонологической системе согласных еще в праславянском языке была заложена возможность неразличения шипящей и свистящей аффрикат /č'/ и /с'/ . На дальнейшее развитие слабого звена аффрикат в том или ином направлении оказали влияние фонетика и ограничения, накладываемые речевым аппаратом. На процесс закрепления в говорах беспорядочной мены /č'/ — /с'/ или цоканья могли повлиять и внешнелингвистические факторы — языковые контакты и иноязычное влияние, так как блок аффрикат был слабым звеном в языковой системе.

Явления, связанные с неразличением шипящих и свистящих, показывают, что в процессе эволюции языка действуют разнообразные факторы, но ведущими являются внутрисистемные.

Неразличение /č'/ и /с'/ в древности имело более широкое распространение, но оно закрепилось потому в говорах северо-запада Руси, что там факторы внутрисистемного, структурного порядка были поддержаны другими факторами (большая непоследовательность второй и третьей палатализаций, общий процесс неразличения шипящих и свистящих, их конвергенция; контактирование с иноязычными говорами). В других русских говорах остатки старого процесса цоканья, либо нереализовавшиеся элементы «нового» процесса цоканья, беспорядочной мены /ч'/ и /ц'/, процесса становления двухаффрикатной системы закрепились на периферии других ярусов языка: морфологии (например, дещричastia *ушоуцы* и *ушочки*) и лексики. Как явления древние и цоканье, и цоканье первоначально были «мягкими». Отвердение /ч'/ и /ц'/ по говорам проходило позже.

САБАШЕЕВА М. К.

К ПРОБЛЕМЕ СМЫСЛОВОЙ ЗАВЕРШЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Каждое предложение выражает мысль о некотором фрагменте объективной действительности и отношение к нему со стороны субъекта речи. Объективное и субъективное в сознании, а следовательно, и в языке, привели многих лингвистов к мысли о целесообразности раздельного изучения двух сторон предложения: номинативной (или называемой также пропозитивной, объективно-логической, информативной) и коммуникативной (называемой также модальной или субъективной)¹. Другие, напротив, полагают, что объективные и субъективные факторы в языке представляют собой глобальную систему и что отрыв одного фактора от другого допустим лишь как условный метод исследования².

Настоящая статья представляет собой попытку исследовать роль объективных и субъективных факторов в смысловой завершенности предложения на материале старофранцузского кондиционала в модальном значении. Делается попытка доказать и объяснить наличие связи между типами контекстуального функционирования кондиционала, с одной стороны, и, с другой стороны, утвердительным, отрицательным характером предложения и его коммуникативной установкой. В качестве материала исследуются памятники французского языка IX—XIII вв.

В соответствии с особенностями контекстуального функционирования модального кондиционала все предложения, в которых он фигурирует, можно разделить на две группы: к первой относятся утвердительные предложения; ко второй — вопросительные и отрицательные. В утвердительных предложениях кондиционал связан с определенными типами контекста, отчетливо обнаруживает избирательность к окружению и наполнению формы. В отрицательных и вопросительных предложениях кондиционал безразличен к контекстам, не проявляет какой-либо избирательности к своему окружению и наполнению. Каковы типы контекста кондиционала в утвердительном предложении?

Наиболее распространенным типом контекста является либо придаточное условие, либо член предложения, содержащий условие в конденсированном виде и легко трансформируемый в соответствующее придаточное: «*Il m'ocirroit lues manois, S' il me savoient par ses boï s*» (I. et G., 6327—6328)³ «Они тотчас убили бы меня, если бы знали,

¹ Ср.: Ch. Fillmore, The case for case, в кн.: «Universals in linguistic theory», New York, 1968, стр. 29; Н. Д. Арутюнова, О номинативной и коммуникативной моделях предложения, ИАН ОЛЯ, 1972, 1; и др.

² Г. В. Колшанский, Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975.

³ В статье приняты следующие сокращения названий старофранцузских памятников: Aiol — Aiol, Paris, 1877; Bér. Tr. — Bérout, Roman de Tristan, Paris, 1903; Ch. de Rol. — Chanson de Roland, Tours, [б. г.]; En. — Enéas, Halle, 1891; L'Esc. — L'Escoufle, Paris, 1894; Fabl. — Fabliaux, I, Paris, 1872; G. Le Cl. B. — Guillaume le Clerc, Le Bestiaire, Leipzig, 1892; I. et G. — Ille et Galeron de Gautier d'Arras, Halle, 1891; M. de Fr. — Marie de France, Lais, Halle, 1900; Ph. de N. — Philippe de Novare, Des quatre tenz d'age d'ome, Paris, 1888; R. de C. — Raoul de Cambrai, Paris, 1882; Yv. — Yvain, Der Löwenritter von Christian von Troyes, Halle, 1887.

что я скрываюсь в этих лесах»; «*Enuiz sereit a des raisnier et a conter trestoz les mes, Ki sovent vindrent et espes*» (En., 828—830) «Скучно было бы перечислять и рассказывать о кушаньях, которые подавались постоянно и в изобилии». Инфинитивная группа *a desraisnier et a conter* может быть трансформирована в придаточное *si on desraisnieit et si on conteit*. Условие может быть также имплицитно: «*Compainz Rollanz, kar sunez vostre corn, Si l'orrat Carles, si retournerat l'ost*». Respunt Rollanz: „*Jo fereie que iols, En dulce France en perdreie mun los*“ (Ch. de Rol., 1051—1054) «„Друг Роланд, протрубите-ка в ваш рог, услышит его Карл, вернется войско“. Отвечает Роланд: „Я поступил бы как безумец. Я потерял бы свое доброе имя в милой Франции“. Содержание высказывания Роланда «Я потерял бы свое доброе имя» связано с имплицитным условием «если бы я протрубил в рог».

Во всех этих случаях кондиционал обозначает действие эвентуальное, осуществление которого зависит от объективных факторов, представленных как гипотеза говорящего, т. е. от эксплицитного или имплицитного условия. Имплицитность условия в предложении, содержащем кондиционал, делает это предложение семантически неполноценным, синсемантическим, увеличивает его связь с предшествующим контекстом и способствует образованию сверхфразовых единств.

Второй тип контекста составляют определения к подлежащему, выраженные относительным придаточным или прилагательным: «*Bien tancerroit a un estrange, Si il qui tance a son compaignon*» (Yv., 644—645) «Вполне мог бы поссориться с чужеземцем тот, кто ссорится со своим другом»; «*C'est la greignor beste qui seit E qui greignor fes portereit*» (G. le Cl. B. 3177—3178) «Это самый большой зверь из всех, какие есть, и который вынес бы самый большой груз».

Определения приписывают подлежащему такие признаки, такое качественное своеобразие, которое мотивирует возможность совершения действия, выраженное кондиционалом. Если в первом типе контекста действие кондиционала представлено зависящим от внешних факторов, преходящих условий, то в данном случае действие кондиционала представлено как постоянный потенциальный признак определенной субстанции. Здесь форма кондиционала эквивалентна сочетанию глагола *pouvoir* с инфинитивом: *tancerroit = peut tancer, portereit = peut porter*.

Особый тип употребления представляет собой кондиционал в форме 1-го лица ед. числа: «*Je t'ociroie, mais trop te voi effant*» (R. de C., 4553) «Я убил бы тебя, но вижу, что ты еще слишком юн»; «*A tesmoing en traioie maint franc home gentil*» (Aiol, 11) «Я привлек бы в свидетели множество благородных рыцарей».

Из совокупности лексико-грамматического содержания предложения имплицитно выводятся значения возможности или желания со стороны субъекта речи совершить действие, выраженное кондиционалом. Субъект речи осознает собственные возможности, склонности, желания и берет на себя ответственность за утверждение потенциального действия. Мотивировка при этом остается имплицитной. Значение возможности или желания возникает при декодировании вследствие благоприятного сочетания лексико-грамматических значений и прежде всего лексического значения глагола. В тех случаях, когда семантика глагола такова, что не допускает положительного отношения к действию со стороны субъекта (как, например, в приведенном выше фрагменте из «Песни о Роланде», 1051—1054), предложение оказывается синсемантическим. При этом действие кондиционала, не будучи зависимым от намерений и качеств субъекта, представляется производным от каких-то условий, вытекающих из предшествующих предложений. Первое лицо единственного числа может рассматриваться

как особый внутренний контекст кондиционала грамматического порядка.

Следующим типом контекста является внутренний лексический контекст, т. е. кондиционал модальных глаголов: «*Bien tost les purreit damagier*» (M. de Fr. 192 v. 183) «Он очень быстро смог бы их разбить»; «*Tuit li enfant devoient ranre exaemple a lui*» (Ph. de N., 3) «Все дети должны были бы брать с него пример». Посредством кондиционала модального глагола говорящий выражает оценку степени реализуемости действия инфинитива⁴. В отличие от презенса и футурума индикатива, формой кондиционала говорящий указывает на незначительность шансов реализации действия инфинитива, снижает категоричность утверждения.

Последний тип контекста составляют обстоятельства, выражающие эмоционально-волевое отношение к действию: *volontiers, mielz, ainçois, a enviz* и др.: «*Volontiers se vengereit*» (M. de Fr. 82 v. 210) «Он охотно отомстил бы за себя»; «*Neuil, ainz se leroit la gorge Soier a un trenchant rasoir*» (Fabl. XIX, 218) «Нет, он скорее позволил бы перерезать себе горло острой бритвой». Таким образом, для того чтобы фигурировать в утвердительном семантически законченном предложении, кондиционал нуждается в опоре на определенный контекст, на сочетание с дополнительными единицами значения.

Совсем иная картина предстает в вопросительных и отрицательных предложениях. Здесь кондиционал не связан ни с какими типами контекста, проявляет безразличие к внешнему окружению и внутреннему наполнению: «*A vos ne mesferoit il mie*» (Bér Tr., 1104) «Вам он не причинил бы зла»; «*Il n'en donroit. 1. denier monaé*» (Aiol, 7747) «Он за него не дал бы чеканного динара»; «*Feries vos dame devant moi?*» (I. et G., 4103) «Вы ударили бы даму в моем присутствии?»; «*En cui aroit il donc fiance S'en moi pop?*» (L'Esc., 3610—3611) «Кому доверился бы он, кроме меня?». Как видно из примеров, в отрицательных и вопросительных предложениях могут отсутствовать условия (как эксплицитное, так и имплицитное либо конденсированное в каком-то члене предложения) и определения к подлежащему; при этом необязательно наличие модальных глаголов или обстоятельств эмоционально-волевой семантики. Тем не менее предложения в смысловом отношении полноценны, автономны по содержанию.

Своеобразие контекстуального функционирования кондиционала в самостоятельном предложении можно представить следующим образом:

	Утверждение	Вопрос	Отрицание
Типы кон- текста	{ Условие Характеризация подлежащего Подлежащее-субъект речи Модальные глаголы Обстоятельства эмоционально- волевого значения		

Каков смысл рассмотренных фактов? Какая закономерность лежит в основе функционирования кондиционала в утверждении, отрицании и вопросе? Представляется, что объяснение можно найти, если обратить внимание на нерасчлененность перспективы настоящего-будущего, свойственную кондиционалу. Языковой материал свидетельствует о том, что только обстоятельства или временные значения окружающих глагольных форм позволяют иногда уточнить, к какому именно из этих двух временных планов относится действие в форме кондиционала: «*Or sent mon cuer, or v o i l amer, O ren voldreie molt parler*» (En., 8313—8314)

⁴ Г. Цваненбург указывает, что кондиционал глагола *pouvoit* по смыслу связан не с этим модальным глаголом, а с зависимым инфинитивом (H. Z w a n e n b u r g, *Posse et son évolution en vieux français*, Paris — Amsterdam, 1927, стр. 58).

«Теперь чувствует мое сердце, теперь я хочу любить, теперь я хотела бы об этом много говорить»; «D u n c s a v r a bien Yseut la givre Que mal-ement avra ovré, Mex *voudroit* estre arse en un ré» (Bér. Tr., 1211—1213) «Тогда узнает змея Изольда, что плохо она поступила. Тогда ей больше захотелось бы, чтобы ее сожгли на костре».

В первом примере наречие *or* и контекстные времена относят действие *voldreie* к моменту речи; во втором примере наречие *dunc* и контекстные времена относят *voudroit* к будущему от акта речи.

Недостаточность временного значения кондиционала не позволяет ему четко локализовать процесс во времени, т. е. выполнить предципирование. Поэтому в утвердительном предложении, содержащем сообщение об определенной ситуации, возникает конфликт между значением утверждения, характеризующим предложение в целом, и отсутствием четкой соотносительности с моментом речи у такого важнейшего компонента ситуации, как процесс, протекающий во времени⁵. Поэтому, очевидно, старофранцузскому кондиционалу необходимы в контексте дополнительные единицы значения, которые восполнили бы недостаточную актуализацию действия этой глагольной формой. Нерасчлененность временной перспективы действия означает нечеткость представления его в действительности сознания.

Информативная полнота предложения, его смысловая завершенность оказывается зависимой от грамматического значения глагола в личной форме. Это обстоятельство иллюстрирует теснейшую связь между семантическими и грамматическими закономерностями⁶ и ведущую роль грамматики в организации смысла предложения.

Дополнительные контекстные единицы значения устраняют конфликт между утверждением о действии и отсутствием необходимого «временного адреса» этого действия. Можно считать, следовательно, что значения, заложенные в рассмотренных выше типах контекста, играют роль актуализаторов наряду с глагольной формой, способствуют соотносению содержания высказывания с представлением говорящего. В чем сущность этих дополнительных элементов значения, с которыми сочетается форма кондиционала?

Если эта единица значения выражает условие, то она выполняет двойную функцию: номинативную, поскольку называет ту ситуацию, от которой зависит реализация действия кондиционала, и актуализирующую (субъективную), поскольку эта ситуация является гипотезой говорящего.

Определения к подлежащему указывают на объективные признаки субстанции, т. е. осуществляют номинацию элемента действительности. Вместе с тем, выражая качественную характеристику субстанции, они дают ей оценку с точки зрения субъекта речи. При подлежащем, совпадающем с субъектом речи, номинация подлежащего способствует актуализации действия кондиционала, поскольку 1-е лицо ед. числа находится на «пересечении кода и сообщения»⁷. Семантика модальных глаголов такова, что позволяет констатировать потенциальное как черту действительности. В результате сложения смыслов (лексического значения модальных глаголов и грамматического значения кондиционала) выражается оценка говорящим степени реализуемости действия инфинитива, т. е. дополнительный актуализирующий элемент значения.

⁵ О пространстве и времени как основных элементах структуры ситуации см.: В. Г. Г а к, Высказывание и ситуация, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1973, стр. 359.

⁶ См.: Х. П у т н а м, Некоторые спорные вопросы теории грамматики, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 80.

⁷ Р. О. Я к о б с о н, Шифтеры, грамматические категории и русский глагол, сб. «Принципы типологического анализа языков различного строя», М., 1972, стр. 98.

Обстоятельства, выражающие эмоционально-волевое отношение к действию, осуществляют номинацию определенной связи в объективной действительности. Благодаря номинации этой связи представление о потенциальном действии оказывается связанным с субъективным отношением к нему подлежащего. Возникает «вторичная субъективность». Можно заключить таким образом, что элементы значения в утвердительном предложении, восполняющие недостаточность предципирования кондиционала, осуществляют одновременно номинативную и актуализирующую функции, выступают в качестве факторов как объективных, так и субъективных.

Почему при вопросе и отрицании кондиционал не нуждается в опоре на те контекстуальные единицы значения, которые должны присутствовать в утверждении для смысловой законченности высказывания? Вопросительное предложение как тип коммуникации предполагает наличие неопределенной величины в составе отражаемой ситуации. Задавая вопрос, говорящий лишь находится на пути к адекватному отражению действительности и не утверждает таковой. Обязательной предпосылкой для вопросительной коммуникативной установки является «недостроенность» отражаемой ситуации, наличие неизвестного в составе номинации. Поэтому недостаточность актуализации действия кондиционалом не препятствует ему осуществить предципирование в рамках вопроса.

При отрицании независимость кондиционала от типов контекста связана со спецификой отражения действительности отрицательным высказыванием. Если утвердительные предложения являются формой непосредственного отражения действительности, то отрицательные выступают как более сложная форма отражения, опосредованная, составившая, как кажется, с доказательством от противного. В отрицательном предложении номинация события проходит более сложный путь, чем в утвердительном.

В самом деле, для того чтобы произнести, например, предложение *Рыба не летает*, необходимо предварительно утвердительное отражение фактов (*Птица летает, Муха летает*), затем формирование представления о том, что способность летать является возможным признаком биологических особей, и, наконец, проверка этого представления на практике путем сопоставления признака с целым рядом особей, результатом чего является предложение *Рыба не летает*. Отрицательное предложение, называя разъединенность как объективное явление материального мира⁸, представляет собой опровержение той или иной связи как не осуществившейся в данной реальности, т. е. является знаком соотношения с действительностью. В вопросительных и отрицательных предложениях объективные и субъективные элементы значения нерасторжимо связаны.

Итак, если при утверждении неполноценность предципирования кондиционала компенсируется единицами значения, входящими в состав предложения, то при вопросе и отрицании эта неполноценность возмещается тем общим синтаксическим значением, которое характеризует предложение в целом. Иными словами, своеобразие отражения действительности в вопросительных и отрицательных предложениях «предъявляет» меньше «требований», чем при утверждении, к актуализирующим свойствам глагольных форм. Во всех рассмотренных случаях контекстуального функционирования кондиционала было обнаружено, что единицы значения, компенсирующие недостаточность актуализации действия кондиционалом, совмещают предметно-логические и субъективные элементы семантики.

⁸ Е. И. Шендельс, Отрицание как лингвистическое понятие, «Уч. зап. [ИМПНИИЯ]», 49, 1959, стр. 140.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ХРОМОВ А. Л.

СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ТАДЖИКИСТАНЕ

С начала 60-х годов у нас в стране заметно возрос интерес к топонимическим исследованиям. Об этом свидетельствуют обильный поток публикаций¹, многочисленные конференции, создание специальных топонимических комиссий, чтение курсов лекций и организация спецсеминаров по топонимике в ряде вузов страны. Активизировалась деятельность топонимистов в республиках Средней Азии и в Казахстане². Топонимическая волна докатилась и до Таджикистана, с новой силой пробудив интерес таджикских языковедов к местным географическим названиям. Подъему топонимических исследований в Таджикистане в значительной мере способствовала Всесоюзная конференция по топонимике Советского Союза, созванная в начале 1965 г. в Ленинграде по инициативе Географического общества СССР³.

Территория Таджикской ССР представляет интересный объект для исследований топонимиста как в плане синхронии, так и в плане диахронии. Современная топонимия Таджикистана сложилась исторически из нескольких пластов различного языкового происхождения, среди которых отчетливо выделяются иранский (таджикский, памирский, ягнобский, согдийский), тюркский (узбекский и киргизский), славянский (русский). Встречаются и такие географические названия, языковую принадлежность которых установить пока не удается.

Иранская топонимия, самая многочисленная, представляет основной объект топонимических исследований в Таджикистане. И в языковом, и в хронологическом отношении она не составляет единства. Это понятие лингвогенетического характера, аналогичное понятию «иранские языки»⁴.

Исследование иранской топонимии Средней Азии началось во второй половине прошлого века русскими учеными и значительно расширилось в советское время. Показательны в этом отношении 30-е годы, когда сбор местной топонимии проводился в процессе этнографических и диалектологических экспедиций. Именно к этому времени относятся известные работы М. С. Андреева, С. И. Климчицкого, Н. Г. Маллицкого, А. З. Ро-

¹ См.: «Ономастика. Указатель литературы. 1963—1970», М., 1976.

² С. И. З и н и н, Ономастика республик Средней Азии и Казахстана. Краткий библиографический указатель литературы за 1917—1972 гг., Ташкент, 1974.

³ «Всесоюзная конференция по топонимике СССР. Ленинград. 28 янв.— 2 февр. 1965 г. Тезисы докладов и сообщений», Л., 1965.

⁴ Ср. «иранская топонимия» — «топонимия Ирана», «иранские языки» — «языки Ирана». В научной литературе встречается также термин «ираноязычная топонимия».

зенфельд (некоторые из этих работ, будучи подготовленными еще в то время, увидели свет значительно позже)⁵. В конце 40-х и в 50-е годы изучение топонимии Таджикистана проводилось в основном учеными Москвы и Ленинграда (Э. М. Мурзаев, А. З. Розенфельд, О. И. Смирнова)⁶.

Сбор топонимического материала не носил тогда систематического и целенаправленного характера, он сопутствовал основным научным целям того или иного исследователя, интересы которого лежали либо в области диалектологии, либо в области истории. К тому же сфера деятельности исследователя была ограничена определенным регионом. В более выгодном положении оказались некоторые юго-восточные районы Таджикистана (объект изучения А. З. Розенфельд) и в какой-то мере долина Верхнего Зеравшана (объект изучения О. И. Смирновой).

Почти для всех работ по топонимии Таджикистана, вышедших до 60-х годов, характерным является сосредоточение внимания на диахроническом аспекте (в некотором отношении исключение составляют лишь работы А. З. Розенфельд). Преобладание диахронического аспекта было заметно и в трудах по истории, географии и краеведению, а также в филологических работах, в которых в той или иной связи затрагивались вопросы топонимики⁷. Повышенный интерес к диахронии определялся в первую очередь характером самого материала: в топонимии Таджикистана просматриваются мощные субстратные пласты, к тому же частично зафиксированные в средневековых письменных источниках. На фоне этих «загадочных» топонимических глыб поздние наслоения казались менее интересными, тем более что многие из них, как иногда отмечалось, «легко этимологизируются на таджикской почве» (эта вина была легкостью часто оборачивается чрезмерной трудностью). Недаром В. Ф. Минорский, давая общую оценку всем исследованиям иранской топонимии, писал: «В целом результаты наших исследований, несмотря на неполноту и отрывочность, весьма существенны, но общий путь исследования был направлен, главным образом, от старых письменных источников к современной географии, теперь же настало время перенести наблюдательный пункт в другой конец, а именно: к источнику еще существующих названий, в которых можно попытаться найти закономерности и объяснить местные особенности»⁸.

Публикации 60-х годов (статьи А. З. Розенфельд, О. И. Смирновой, Р. Х. Додыхудоева и др.)⁹ свидетельствуют уже о том, что, наряду с учеными Ленинграда, к изучению топонимии Таджикистана приступили таджикские ученые. Большое внимание стало уделяться сбору и изучению современной топонимии, анализу ее структуры. Р. Х. Додыхудоев, специалист по памирским языкам, делает объектом своего исследования топонимию Западного Памира¹⁰, а автор этих строк параллельно с изуче-

⁵ Об этом см.: А. Л. Х р о м о в, Изучение географических названий Таджикистана в СССР и за рубежом, «Изв. Отд. Обществ. наук АН ТаджССР», 1969, 2.

⁶ Там же.

⁷ Среди этих работ особое значение имеют труды В. В. Бартольда, В. Ф. Минорского и И. Маркварта (см.: А. Л. Х р о м о в, указ. соч.).

⁸ V. M i n o r s k y, Mongol place-names in Mukri Kurdistan (Mongolica 4), BSOAS, XIX, pt. 1, 1957, стр. 60.

⁹ См.: С. И. З и н и ц, указ. соч.

¹⁰ Р. Х. Д о д ы х у д о е в, Памирская микротопонимия (Исследование и материалы), Душанбе, 1975. Памирской топонимии особенно «везет» на исследователей: в последнее время ей было посвящено несколько интересных работ, в том числе статьи Т. Н. Пахаллиной и И. М. Стеблин-Каменского об этимологии некоторых памирских топонимов (об. «Иранское языкознание», М., 1976) и большая работа Д. И. Эдельман «Географические названия Памира» [«Страны и народы Востока», XVI (Памир), М., 1975].

нием ягнобского языка и верхнезеравшанских говоров таджиков обращается к изучению топонимии Ягноба и долины Верхнего Зеравшана¹¹. Концентрирование особого внимания именно на этих регионах в настоящее время оправдывает себя, особенно, если учесть, что здесь сохраняются ираноязычные реликты¹². Но одновременно следует обратить внимание и на другие регионы, где благодаря бурному промышленному развитию происходят быстрые перемены и в топонимической системе¹³. Поэтому самой главной задачей топонимистов Таджикистана на данном этапе является сбор материала на всей территории республики с целью составления единой топонимической картотеки. В этой работе должны принять активное участие учителя городских и сельских школ. Организацию этого дела могут взять на себя Институт языка и литературы им. Рудаки АН ТаджССР, а также кафедры таджикского языка ТГУ им. Ленина и Душанбинского госпединститута им. Т. Г. Шевченко. Сбор материала должен осуществляться по единой программе, в основу которой может быть положено руководство для собирания топонимов, составленное Топонимической комиссией Московского филиала Географического общества СССР¹⁴.

Зачатки топонимического фонда в Таджикистане уже имеются в виде разрозненных коллекций, а именно: 1) топонимия и микротопонимия некоторых южных и центральных районов Таджикистана, собранная в процессе многолетних диалектологических экспедиций (Институт языка и литературы им. Рудаки АН ТаджССР); 2) топонимия отдельных районов Северного Таджикистана и Западного Памира, собранная студентами в качестве материала для дипломных работ (кафедра таджикского языка ТГУ им. Ленина). При этой кафедре были подготовлены следующие дипломные работы на топонимические темы: Н. Тайлоков «Топонимика долины Ванджа» (1965); С. Абдуллаев «Топонимия Верхнего Зеравшана» (1967); О. Алиёров «Топонимика и микротопонимика долины Бартанга» (1968); М. Худойкулов «Топонимия селения Понгаз» (1971); Х. Носиров «Микротопонимия Канибадама» (1972); М. Хисориев «Микротопонимия Рошорва» (1972); А. Абдунабиев «Топонимия Ура-Тюбе и его окрестностей» (1973); П. Махсуджанов «Топонимия селений Бободархон и Саро Аптского района» (1975); М. Назарова «Лексико-семантический анализ микротопонимии Канибадама» (1975); А. Рустамов «Микротопонимы долины Киштуда» (1974); Ш. Хайдаров «Топонимия в „Шахнаме“ Абулькасима Фирдавси» (1973); Н. Офаридеаев «Микротопонимия долины Хуф» (1976).

Все работы написаны на таджикском языке. К тому же следует учитывать, что у отдельных исследователей также имеются топонимические картотеки, которые можно сдублировать и сосредоточить в одном месте, например в Институте языка и литературы АН ТаджССР. Только при

¹¹ А. Л. Хромов, Очерки по топонимии и микротопонимии Таджикистана, I, Душанбе, 1975.

¹² Так, горная территория, известная в раннем средневековье под именем Буттам, в XIX — начале XX вв. именовавшаяся Кухиستانом, а ныне входящая в состав Айнинского района ТаджССР, интересна тем, что здесь до наших дней сохранился единственный потомок согдийских диалектов — ягнобский язык; в таджикских говорах этого региона прослеживается согдийский субстрат; топонимия сохранила здесь в наибольшей мере согдийский и новосогдийский (ягнобский) слой (см.: А. Л. Хромов, Историко-лингвистическое исследование Ятуба и Верхнего Зеравшана. АДД, Душанбе, 1970).

¹³ Так, например, топонимическая карта Душанбе и его окрестностей выглядит сегодня иначе, чем лет десять назад, а между тем старые названия в свое время не были записаны.

¹⁴ «Руководство для собирания топонимов, микротопонимов, местных географических терминов и построения топонимических картотек центральных областей Европейской части СССР», М., 1970.

условии создания единого топонимического фонда можно рассчитывать на проведение целенаправленных и систематических исследований по топонимике.

В многовековой истории Средней Азии переплелись судьбы многих иранских народов с судьбами других народов. Это оставило след в топонимии. Ареал распространения иранской топонимии не ограничивается территориями бытования иранских народов, а выходит далеко за их пределы. Поэтому было бы методически неправильно проводить исследование иранской топонимии Таджикистана, ограничиваясь узкорегиональными рамками. Нельзя изучать древнюю и средневековую историю Таджикистана оторванно от истории всей Средней Азии и сопредельных с нею зарубежных стран, также нельзя исследовать топонимию Таджикистана, не принимая во внимание топонимию других среднеазиатских республик и таких стран, как Афганистан и Иран. Следовательно, обращаясь к истории изучения топонимии Таджикистана, мы непременно должны учитывать как источники, касающиеся непосредственно Средней Азии, так и те, которые относятся к Афганистану и Ирану.

И в структурно-грамматическом, и в семантическом отношении наблюдаются общие закономерности в формировании иранской топонимии различных регионов (например, таджикской и персидской; ягнобской, памирской и осетинской). Несмотря на то, что материал многих регионов еще не собран полностью, уже сейчас можно ставить вопрос о сравнительно-типологических исследованиях на базе иранской топонимии, тем более, что довольно обширный топонимический материал Авесты может служить исходной точкой при выявлении эволюции структурных особенностей иранской топонимии в целом (проблема локализации авестийских топонимов в данном случае отходит на второй план).

Сплошные массивы иранской топонимии на территории Таджикистана пронизаны вкраплениями топонимии тюркского происхождения, наибольшие сгущения которой наблюдаются севернее Туркестанского хребта, в Гиссарской и Вахшской долинах (узбекские топонимы) и в Восточном Памире (киргизские топонимы). Тюркская топонимия Таджикистана не стала пока предметом специального исследования, хотя отрывочные сведения о ней можно найти в ряде работ¹⁵.

Глубокого и всестороннего исследования ждет и русская топонимия Таджикистана¹⁶. В плане синхронии исследование взаимодействия двух топонимических систем — исконно местной и русской — представляет большой интерес для языковедения. Результатом типологического влияния русской топонимии на местную явилось обогащение последней за счет приобретения новых топонимических моделей. Поэтому тот факт, что, например, в топонимии Памира нет исконных названий горных хребтов, но наблюдается процесс калькирования русских названий, не дает оснований полагать, что «материала, интересного для лингвистов и историков, названия хребтов не дают»¹⁷.

В литературе по топонимике Средней Азии нередко можно встретить высказывания того или иного автора о выделении арабского топонимического слоя или, в крайнем случае, «арабских элементов в топонимии».

¹⁵ О тюркской топонимии Памира см.: Д. И. Э д е л ь м а н, указ. соч., стр. 51; Р. Х. Д о д ы х у д о е в, указ. соч., стр. 84—87; о тюркской топонимии Ягноба см.: А. Л. Х р о м о в, Тюркские названия в микропопуляции Ягноба, «Изв. Отд. обществ. наук АН ТаджССР», 1967, 3.

¹⁶ Эта тема в общих чертах была освещена в сообщении автора «Топонимия славянского происхождения на территории Таджикистана», прочитанного на Международной славистической конференции «Перспективы развития славянской ономастики», состоявшейся в Москве 25—31 октября 1976 г.

¹⁷ Д. И. Э д е л ь м а н, указ. соч., стр. 47.

Обратимся к некоторым из этих работ. Т. Нафасов выделяет «топонимы с арабскими элементами», к которым относятся «географические названия явно арабского происхождения» или же те, в которых один из компонентов «этимологически восходит к арабскому источнику». Отдельные из этих элементов, по мнению автора, «сочетаясь с теми или иными элементами других языков, образуют так называемые гибридные топонимы: ар. *хисор* „осада“, „крепость“ — *Хисор*, *Хисоровул*, *Хисорак*; ар. *қалъа* „крепость“, „цитадель“ — *Қалъа*, *Каттақалъа* и т. д.»¹⁸. Другой автор, С. Караев, пишет: «Завоевание и многовековое господство арабов сильно отразилось в топонимии Средней Азии. В составе топонимов Узбекистана особенно широко представлены арабские религиозные термины. Исклчительно большое распространение имеет термин *рабат* „укрепление“, „предместье“... Из других арабских терминов широко представлены *ақба* (*ағба*, *авға*) „перевал“, *сақо* „орошение“, *наҳр* „канал“... Арабские элементы чаще всего встречаются на юге Узбекистана и в Зеравшанской долине»¹⁹. Ш. М. Кадырова, выделяя «арабизмы в микротопонимии Ташкента», тут же дает им противоречивое объяснение: «В микротопонимии Ташкента нет названий, образованных по грамматическим правилам арабского языка. Между тем, можно привести много примеров явно арабского происхождения: Махсус, Мухокама, Мархамат, Маориф, Машъал, Анҳор и др... Хотя эти заимствования генетически относятся к персидскому, тем не менее в узбекском языке они не различаются, принимают узбекские словообразующие элементы и воспринимаются в нем как свои» (разрядка наша. — А. Х.)²⁰. По мнению А. З. Розенфельд, в оронимии юго-восточного Таджикистана можно обнаружить арабские названия, «обычно полностью адаптированные таджикским языком: *Тавильдара* (*тавиль* арабское «длинный», *дара* тадж. «ущелье») «длинное ущелье»...²¹.

В рассуждениях всех перечисленных авторов, на мой взгляд, кроется одна существенная методическая ошибка: смешение топонимического и апеллятивного уровней. Внимательный анализ перечисленных авторами «арабских элементов» в топонимии приводит к выводу, что речь идет о топонимических, восходящих к апеллятивам из сферы заимствованной лексики арабского происхождения в тюркских и иранских языках. В топонимии эти слова попали уже будучи полноправными лексическими единицами иранских и тюркских языков. Поэтому топонимы с терминами *хисор* «крепость» или *ақба* «перевал» и т. д. на территории Средней Азии обычно оказываются иранскими или тюркскими, но не арабскими. Чтобы доказать принадлежность того или иного топонима к арабскому топонимическому слою, необходимо абсолютно достоверное знание того факта, что ониганизация произошла именно на базе арабского языка, а не какого-либо другого, и «по грамматическим правилам арабского языка»²². Уместно привести высказывание В. Шмилауэра: «Необходимо различать заимствование географического названия от заимствования обычного имени или имени собственного, от которых возникло географическое название»²³.

¹⁸ Т. Нафасов, Топонимы Кашкадарьинской области. АКД, Ташкент, 1968, стр. 10.

¹⁹ С. Караев, Опыт изучения топонимии Узбекистана. АКД, Ташкент, 1969, стр. 18.

²⁰ Ш. М. Кадырова, Микротопонимы Ташкента. АКД, Ташкент, 1970, стр. 16.

²¹ А. З. Розенфельд, Оронимы юго-восточного Таджикистана, «Оронимика», М., 1969, стр. 52.

²² Исследования в области семитской топонимии также широко развернулись лишь в последние годы (об этом см.: P. F r e i m a r k, Zur Ortsnamenforschung im semitischen Sprachraum, «Der Islam», 53, 1, 1976, стр. 110—114).

²³ V. S m i l a u e r, Uvod do toponomastiky, Praha, 1963, стр. 62.

Материал, извлеченный из арабских и персидско-таджикских источников X—XIII вв., свидетельствует о том, что с приходом арабов на территорию Средней Азии в VII—VIII вв. резкой смены топонимии не произошло. Как отмечает В. В. Бартольд, мусульманские географы X в. приводят те же названия, что и источники V в.²⁴ Топонимы, сформировавшиеся на базе самого арабского языка, составляли незначительную долю всей топонимии²⁵.

Исходя из исторического развития народов Средней Азии, можно допустить сохранение в современной топонимии Средней Азии названий арабского происхождения, однако пока только априори, ибо в практике топонимических исследований существование подобных топонимов до сих пор не подтвердилось. Окончательные выводы по этому поводу можно будет сделать лишь после полного сбора топонимического материала на всей территории Средней Азии.

Правильное решение этого вопроса играет важную роль в исследовании этногенеза среднеазиатских народов²⁶.

В Таджикистане ведутся также исследования в области истории топонимической науки в странах Востока. Так, С. Сулейманов, аспирант кафедры арабского языка ТГУ им. В. И. Ленина, работает над темой «Проблемы топонимики в трудах арабоязычных авторов X—XIII вв.». До самого последнего времени многие интересные факты, свидетельствующие о большом вкладе ученых средневекового Востока в развитие топонимики как науки, были мало известны европейским исследователям. Первым топонимистом Средней Азии и стран мусульманского Востока следует считать арабоязычного географа Якута Хамави (XIII в.). Без преувеличения можно утверждать, что его методы интерпретации географических названий подчас напоминают некоторые методы современной топонимики, в частности, метод классификации по тофоформантам²⁷.

Интерпретация топонимического материала имеет большое значение для изучения бесписьменных иранских языков, в частности, для реконструкции их словарного состава²⁸. Исследования в этом направлении обещают дать новые лингвистические данные.

Итак, топонимические исследования в Таджикистане, начавшиеся сравнительно недавно, уже дали первые осязаемые результаты. Однако это только начало той огромной работы, которую предстоит осуществить. Задачей номер один, конечно, является сбор материала и оформление его в виде региональных топонимических словарей и списков. Нельзя не согласиться с В. Шмилауэром в том, что сбор материала даже важнее, чем его истолкование, ибо истолкование — это зачастую гипотеза, а добросовестно собранный материал — факт. Иногда бывает вполне достаточно собрать материал, а выводы из него выплывут сами²⁹.

²⁴ В. В. Бартольд, Соч., II, ч. 1, М., 1963, стр. 188.

²⁵ См.: А. Л. Хромов, О структурных особенностях иранской топонимии Мавераннахра в период IX—XIII вв., «Восточная филология», III, Душанбе, 1974, стр. 8—9.

²⁶ О существенной роли топонимических данных в изучении этногенеза народов Средней Азии см.: Б. Г. Гафуров, Б. А. Литвинский, Узловые проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана (теоретический аспект). Тезисы, М., 1974, стр. 4.

²⁷ А. Л. Хромов, История изучения географических названий Таджикистана, стр. 74; С. Сулейманов, Элементы формантного метода в трудах арабского географа Якута Хамави, «Восточная филология», IV, Душанбе, 1976, стр. 57—63 (на тадж. языке); е го же, Якут Хамави — первый топонимист средневекового Востока, там же, стр. 64—74 (на тадж. языке).

²⁸ А. Л. Хромов, Ягнобские архаизмы в топонимических названиях, «Иранское языкознание. История, этимология, типология (К 75-летию проф. В. П. Абаева)», М., 1976, стр. 160—167; Р. Х. Додыхудоев, указ. соч., стр. 58—78.

²⁹ V. S m i l a u e r, указ. соч., стр. 28.

РЕЦЕНЗИИ

«Вести-куранты. 1642 — 1644 гг.». Издание подготовили Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под ред. С. И. Коткова. — М., «Наука», 1976. 399 стр.

Думается, уже прошло время, когда языковеды спорили относительно того, является ли язык деловой письменности литературным или нет. Лингвистическое источниковедение, вооруженное современными знаниями истории языка и письменности и строящее типологическую картину памятников письменности, позволяет сейчас говорить о языке деловых памятников как неоднородном с точки зрения общерусской национальной нормы¹. Сейчас мы знаем, что разные типы деловых бумаг отличались различной степенью кодифицированности своего языка. Поэтому вопрос не столько в том, является ли деловой язык литературным, сколько в том, язык каких деловых документов является литературным, нормированным, а какие типы деловых бумаг более открыты для проникновения нелитературных (просторечных, диалектных и проч.) явлений языка.

Следует отметить, что в настоящее время основная работа по исследованию делового языка рассматриваемой эпохи (сюда включается фактическое исследование текстов, разработка методики анализа деловых документов с лингвистической стороны и, наконец, публикация памятников) ведется Институтом русского языка АН СССР (Сектор лингвистического источниковедения и исследования памятников языка). Рассматриваемое издание² продолжает список деловых памятни-

ков³, опубликованных сотрудниками этого сектора под руководством С. И. Коткова.

Благодаря современному состоянию лингвистического источниковедения можно с большей или меньшей полнотой представить себе картину соотношения языка различных типов деловых памятников. В системе языка деловой письменности язык вестей-курантов занимает особое место: «(Вести-куранты XVII в. — Л. П.) являют собой образцы хотя и не специфически художественного, тем не менее, литературного изложения. Стремление „курантельщиков“ Посольского приказа — русских переводчиков зарубежных вестей — к определенной литературности проявляется и в композиции материала, и в исправлениях, порой многочисленных, рассеянных в черновых записях, причем не только фактического, но и стилистического свойства»⁴. Как видим, данные тексты отличаются большими связями с литературными жанрами, а язык этих текстов, если его сравнивать с языком эпистолярной или актовой письменности, более приближен к языку литературно обработанному. Но не только этот факт определяет вести-куранты как ценнейший лингвистический источник: язык указанных текстов дает лингвисту богатый материал по изучению народно-разговорной речи данной эпохи.

Рецензируемое издание состоит из Введения (стр. 3—8), Текстов (стр. 11—210), Приложения (стр. 213—257), Указателя слов (стр. 258—315), Указателей личных имен и географических названий (стр. 316—325; 326—335). Стр. 337—395 занимают фотокопии.

¹ См.: С. И. Котков, О памятниках народно-разговорного языка, ВЯ, 1972, 1, стр. 45.

² Исследование и воспроизведение текстов осуществлялось Н. И. Тарабасовой (руководитель группы) и А. И. Сумкиной, ими же написано введение и составлен Указатель слов. Указатели личных имен и географических названий подготовлены В. Г. Демьяновым. Общее руководство осуществлялось С. И. Котковым.

³ См.: «Вести-куранты. 1600—1639 гг.». Издание подготовили Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под ред. С. И. Коткова, М., 1972, 347 стр. Рецензию З. М. Петровой и И. А. Попова на эту книгу см. в ВЯ, 1974, 1.

⁴ С. И. Котков, указ. соч., стр. 41.

Введение к данной книге содержит указание на место хранения рукописных источников (все они сосредоточены в ЦГАДА), краткую историческую справку, дающую возможность читателю представить себе политическую атмосферу того времени, когда создавались вестник-курранты, вошедшие в данный том. Во Введении же мы знакомимся с правилами подачи текстов (эти правила те же, что и в предыдущем томе).

Непосредственно публикацию составили более 840 рукописных листов документов. Здесь мы находим как грамотки-письма, адресованные определенным лицам и содержащие, наряду с вестями, личные просьбы и высказывания, так и собственно вести, которые в самих текстах обозначены как «вестовые» печатные тетради» (например, стр. 11, 116), «печатные (или письменные) вестовые листы» (стр. 21, 43), «вестовые печатные письма» (стр. 34), «вестовые перечневые письма» (стр. 74), и просто «вести» (стр. 190) и «письма» (стр. 197). Включенные в данную книгу памятники представляют собою как переводы, так и оригинальные тексты (см. тексты №№ 15, 34, 57, 66, 80, 86 и некот. др.). Что касается содержания опубликованных в данном томе источников, то оно очень разнообразно. Однако в центре внимания большинства вестей события, связанные с политической жизнью государств. Вместе с тем весьма затруднительно строго разделить опубликованные тексты на собственно вести и на документы, содержащие, помимо вестей, информацию чисто личного плана. Как отмечают сами издатели, в опубликованных материалах встречается прихотливое переплетение таких сообщений, которые можно охарактеризовать как вести, и таких, которые связаны с личной жизнью отдельных людей» (стр. 6). Наряду с этим в данной книге представлены и такие тексты, где вестей нет вообще, т. е. содержание подобных документов строится целиком на информации личного плана⁵ (в рассматриваемом издании такие документы выделяются петитом). Включение этого рода текстов в корпус данных источников можно, с нашей точки зрения, только одобрить. Оправданно это не только потому, что подобные документы превосходятными источниками, но и потому, что на их фоне лучше видны особенности (в том числе и чисто языковые) собственно вестей.

Все публикуемые в издании документы сопровождаются примечаниями, где издателями отмечены ошибки в текстах, ис-

правления. Здесь же комментируются неясные в смысловом отношении и неразборчивые написания, приводятся и предположительные прочтения. Все это свидетельствует о том, что издателями проделан большой труд.

В качестве приложения в рецензируемой книге идут черновые записи ряда вестей, помещенных в основной части тома. Всего в издании насчитывается 16 черновых публикаций (их соотносительность с беловыми текстами видна из табл. на стр. 7). Как и большинство ранее изданных текстов, «Вести-курранты. 1642—1644 гг.» сопровождаются рядом указателей, значение которых трудно переоценить. Вместе с тем, эта часть тома может вызвать ряд замечаний. Так, например, в Указателе слов не попали служебные слова, местоимения и числительные, не отражает этот Указатель и всего богатства старорусской фразеологии. Не найдет исследователь в Указателе и диалектных вариантов, существовавших наряду с общепринятыми. Впрочем все это — особенность указателей слов целого ряда изданий⁶. Выделение специальных указателей личных имен и географических названий представляется чрезвычайно оправданным и, несомненно, облегчит работу с книгой языковедов-опомаштов.

Закljučая рассматриваемую книгу снимки некоторых вестей из числа вошедших в том и их немецкие оригиналы. Так, например, на стр. 337—340 воспроизведен номер немецкой газеты «Post-Zeitung», 1643, № 37, далее же приводятся снимки русского перевода вестей — беловик (стр. 344—356) и черновик (стр. 357—371). Вне всякого сомнения, эти снимки могут оказаться интересным наглядным пособием по русской палеографии XVII в.

Чрезвычайно интересна лексика изданных текстов. Изданные памятники позволяют отметить слова, не вошедшие в словарь. Так, например, «Словарь русского языка XI—XVII вв.»⁷ не фиксирует отмеченные рассматриваемыми вестями слова *безмешотно*, *безугодно*, *бесупротивно*, *бона*, *выразумлять* и некот. др., а отмечаемое в этом словаре слово *арццунья герцогиња*⁸, судя по данным книги «Вести-курранты. 1642—1644 гг.» имело словообразовательный вариант *арццуня*, ср. *арцхуна* (стр. 89), *арццхуна* (стр. 202). С другой стороны, опубликованные вести дают более раннюю, чем в названном словаре, фиксацию словоупотребления. Это относится, например, к словам *архи-*

⁵ См., например, «Вести-курранты. 1600—1639 гг.»; рецензируемое издание: «Грамотки XVII—начала XVIII века», изд. подгот. Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова, под ред. С. И. Коткова, М., 1969.

⁷ См. «Словарь русского языка XI—XVII вв.», 1—3, М., 1975—1976.

⁸ Там же, 1, стр. 54.

⁶ См., например: «Перевод письма И. Муклимава, посланного из Риги Л. А. Шлаковскому» (стр. 92—93), «Отписки Г. Морозова и Ф. Арццбашева царю Михаилу Федоровичу» (стр. 144—146) и целый ряд других источников.

текстура, арцуг, барабанный, барон, божба, вестимо, владетьство, водополье, возница и др. Рецензируемая книга вносит корректуры и в данные этимологических словарей. В «Этимологическом словаре русского языка» слова *дрѣво*⁹ и *зарѣво*¹⁰ (со ссылкой на ССРЛЯ) указываются как отмеченные впервые в Словаре Нордстета 1780 г. Между тем оба эти слова представлены в рецензируемом издании: «люди всё в красномъ плате нарежаны с посолочянными дрѣвками с роспущенными червлеными знаменами» (стр. 218, 1643 г.), «в ночи на море было слышет мноугую стрелбу тако же многу огненово луч. . . и зарыва» (стр. 165, 1644 г.¹¹). Новую информацию рассматриваемые памятники содержат и относительно слов *кабала*, *канал*, *квартирмейстер*, *комиссар*, *милион*¹².

Однако вряд ли стоило бы касаться языка данных памятников, если отмечать только те факты, которые дают нам более свежий материал к историко-этимологической характеристике отдельных слов. Важность лингвистического изучения вестей определяется многими факторами. Во-первых, язык вестей-курантов, как уже отмечалось выше, в системе языка деловой документации занимал особое положение, поэтому пристальное изучение языка текстов с этой стороны даст более четкое представление о том месте, которое занимают сами весты (не только их язык) в системе деловой письменности. Во-вторых, необходимость изучения языка вестей определяется важностью изучения делового языка вообще, той ролью, которую он сыграл в процессе формирования русского национального языка (и уже — в процессе создания литературно обработанной формы русского языка). В. В. Виноградов писал: «К исходу XVI — к середине XVII в. общенародный разговорный и письменно-деловой язык, оформившийся на базе средневежкорусских говоров с руководящей ролью говора Москвы, приобретает качества общерусской языковой нормы... важную роль посредника между народно обработанным типом литературного языка и живой народно-разговорной речью сыграл приказно-деловой стиль

⁹ «Этимологический словарь русского языка», под ред. Н. М. Шанского, I, 5, [М.], 1973, стр. 188.

¹⁰ Там же, II, 6, стр. 60.

¹¹ Попутно отметим неточность Указателя слов относительно сведений о нахождении слова *зарѣво* в основной части книги: вместо текста № 73, где это слово употребляется, оно ошибочно указывается для памятника, идущего под номером 74 (см. Указатель слов, стр. 273).

¹² Более позднюю фиксацию памятниками этих слов отмечает М. Фасмер (см. его «Этимологический словарь русского языка», II, М., 1967).

Московского государства»¹³. Вне всякого сомнения, детальное изучение языковедами памятников, включенных в рецензируемый том «Вестей-курантов», обогатит наши знания как о структуре делового языка того времени, так и о тех процессах, которые протекали во всей системе русского языка.

Обратим внимание на некоторые стороны языка рассматриваемых памятников. Богатый материал мы находим по варьированию лексических единиц. С одной стороны, это случаи освоения заимствованного слова (*бургемистр* — *бурмистр*, *инейнор* — *инженер*, *маршалок* — *маршалк*, *цесарь* — *цызарь* и др.), с другой стороны, варьативные отношения охватывают собственно русскую лексику. При этом эти отношения касаются звуковой оболочки слова, его грамматических характеристик, морфемного состава, ср. *свобода* — *слобода*, *там* — *тамо*, *рост* — *роста*, *связок* — *связака*, *жинитва* — *жинитъба* и мн. др. Для языка вестей-курантов было характерно сложное переплетение церковнославянских и русских в своей основе элементов, поэтому среди лексических вариантов должны быть выделены такие, как *злато* — *золото*, *дщерь* — *дочь*, *беспрестанно* — *беспрестанно*, *предавать* «передать» — *передать* (ср. «передамъ себя в вшү княжскую мльсть», стр. 69; «вшү княжскую мльсть предаю в сохранение бгү», стр. 74). Показательно также распространение в текстах таких слов, как *одежа* («во всем сполна кормит и одежу и ружье дава[тъ]», стр. 98), *надежа* («я имѣю надежу на бга», стр. 197) и подобных.

Благодаря тому, что авторы большинства вестей описывают события, связанные с политической жизнью зарубежных государств, рассматриваемые тексты содержат очень много слов иноязычного происхождения, изучение которых расширит наши представления как о путях проникновения иноязычной лексики, так и о процессах ее освоения. Значительное количество данных слов долгое время было характерным для лексической системы русского языка, в том числе ряд слов дошел до наших дней, ср. *агент*, *адмирал*, *генерал*, *гусары* (мн. ч.), *доктур*, *драгуны* (мн. ч.), *комиссар*, *компанья*, *кабала*, *камбала*, *канцлер*, *капитан*, *карета*, *киржа*, *куранты* (мн. ч.) и мн. др. Наряду с подобными словами мы находим также, употребление которых не было долгим, практически здесь мы имеем дело с транслитерацией, например, «подле гост[е]ла Любѣнбургского» (стр. 18, ср. ст.-франц. *hostel* «дворец»), «послал инстутию» (стр.

¹³ В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, сб. «Исследования по славянскому языкознанию», М., 1961, стр. 102—103.

71, ср. лат. *institutio* «указание»), «снап-ганы» (стр. 186, ср. нем. *Schnapphahn* «разбойник») и др.

Несмотря на то, что язык вестей-курантов следует признать наиболее обработанным литературно (по сравнению, скажем, с актовой письменностью), в рассматриваемых памятниках встречаем и локально ограниченную лексику, ср. *шолга* «мачта» (стр. 187), *кстины* «крестины» (стр. 245).

Интересные сведения находим и по фразеологии, фонетике, словообразованию, морфологии, синтаксису. описа-

нию языка опубликованных деловых памятников, бесспорно, будет посвящена не одна монография.

В заключение нам хотелось бы отметить, что труд издателя не может оставить равнодушным исследователя-языковеда. Удачный выбор памятников, строгая научность издания, наличие справочного аппарата, достаточно высокий уровень полиграфической стороны книги — все это позволяет высоко оценить книгу «Вести-куранты. 1642—1644 гг.».

Панин Л. Г.

Г. Я. Романова. Наименование мер длины в русском языке. — М., «Наука», 1975. 176 стр.

Тематическая группа лексики — названия мер длины в русском языке — почти совсем не изучалась языковедами. А между тем история формирования и развития системы метрологических наименований имеет важное значение как для истории русского языка, так и для истории материальной культуры русского народа. Меры длины являются по существу «началом всех измерений», и уже это само по себе ставит их в особое положение. Наименования этих мер являются древними, имеют длительную историю и отражают начальные этапы измерения. Рецензируемая книга Г. Я. Романовой представляет собой удачный опыт описания истории русской метрологической лексики с древнейших времен до введения новой метрической системы мер.

Исследование Г. Я. Романовой характеризуют солидность и основательность базы, на которой оно выполнено: собственные выборки из письменных памятников, материалы картотек Москвы и Ленинграда, содержащие сведения по современной, исторической и диалектной лексике, свидетельства многочисленных словарей и справочников, труды по истории и этнографии — все это делает наблюдения и выводы работы убедительными и доказательными. В процессе исследования в сравнительном плане использовались метрологические названия из других индоевропейских языков, прежде всего — из украинского и белорусского, что не могло не способствовать более глубокому и всестороннему изучению системы значений и истории соответствующих русских терминов. Всего историко-этимологическому анализу подвергнуто более двухсот однословных и составных терминов измерения, функционировавших в русском языке до введения новой метрической системы мер.

Задачи рассматриваемой работы сводятся к выявлению источников формирования лексической группы, прослежи-

ванию особенностей функционирования слов на всем протяжении развития русского языка, выявлению стилистической дифференциации, к установлению внутренних связей и отношений между элементами группы. Характерной особенностью исследования Г. Я. Романовой является то, что избранный круг лексики представлен в нем в системе: отдельные звенья этой системы рассматриваются в тесной связи и зависимости от всей совокупности метрологических наименований в целом. Шаг за шагом Г. Я. Романова прослеживает пути формирования и развития этой системы, делая правильные акценты на экстралингвистические причины изменения в ее звеньях, но в то же время обращая внимание на сдвиг семантико-стилистического плана в них, обусловленные внутренними закономерностями развития языка. Рассматриваемая совокупность лексики представлена не как статическая отвлеченность, а в динамике, в движении, в процессе функционирования.

Успеху анализа материала способствует удачно выбранный метод исследования, его двуаспектность в смысле совмещения тематической классификации с ее лексико-семантической группировкой, а также сочетание языкового подхода (историко-лексикологического исследования) с культурно-историческим. Принцип исследования лексики в тесной связи с историей народа, его культуры особенно целесообразен при изучении терминологических систем, наиболее тесно связанных с хозяйственной, культурной и общественной деятельностью народа. Это дало возможность автору дополнить и представить в системе сведения не только о метрологической лексике, но и о реальной системе (а вернее — системах) линейных мер, существовавшей на Руси. Достаточно сослаться, например, на этюды о терминах *верста*, *сажень*, *аршин* и др. Полная история многих терминов осве-

цена так всесторонне и полно впервые. Г. Я. Романовой удалось добавить свое в этимологические разыскания о таких терминах, как *верста*, *сажень*, которые, как известно, привлекали в этом отношении внимание многих крупнейших языковедов.

Хотя основное направление работы Г. Я. Романовой носит историко-лексикологический характер, этимологический анализ в ней получил достаточно заметное место. И это — сильная сторона исследования, ибо известно, что первичное значение слова дает возможность иногда определеннее судить об особенностях его позднейшего функционирования в качестве термина. Правда, здесь стоит заметить, что первичные значения оказывают влияние на характер функционирования слова только на самых первых этапах его истории. В дальнейшем же жизнь слова в языке зависит от других факторов. Этимология восстанавливает только начальный этап жизни слова, составляя его предисторию. Перед Г. Я. Романовой стояли другие задачи — раскрытие конкретных условий употребления слов в разные периоды их речевой жизни, определение исторических закономерностей изменения значений, связывающих судьбу отдельного слова с общим ходом развития всей лексико-семантической системы языка.

Анализируемые в книге термины делятся на две различные в функциональном плане группы: а) термины, обозначающие народные меры длины; б) термины, обозначающие официальные меры длины. Эти группы характеризуются различной степенью употребительности и сферой их применения, а также рядом других различий. И эти различия наметаются верно. Характеризуя термины, обозначающие народные меры длины, автор рецензируемой книги подчеркивает, что они часто совпадают с названиями орудий труда (*косье*, *весло*, *топорище*), названием действия или отдельного момента трудового процесса (*перестрел*, *вержение камня*, *гон*, *верста*), названием частей человеческого тела и их движений (*локоть*, *ладонь*, *палец*, *пядь*, *стопа*, *шаг* и т. п.). Для древних народных мер длины особенно характерно название меры по измерителю, в качестве которого выступали, как правило, части человеческого тела. Но уже в недрах народной метрологии наблюдается тенденция к установлению средней величины мер. Относительная стабильность размеров народных мер длины, в основе которых лежат размеры частей человеческого тела, возможность их группировки в простейшие системы измерения явились причиной того, что именно народные меры стали основой официальных метрологических систем более позднего времени. Системы измерения раннего и более позднего времени отличались не только разным набором терминов, но

различались также функционированием их в языке. Ранние метрологические системы имеют ярко выраженный местный или производственный характер, а само различие между местными и производственными системами измерения заключалось прежде всего в величине мер и в разных соотношениях их друг с другом.

Однако с одним положением, выдвигаемым Г. Я. Романовой, согласиться нельзя. Так, на 10 странице утверждается, что характерным для терминов, обозначающих народные меры, является отсутствие взаимосвязи между ними: обычно они входят как составная часть в ту или иную производственную или ремесленную терминологию и друг с другом не согласуются. Все-таки остается бесспорным, что одной из основных особенностей всякого термина является его соотносительность с другими терминами общей терминосистемы. Если термины входят в одну терминосистему, даже только формирующуюся, связи между ними обязательно возникают и окрашивают функционирование всей этой совокупности лексики в целом. Другое дело, если наименования еще не создали обобщенной терминосистемы, а группируются по простейшим метрологическим микросистемам (что являлось отражением феодальной и ремесленно-цеховой раздробленности). Но в этом случае связи и взаимоотношения между «народными» терминами нужно искать именно в пределах простейших территориальных или цеховых метрологических систем. В официальной метрологической системе получают завершение тенденции, зародившиеся еще в народной терминологии.

В соответствии с особенностями состава изучаемой терминологии в книге четко выделяются два в определенной степени обособленных раздела — две главы работы: 1) формирование номенклатуры официальной метрологии по мерам длины; 2) номенклатура народных мер длины. Надо сказать, что логичнее было бы начать исследование не с первой главы, а со второй, т. е. с анализа «народной» метрологической лексики как предшественницы и базы официальной терминологии. В первой главе рассматриваются официальные метрологические термины: *верста*, *поприще*, *стадий*, *миля*; *сажень*, *шаг*; *локоть*, *аршин*; *стопа*, *степень*, *ступень*, *нога*, *фут*; *пядь*, *четверть* (*четь*); *вершок*, *палец*, *перст*, *дюйм*. Г. Я. Романова отмечает, что в историческом развитии языка происходили не только изменения в составе терминов, но и в особенностях их функционирования в языковой системе. Так, метрологические системы раннего времени сильно окрашены местным (локальным) или производственно-цеховым колоритом (в книге применяется термин «производственный» характер, что не очень удачно, ибо все термины на любом отрезке их истории несут на себе связи с производством или

другим видом деятельности). В работе Г. Я. Романовой прослеживаются процессы вытеснения старых — местных и цеховых — терминов новыми, государственными. Новая общегосударственная система мер, будучи национальной по своему составу, восприняла многие элементы системы мер предшествующих эпох, испытывавших при этом определенное влияние мер других народов и государств. Большую, решающую роль в этой смене сыграла политика Московского государства XVI—XVII вв. в отношении мер (ср., например, утверждение в Уложении 1649 г. основной единицей измерения длины трехаршинной сажени), формирование системы метрологической лексики представляло собой непрерывный процесс, в результате которого происходило уточнение значений отдельных наименований, стилистическая дифференциация их, определялись и отчуждались внутрисистемные связи и оппозиции отдельных звеньев системы. Это хорошо показано при анализе таких наименований, как *верста*, *сажень*, *аршин*, *локоть* и др. Термин *сажень*, например, выступает как родовое обозначение, которое объединяет 39 видовых наименований, представляющих собой адъективно-субстантивные сочетания: *аршинная сажень*, *береговая*, *великая*, *городовая*, *государева*, *дворовая*, *земляная*, *землемерная*, *казачья*, *казенная* и т. п. *сажень*. Термин *сажень* рассмотрен в книге наиболее полно и убедительно: Г. Я. Романова обосновывает несколько иное, чем принято, возможность этимологизирования слова, уточняет его первичное значение и намечает переходы к значениям позднейшим; в ходе исследования органически увязывает исторические материалы с показаниями современных диалектов, прослеживает историю функционирования связанного с *сажень* слова *шахъ* — *шаг* (хотя утверждение автора о потере в сознании русских связи *шахъ* с первоначальным *сязъ* звучит не очень убедительно — стр. 38). Нельзя согласиться также с утверждением, что изменение реальной величины сажени (как и других мер) при сохранении старого наименования свидетельствует только об истории термина («есть история мер длины, но нет истории термина» — стр. 43). Различное реальное наполнение меры длины, обозначаемой термином, свидетельствует и об изменении его значения. Тем более, что все изменения в мерах приводили к уточнению их реального содержания, к установлению пропорциональных соответствий между ними. Именно эти изменения в мерах длины приводят к появлению целой серии адъективно-субстантивных наименований — составных терминов, название которых как раз и было связано с языковым закреплением дифференциации в значениях термина (см. *сажень*, *верста*, *аршин* и др.). Определения-прилагательные этих

составных терминов (*аршинная*, *береговая*, *великая*, *городовая*, *казачья*, *казенная* и т. п. *сажень*) указывают на реальное содержание меры, на сферу ее применения, способ измерения и т. д. Появление такого рода терминов, выступающих как видовые наименования, объединяемые одним родовым термином *сажень* — яркое свидетельство истории самого термина, свидетельство установления подлинно терминологических отношений в этой тематической группе лексики. Удачно, что Г. Я. Романова много внимания уделяет анализу этих прилагательных-определений, вскрывая и интерпретируя таким образом системные связи терминов.

В работе выделяется пять групп составных терминов со словом *сажень* в зависимости от функции прилагательного-определения. Несмотря на то, что деление это носит в достаточной мере условный характер (не выдержан единый принцип выделения групп, недостаточно четко распределены по группам отдельные составные термины), оно в основном правильно характеризует развитие семантических и фразеологических возможностей слова *сажень*. Это деление позволило установить наличие синонимических отношений (*дворовая*, *лавочная*, *писцовая*, *земляная сажени* обозначали одну меру), наметить жанрово-стилистические различия, проследить смену наименований (*новая сажень* сменяется *указанной саженью*), показать постепенное, но неуклонное движение терминологии (и самих мер) к унификации, к выработке официальной системы мер. В эту же, посвященную *сажени* (как, впрочем, и в ряде других), хорошо показана тесная связь метрологической лексики со всем словарным составом языка; эта система не обособлена, а открыта, этим и объясняются многие изменения, происходящие в составе метрологической лексики.

Много интересного содержит в себе и вторая глава, посвященная анализу номенклатуры народных мер. Это прежде всего относится к характеристике особенностей номенклатуры народных мер отличающих ее от терминов официальной метрологии. Сюда входят такие характеристики, как тесная связь народных мер с конкретными занятиями населения, отсутствие системных связей между терминами, отсутствие взаимозависимости между отдельными единицами измерения и называющими их терминами, отсутствие кратных отношений мер, входящих в одну систему, неопределенность реальной содержания меры, условность самих измерителей. Здесь надо отметить, однако, что абсолютизировать эти отличия нет оснований. Выше говорилось, что связь с производственной деятельностью человека характерна и для официальных мер и соответствующих им терминов (как и для всякой терминологии), а наличие системных отношений в народной метрологии

также отрицать нельзя. Другие признаки также присущи, хотя и не в одинаковой степени, и тем и другим терминам. Г. Я. Романова сама признает, что «тенденция к кратности мер, а следовательно, к началу системности в народной метрологии. . . намечена» (стр. 103).

Во второй главе рассматриваются: а) наименования мер длины антропометрического происхождения: *сажень* (коловоротная, крестьянская, маховая, ручная), *пядь*, *алдан*, *обойма*, *обоймища*, *длань*, *ладонь* и др.; б) наименования линейных мер, связанных с названием предмета, служащего измерителем: *батог*, *кол*, *палка*, *веревка*, *ужище*, *косье*, *косевище*, *ручка*, *гон* и др.; в) наименования путевых мер длины: *гон*, *волох*, *окрик*, *перестрел* и др.; г) описательные наименования мер длины типа: *яко может дострелити добрь стрелець, изь лука стрелити* и т. п. Значительное число наименований этих групп представляют собой диалектные слова и выражения, которые характеризуются различной степенью локализации. Что касается описательных наименований мер, то они лишь весьма условно могут быть привязаны только к народной метрологии (даже примеры, приводимые в книге, свидетельствуют о распространности таких образных выражений далеко за пределами народной речи).

В результате анализа более двухсот наименований мер длины Г. Я. Романова приходит к выводу о том, что большинство из них являются исконно русскими, нередко восходящими к общеславянской эпохе. Вместе с тем определенная часть линейной метрологической терминологии формировалась за счет проникновения в русский язык заимствованных терминов. Несомненный интерес представляют наблюдения над особенностями и условиями функционирования метрологических терминов в период становления официальной номенклатуры мер (явления широко

развитой синонимии и многозначности, стилистической дифференциации и т. п.).

Конечно, не все в книге Г. Я. Романовой бесспорно. К некоторым возражениям и замечаниям, сделанным выше, можно добавить сожаление, что автор не воспользовался возможностью сопоставить результаты своего исследования с результатами исследования украинской и белорусской метрологической лексики (работы И. А. Дзедзелевского, В. А. Випника и К. В. Скурата). Это сопоставление могло бы представить интерес во многих отношениях: оно выявило бы как общие стороны формирования восточнославянских метрологических систем, так и специфические для каждой отдельной языковой области. Можно было бы высказать определенные сомнения относительно этимологических гипотез к некоторым словам (см., например, этимологические построения к термину *косая сажень*), но эти сомнения не затрагивают принципиальных сторон исследования.

В итоге можно сказать, что работа Г. Я. Романовой представляет собой серьезное исследование совокупности слов, относящихся к понятиям русской метрологии. В ней убедительно показаны и охарактеризованы источники формирования метрологической терминологии, вскрыты особенности ее функционирования, установлены тесные и многосторонние связи терминов с общим словоупотреблением. Автор подчеркивает, что история развития официальной терминологии — длительная и сложная, сопровождающаяся интересными явлениями внутрисистемных связей и оппозиций (синонимия, полсемия, антонимия, конкурентная борьба, процессы терминологизации и т. п.). Книгу отличает лаконизм изложения.

Сороколетов Ф. П.

Б. Г. Костомаров. Русский язык среди других языков мира.—

М., «Просвещение», 1975. 175 стр.

Современный этап общественного развития характеризуется возрастающей ролью языков межнационального и международного общения. Данная тенденция является объектом исследования лингвистов и социологов, поскольку, с одной стороны, необходимо изучить социальные предпосылки, выдвигающие те или иные языки на роль языков межнационального или международного общения, а с другой стороны, важно исследовать собственно лингвистические процессы, обусловленные спецификой тех общественных функций, которые такие языки выполняют.

В последние годы появились исследования, рассматривающие различные теоретические аспекты данной проблемы, однако большинство из них имеет узкоспециальный характер, потребность же в работах, освещающих различные стороны этой проблемы в формах, доступных широкому кругу читателей, чрезвычайно велика. Вопрос о языках международного и межнационального общения (как, впрочем, и многие другие вопросы, связанные с языковой жизнью народов мира) представляет интерес и важен не только для лингвистов и социологов, но и для самых широких слоев населения.

Рецензируемая книга В. Г. Костомарова посвящена рассматриваемой проблеме. На строго научной основе, но в популярной форме в ней излагаются общие сведения о человеческом языке, о его функционировании в обществе, об условиях развития языка в современном мире. «Цель этой книги, — пишет автор, — познакомить ... любителей русского языка, всех, кто заинтересовался его историей, его ролью в жизни народов нашей страны и всего мира, с проблемами существования языка в обществе и расказать об условиях развития языка в современном мире. Показать при этом место и роль русского языка среди других языков, проследить, как по закону исторической необходимости он превращается в добровольно избираемое средство общения и сотрудничества самых разных национальностей, самых разных государств» (стр. 4).

Книга состоит из пяти основных разделов. В первом из них дается общая картина современной мировой лингвистической ситуации, излагаются основные теоретические положения, позволяющие классифицировать языки по их структурно-типологическим особенностям, а также в соответствии с выполняемыми ими социальными функциями. Принципы структурно-функциональной типологии впервые стали разрабатываться в советской социолингвистике¹. Такой подход позволяет преодолеть традиционное противопоставление внутренней и внешней лингвистики и под новым углом зрения рассмотреть современную языковую картину. В соответствии с ним все языки мира составляют некую иерархическую систему, на нижнем уровне которой находятся языки с минимальным объемом общественных функций, так называемые одноаульные языки, а на верхнем — языки широкого межнационального общения и мировые языки.

«Мировой язык», по мнению автора, — это «новая историческая категория человеческого языкового развития XX в. Возникновение ее связано с научно-технической революцией, экономическим и культурным прогрессом» (стр. 65—66). Социальными предпосылками возникновения мировых языков явились в первую очередь потребность общения между государствами, на международной арене, а также необходимость обмена достижениями культуры и научно-технической информацией.

Второй раздел книги раскрывает перед читателем наиболее сложные вопросы языковой политики в современном мире, наглядно показывает принципиальные различия общественных условий и социаль-

ных целей, определяющих выбор языка межнационального и международного общения при социализме и капитализме. На конкретном материале автор проследивает, как общие тенденции развития языка по-разному реализуются под влиянием различных идеологий.

Процессу появления мировых языков предшествовало формирование общенациональных языков, происходившее в сложных социальных условиях. Проблема общенационального языка особенно актуальна в настоящее время для стран третьего мира. Справедливо критикуя теорию «примитивных» и «цивилизованных» языков как замаскированную политику неокolonизма, автор излагает основные принципы равноправия и взаимообогащения языков и культур, лежащие в основе ленинской национальной политики. Опыт языкового строительства в нашей стране по праву может служить образцом для культурного и языкового развития молодых независимых государств. Процесс выделения и развития языков межнационального общения обусловлен в первую очередь влиянием объективных факторов, прежде всего социальной потребностью общения носителей различных языков, объединенных единой экономикой, идеологией, культурой.

Соотношение «общего языка сотрудничества народов СССР» и родного языка в условиях социализма проявляется в форме активного взаимодействия и взаимообогащения этих языков на фоне роста идейно-политического и морального единства нашей многонациональной страны, укрепления хозяйственно-производственных связей отдельных республик и национальных областей, создания единой социалистической культуры. Языковую жизнь СССР автор раскрывает в связи с особенностями социального развития, иллюстрирует интересными статистическими данными. Особый интерес представляют выдержки из специальных работ, высказывания отдельных политических деятелей, ученых, писателей и поэтов о роли русского языка в жизни народов СССР, а также высказывания представителей различных национальностей мира, изучающих русский язык. Русский язык действительно стал общим языком межнационального общения и сотрудничества всех наций и народностей СССР. А в 50-х годах русский язык вошел в «клуб мировых языков» (стр. 68), т. е. стал одним из языков общения на международной арене.

Мировой язык как социально-лингвистическое явление характеризуется рядом специфических признаков, качественно отличающих его от языков межнационального общения, известных в разные времена в различных ареалах. Проблема общего языка на международной арене связана с решением более сложных вопросов языковой политики.

¹ См.: Ю. Д. Дешериев, Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе, М., 1966.

В. Г. Костомаров аргументированно выделяет основные признаки мирового языка: «сознательное согласие принять данный язык как мировой, а также специфика его функций» (стр. 77). Основными признаками мирового языка выступают такие социолингвистические особенности, как социальный статус, степень и распространенность изучения языка в других странах, использование его в качестве рабочего языка различными международными организациями, количество выпускаемой на этом языке литературы по разным областям науки и техники. Сознательное согласие принять данный язык в качестве языка общения на международной арене, сознательное изучение данного языка (нередко во взрослом возрасте и при помощи специальной методики), сознательное превращение его в своеобразный аккумулятор научной информации — вот основные субъективные факторы, способствующие процессу выдвижения естественного языка на роль мирового.

Решением Комитета по административным делам ООН юридически было признано пять официальных языков международного общения: английский, русский, французский, испанский, китайский, а с конца 1973 г. и шестой — арабский. Русский язык охотно изучается в различных уголках мира. Русский язык играет особую роль в мировой системе социализма, помогая крепить силы сотрудничества, координировать и интегрировать сотрудничество в развитии социалистического общества и строительстве коммунизма. Русский язык успешно выполняет функции рабочего языка в Союзе Экономической Взаимопомощи (СЭВ), в Дунайской комиссии, признан официальным рабочим языком Международной астронавтической федерации (МАФ), Международной федерации спортивной медицины (ФИМС), Международной федерации баскетбола и др.

Русский язык активно изучается в странах социализма, в отдельных развивающихся странах, а также в ряде капиталистических стран. Контингент изучающих русский язык составляют студенты, учителя, ученые, специалисты в области техники, космонавтики, сотрудники дипломатических и торговых организаций. В странах социализма русский язык изучается в школах и вузах; организуются специальные курсы изучения русского языка. Знание русского языка отмечается среди политических и общественных деятелей, работников науки, культуры, просвещения. Особенно возрос интерес к русскому языку в связи с успехами советской космонавтики. В. Г. Костомаров приводит факты и примеры, показывающие, как стремительно стал распространяться русский язык в связи с нашими успехами в области науки и

техники. Роль русского языка возрастает не только в науке, но и в деловых кругах мира.

Проблема «мировых языков» является малоразработанной. Необходимо особо отметить, что в рецензируемой книге автор в популярной форме излагает некоторые теоретические вопросы изучения проблемы «мировых языков», в частности: социальные предпосылки, объективные и субъективные факторы становления мирового языка, основные социолингвистические признаки мирового языка и др. Постановка этих вопросов особенно актуальна в свете современного мирового лингвистического процесса². В принципе каждый язык обладает потенциальными возможностями для того, чтобы обслуживать любую сферу человеческой деятельности, в том числе и сферу международного общения. Никакие внутривидовые особенности языка не могут препятствовать этому процессу. Но нельзя упускать из виду тот факт, что не в каждом языке эти потенциальные возможности могли реализоваться в процессе его исторического развития. Основную роль в этом играют объективные социальные условия.

В четвертом разделе книги раскрываются исторические предпосылки и условия, которые, способствовали развитию различных общественных функций русского языка, и вместе с тем его внутривидовому развитию.

Интерес к русскому языку и культуре рос по мере того, как развивались и расширялись научные, культурные, экономические, дипломатические связи с Россией. Становление литературного русского языка сопровождалось постоянным обогащением его лексического фонда в процессе контактирования с другими языками. Русский язык в свою очередь также оказывал определенное влияние на развитие лексики некоторых индоевропейских и неиндоевропейских языков. К тому моменту, когда русский язык вышел на международную арену, он вполне отвечал тем требованиям, которые предъявляются к мировым языкам, а потому очень быстро получил широкое распространение.

В последнем разделе книги В. Г. Костомаров на большом статистическом материале убедительно показывает высокие темпы распространения русского языка во всем мире. В этой связи в несоизмеримой степени возрастает значение и важность различных учебно-организационных мероприятий, направленных на изучение русского языка в разных странах, разработка учебных программ, создание учебников и пособий и т. п.

² См. более подробно об этом: В. Г. Костомаров, П. Н. Денисов, П. В. Веселов, Русский язык в современном мире, М., 1969.

Для лучшей координации и повышения эффективности всей этой работы в 1967 г. была создана Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы — МАПРЯЛ — новое мировое общественное объединение, представляющее в международном плане интересы преподавателей-словесников и других специалистов по русскому языку и литературе. «МАПРЯЛ сейчас объединяет 97 действительных членов и ряд членов-корреспондентов и индивидуальных членов из 37 стран, . . . среди 25 членов исполнительного совета представлены страны всех пяти континентов земли» (стр. 138).

Советские специалисты проводят большую работу по разработке методики преподавания русского языка иностранцам, созданию учебников, лингвфонных курсов и т. п. Причем все эти курсы должны помочь иностранным учащимся не только изучить русский язык, но и получить правильное представление о советской действительности, о советском образе жизни, о самом широком круге внешнеязыковых реалий, ибо без этого невозможно практическое овладение языком.

В заключение автор весьма наглядно демонстрирует несостоятельность мифа об исключительной трудности русского языка. Он сопоставляет орфографию и

морфологию русского языка с английским, который, согласно широко распространенному мнению, является одним из наиболее легких для изучения, и показывает, что русский язык не только не труднее английского, но в некоторых отношениях даже легче его. По мнению В. Г. Костомарова, понятие «трудного языка» является не столько языковым, сколько психологическим. «Истинная трудность изучения языка состоит в перестройке стереотипов мышления, обусловленного родным языком» (стр. 162). Таким образом, взаимосвязанное изучение языка и культуры существенно облегчает изучение любого языка, на это и ориентированы создаваемые в настоящее время курсы изучения русского языка для иностранцев.

Работа имеет подзаголовок «Книга для учащихся старших классов», однако она представляет интерес для самого широкого круга читателей-лингвистов. В то же время некоторые теоретические положения автора, касающиеся проблемы «мировых языков», безусловно привлекут внимание и лингвистов, и социологов.

В целом книга является ценным вкладом в пропаганду знаний о русском языке, о его месте в современном мире.

Крючкова Т. Б., Трескова С. И.

ПО СТРАНИЦАМ ЮБИЛЕЙНЫХ ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА «REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE»

В 1975 г. научная общественность отметила юбилей двух румынских ученых, имена которых известны далеко за пределами Румынии. Исполнилось 75 лет А. Грауру и 80 лет А. Росетти.

Академия наук Социалистической Республики Румынии, действительными членами которой являются А. Граур и А. Росетти, посвятила юбилейным датам специальные номера журнала «Revue roumaine de linguistique» (RRL, 20, 1975, №№ 4 и 5), на страницах которых результатами своих научных размышлений поделились румынские ученые — коллеги, ученики и последователи юбиляров, а также языковеды Советского Союза, Болгарии, Венгрии, Польши, США, Франции, Швеции и других стран¹. Статьи (их свыше 70) написаны на английском, итальянском, немецком, русском и французском языках, им предпосланы

библиографические указатели научных публикаций юбиляров.

Большое место занимают исследования, посвященные изучению грамматики и лексики. Э. Бюссанс в статье «Классификация наречий» (5, стр. 461—463) предлагает учитывать при распределении французских наречий по соответствующим подклассам в первую очередь их синтаксические связи (отнесенность к отдельному члену предложения, выраженному глаголом, прилагательным или наречием, к синтагме или предложению в целом). Принимается во внимание при этом и семантический фактор (выражение качественного признака, временной характеристики и т. п.). Особо оговариваются наречия, уточняющие грамматические категории глагола, в частности наклонение (*Il viendra certainement*), поднимается вопрос об отрицании и антиотрицании (*Tu n'es pas allé à la réunion. — J'y suis bien allé.*), о наречиях, выполняющих роль своеобразных «комментаторов» данного отрезка речи (*Il m'épouvante littéralement*) и ряд других вопросов. Желательно было бы выяснить, как велико

¹ См. также: «Studii și cercetări lingvistice», București, 26, 1975, 4, 5, 6; совместный выпуск журналов RRL, 20, 1975, 6 и CLTA («Cahiers de linguistique théorique et appliquée»), 12, 1975, 1—2; и др.

число французских наречий, способных входить лишь в один из предложенных подклассов. Как видно из приведенного в статье материала, некоторые наречия, и их немало, войдут одновременно в два и более из них (ср. *Il travaille trop.* — *Il court trop vite.* — *Il est trop méchant.*), другие же (ср. *vite*) выступают в более ограниченных типах контекста. Для окончательного решения исследуемой проблемы весьма полезным было бы рассмотрение материала с точки зрения возможностей и пределов грамматической сочетаемости каждой из семантических групп наречий (возможно также некоторых из наиболее употребительных наречий в отдельности).

В. Г. Гак в статье «Глаголы „быть“ и „иметь“ как центры лексико-грамматической структуры предложения» (4, стр. 349—351) на основе сопоставления данных русского и французского языков вскрывает дифференциальные черты структур с названными глаголами, приходя к выводу о том, что они находятся в отношении дополнительной дистрибуции не только в морфологии, как это отмечал Бенвенист, но и в более широком плане: в области организации высказывания. В статье показаны те противоположные характеристики, которыми обладают структуры с этими глаголами, ср. *Nous avions parmi nous N./Среди нас был N.:* порядок слов в первом случае прямой, во втором — обратный, рема выражена соответственно дополнением / подлежащим, отношение — глаголом / предлогом и т. д.²

А. Ломбард в статье «Определение и определяемое в румынском и итальянском языках» (5, стр. 515—521)³ на примере словосочетаний типа рум. *acel bătrîn — acela bătrîn*, итал. *quel vecchio — quello*

vecchio поднимает проблему взаимодействия формальных средств выражения (*acel — acela; quel — quello*) и смысловых оппозиций (тот, а не этот — в одном случае; старый, а не молодой — в другом). При использовании указательных форм в функции местоимения нарушается синтаксическая целостность словосочетания и указательное значение местоимения оказывается ослабленным по сравнению с параллельной адъективной формой. А. Ломбард считает псевдообъяснением теорию эллипсиса, на которую иногда опираются при рассмотрении интересных автором конструкций.

Я. Малькиель в статье «Еще раз о лексической поляризации в диахронии. Испанское *primero* — старосп. *postrimero* — классич. исп. *postrero*» (5, стр. 523—526) поднимает проблему формального уподобления противоположных по значению слов. Давний процесс, напоминает автор, весьма характерен для истории латинского языка: ср. *levis* «легкий» — *gravis* «тяжелый» * *grevis*; *pr(ae-h)endere* «брать» — *reddere* «отдавать» * *rendere* и т. п. Интерес автора привлекла судьба латинских слов *primarius* «первый» и *postremus* «последний», вытеснивших, в частности на территории Пиренейского полуострова, соответственно *primus* и *ultimus* и прошедших сложный путь развития от латинского языка к испанскому.

Э. Зайдель в статье «К определению слова» (5, стр. 575—577) обращает внимание на трудности, возникающие в связи с поисками определения понятию «слово», которое оказалось бы применимым одновременно к разным языкам, и приходит к выводу о невозможности найти универсальное определение. Рассуждения ведутся на примере таких случаев, как нем. *fest / feststehen, mal / einmal*, франц. *je, me, y, en / moi, là, dans*, англ. *break-up, come-down* и др.

Ю. С. Степанов в статье «Об одном случае прикладной семиотики (семиотика и этимология)» (4, стр. 417—419) рассматривает этимологию славянского слова *nevěsta*, предложенные еще Ф. Миклошичем: 1) от корня * *ved-* «вести, увозить», с одной стороны, и 2) от корня * *void-/vid-*, слав. *věd-* «здать, ведать», с другой. Автор доказывает приемлемость обеих этимологий: с его точки зрения, рассматриваемое слово представляет собой контаминацию двух слов разного происхождения. Ю. С. Степанов останавливается также на объяснении формы интересующего его славянского слова, привлекая данные литовского и некоторых других индоевропейских языков.

Опубликованы также статьи, посвященные различным проблемам фонетики и фонологии. А. Аврам в статье «Чередование /s/ ~ /z/ в румынском языке» (4, стр. 321—324) определяет названное в заглавии явление как инновацию в группе чередований, основанных на озвончение

² В. Г. Гак останавливается также на некоторых аспектах исторического изучения проблемы, используя и в этом случае материал неродственных языков (русского и французского). Ср. сопоставление фактов самых различных по своему строю языков в кн.: Э. Бенвенист, *Общая лингвистика*, М., 1974, стр. 211—212. Думается, что весьма плодотворным могло бы явиться сравнительное рассмотрение в историческом плане группы родственных языков, например, романских, которые далеко не всегда обнаруживают аналогию в использованных глаголах «быть» и «иметь», см.: А. Г р а у, *Studii de lingvistică generală, Variantă nouă*, București, 1960, стр. 361—367.

³ См. также: А. Л о м б а р д, *Déterminant et déterminé, en roumain et en italien... Deuxième article*, в указанном выше (примеч. 1) объединенном выпуске «RRL — CLTA», стр. 723 и сл.

корневого или аффиксального согласного. Автор считает целесообразным различать три понятия: архифонему /s/ и фонемы /s/ и /z/. Рассмотренные случаи представляют, с его точки зрения, три фонологических чередования: /s/ ~ /z/ в префиксе *des-/dez-*: *despărți — dezamăgi*; /s/ ~ /z/ в префиксе *răs-/răz-*: *răsălatăiegi — răzgândi*; /s/ ~ /z/ в суффиксе *-os/ -oz-* (*generos — generozitate*), в корне *sens — senzație*. Данные румынского языка сопоставляются с соответствующими данными французского, отчасти итальянского языков.

Л. Даскэлу выступает со статьей «Об интонации вопросительных предложений, требующих ответа „да — нет“, при наличии в них эмфазы» (5, стр. 477—480). При делении вопросов на общие и частные иногда указывают на то, что вторые, в отличие от первых, требуют лишь частичной информации, поскольку известная ее доля содержится в самом вопросе (*Кто пришел?* — я знаю, что кто-то пришел, но не знаю, кто именно). С точки зрения автора, общий вопрос, предполагающий утвердительный или отрицательный ответ, содержит в самом себе не меньшую информацию, чем частный, поскольку, задавая вопрос общего типа, говорящий исходит из определенного допущения (*Is mother coming?* — вопрос основан на уверенности, что кто-то пришел, он задается лишь в целях уточнения возникшего предположения). Автор исследует интонацию румынских предложений подобного типа с учетом эмфатически выделяемых в них слов: изучаются румынские предложения, соответствующие английским — *Is mother coming quickly?* *Is mother coming quickly?* *Is mother coming quickly?* Информантами автора были лингвисты, работающие в Бухарестском Центре фонетических и диалектологических исследований.

А. Мартине в статье «Геминаты и „минимальные пары“» (4, стр. 377—379) указывает, что проблема геминат нередко сводится к решению вопроса «одна или две фонемы». Автор считает, что столь категоричная формулировка представляет известную опасность, поскольку она способна заслонить сложность реальных фактов. Главное состоит в том, чтобы понять механизм функционирования языка. Вопрос о «минимальных парах», с его точки зрения, также требует исключительно внимательного и осторожного подхода⁴.

В центре внимания ряда исследований — вопросы развития литературного языка и стилистической интерпретации текста.

Р. А. Будагов в статье «Румынские писатели и филологи о литературном языке» (4, стр. 325—326) рассматривает круг вопросов, возникающих в связи с созданием и совершенствованием литературного языка. Основными характеристиками этого последнего, считает автор, являются его яркость и выразительность, близость к истокам народной речи, территориальное единство. Не обеднение, а обогащение выразительных ресурсов языка, не «пуристическая чопорность», а живые связи с общенародным языком — таковы основные направления его совершенствования. Р. А. Будагов особо останавливается на тех сторонах жизни общества, которые можно рассматривать как своеобразные катализаторы развития литературного языка.

З. Сабо в статье «Теория текста и стилистический анализ» (4, стр. 421—424) подчеркивает целесообразность перенесения стилистического анализа художественных произведений с уровня предложения (методы, разрабатываемые французской стилистической школой) на уровень текста в целом. В этом плане, по мнению автора, стилистика может позимствовать некоторые технические приемы анализа у так называемой теории текста, разрабатываемой особенно интенсивно в последнее время. Автор подчеркивает также тесную связь стилистического анализа с такими смежными науками, как история и теория литературы, социология, психология и др. При стилистической интерпретации текста предлагается сочетать приемы его расчленения с приемом создания на основе частных общей стилистической характеристики текста как некоей целостной величины.

В юбилейных номерах журнала «Revue roumaine de linguistique» можно найти статьи, посвященные рассмотрению теоретических проблем романского языковедения и общезыковедческой проблематике.

Я. Сафаревич в статье «О так называемой итальянской языковой общности» (4, стр. 403—406) отрицает мнение о том, что на территории древней Италии существовал некогда общий «праиталийский» язык, составивший в дальнейшем основу для латинского и оскско-умброского языков. Сходство фонетического и грамматического облика этих последних автор относит к доиталийской эпохе их совместной истории и объясняет тесными контактами соответствующих племенных групп, а родство языков к тому периоду, когда они представляли единый диалект индоевропейского праязыка. Одновременно автор присоединяется к мнению тех ученых, которые считают, что латинский язык на всей территории Римской империи был единым и что расхождения оп-

⁴ В несколько иной связи вопрос о «минимальных парах» поднимается также в статье: В. Т г н к а, The Old English Vowel System and the Problem of Monophonemes, «Studii și cercetări lingvistice», 26, 1975, 4.

ределились лишь после распада этой последней⁵.

И. Йордан в статье «Диалектические аспекты языкознания» (4, стр. 363—365), отмечая решающую роль системы языка в отборе речевых нововведений, задает вопрос: в самом начале, когда человеческая речь носила весьма рудиментарный характер, существовала ли система языка, способная выполнять ту же роль? — и дает отрицательный ответ, признавая исторически первичной речь. В развитии этой мысли И. Йордан высказывает предположение о том, что при решении вопроса об историческом приоритете синтаксиса или морфологии следует отдать предпочтение синтаксису, поскольку этот последний отражает содержание мыслительного процесса, морфология же как арсенал формальных средств должна была, по его мнению, сложиться позднее. Выказывая эту гипотезу, автор опирается на положение диалектического материализма о более быстром развитии содержания и консерватизме формы.

Ж. Мунэн в статье «Социальная природа человеческой речи и общение у животных» (4, стр. 389—392) использует достижения биологии и антропологии и, в частности, наблюдения над человекообразными обезьянами (шимпанзе), особенно интенсивно проводимые в последние десятилетия. Эти наблюдения показали, что, будучи способными научиться взаимному общению, сами животные исключительно редко являются его инициаторами, что объясняется, по мнению автора, тем, что группа животных, сколь бы многочисленной она ни была, не свя-

зана социальными отношениями, требующими более или менее усложненной коммуникации (групповая охота, совместное изготовление орудий и т. п.). Опыты над человекообразными обезьянами⁶ показали, отмечает автор, и другое: способность некоторых из них мыслить до известной степени абстрактными понятиями сама по себе еще не предполагает способности к осмысленному общению и, что еще важнее, потребности такого общения.

В опубликованных статьях представлены также проблемы балканской и классической филологии, вопросы словообразования, лингвистической типологии, истории языкознания и т. д. Как видно из предложенного обзора, юбилейные выпуски журнала «Revue roumaine de linguistique» — это своеобразный синтез тем и проблем, отражающих самые различные аспекты языковедческой науки. Включенные в них материалы выполнены в духе лучших традиций лингвистических исследований и, вне всякого сомнения, будут с интересом встречены специалистами соответствующих профилей. Дискуссионность ряда вопросов, предлагаемые гипотезы и интерпретации языковых фактов стимулируют научный поиск и служат развитию научной мысли. Высокий теоретический уровень статей является лучшим свидетельством глубокого уважения к юбилярам — академикам А. Грауру и А. Росетти — со стороны ученых разных стран.

Репина Т. А.

⁶ Ж. Мунэн опирается в своих рассуждениях на труды американских ученых. Ценные результаты в этом направлении получены советскими исследователями, см., например: Н. А. Тих, Предыстория общества, Л., 1970 (там же, стр. 302—307, подробная библиография вопроса).

«Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков». — М., «Наука», 1976. 159 стр.

Рецензируемая коллективная монография является продолжением важного дела, когда-то начатого энтузиастами. Сейчас, когда в Институте языкознания АН СССР создана и действует проблемная Группа по интерлингвистике, на которую возложены и координационные функции, разработка проблем искусственных вспомогательных языков международно-общения организационно оформилась. Данная коллективная монография демонстрирует круг проблем, находящихся в центре внимания отечественной интерлингвистики.

Продолжая традиции отечественного языкознания, серьезный вклад в исследование интерлингвистики внес известный советский языковед и интерлингвист Е. А. Бокарев. Ему принадлежит стройная интерлингвистическая концепция, принятая и развиваемая его коллегами и учениками. В статье М. И. Исаева рассматриваются взгляды Е. А. Бокарева на интерлингвистику и эсперантологию. К сожалению, из-за небольшого объема монографии статья несколько конспективна. Впрочем эта конспективность восполняется публикацией двух статей Е. А. Бока-

рева в разделе, посвященном общим проблемам интерлингвистики.

Особый интерес здесь представляет небольшая по объему, но очень насыщенная идеями статья Е. А. Бокарева «О международном языке науки». Е. А. Бокарев убедительно показывает, почему национальный язык не может быть принят в качестве международного языка науки, и одновременно — почему необходимым язык международного научного общения. При этом функции такого языка, утверждает Е. А. Бокарев, должны быть достаточно широкими и не должны ограничиваться только научным общением.

Функции международного вспомогательного языка обсуждаются в статье М. И. Исаева «Проблема искусственного языка международного общения». Автор совершенно прав, говоря о вспомогательном характере такого языка и о необходимости углубленного изучения объема его общественных функций. Определив последние, можно произвести выбор того из искусственных языков, который полностью отвечал бы поставленным перед ним задачам. Так проблема искусственно-вспомогательного языка оказывается прежде всего проблемой социолингвистической.

Рассматриваемые в статье М. И. Исаева вопросы имеют принципиальное и общее значение, поскольку без строгого определения предмета и объекта интерлингвистики, без осознания ограниченности обобщений, на которые может претендовать интерлингвистика, невозможно развитие этой области науки. Решение этих вопросов тем более важно, что интерлингвистика — это область междисциплинарных исследований, в том числе исследований лингвистических. Часть из этих проблем обсуждается в статье В. П. Григорьева «Искусственные вспомогательные международные языки как интерлингвистическая проблема». Нам представляется неправомерным упрек автора в отсутствии интереса к проблематике искусственных международных языков, высказанный в адрес лингвистики. Действительно, искусственные языки были вне внимания (или почти вне внимания) лингвистики долгое время. Однако это объясняется не отсутствием интереса к данным проблемам, но отсутствием серьезной постановки этих проблем. При убедительном доказательстве необходимости искусственного языка и формулировании проблем, возникающих в связи с функционированием такого языка, эти проблемы, без сомнения, нашли бы своих исследователей.

Необходимость в языке международного общения для преодоления последствий информационного «взрыва» частично показана в статье Д. Л. Арманда «Человечество и океан информации». Но здесь возникает проблема обучения искусственному языку. Естественно, что именно

обучение должно предшествовать введению языка как средства общения. Можем ли мы, построив самую совершенную методику преподавания естественного языка, пользуясь самыми оптимальными методами, успешно обучать искусственному языку? На этот вопрос нельзя ответить, основываясь на отдельных, частных, пусть удачных, находках. На него, по-видимому, можно ответить только после проведения широких и планомерных экспериментальных исследований, необходимость в которых назрела.

Следующий раздел монографии посвящен «узко» интерлингвистической проблематике — типологии и эволюции искусственных языков. Открывается раздел статей С. Н. Кузнецова «К вопросу о типологической классификации международных искусственных языков». Выделение теории искусственных языков, проводимое автором, может быть оспорено, поскольку интерлингвистическое изучение международных вспомогательных языков предполагает, что это языки искусственные. Однако лингвосоциологический аспект исследования, основываясь на котором С. Н. Кузнецов предлагает основания для типологической классификации искусственных языков, представляется продуктивным.

В связи с утверждением о необходимости международного вспомогательного языка возникает проблема его формы — устной или письменной. Одной из крайностей в решении этой проблемы является так называемая международная смысловая письменность (пазиграфия). Мы не обсуждаем возможности построения такой письменности, ибо она вряд ли когда-либо найдет применение. О ценности пазиграфии и ее исторической роли дает верное представление статья Д. Бланке (опубликованная в переводе Г. Я. Короткевича) «Пазиграфия (Международная смысловая письменность)».

Одним из распространенных искусственных языков является эсперанто, который по сути дела уже вышел победителем среди других проектов. Исторически сложилось так, что именно эсперанто начинает принимать на себя роль вспомогательного языка международного общения, правда, пока в известной мере «внутри себя и для себя». Очевидно, распространенность эсперанто и можно объяснить его относительно более полную, по сравнению с другими искусственными языками, изученность. Правомерно ли подходить к изучению искусственных языков так же, теми же методами, что и к изучению естественных языков — это, нам представляется, проблема, еще не решенная. Реальные исследования, например, эсперанто, показывают, что его можно изучать так же, как и естественный язык аналогичного строя, но уверенно сказать, что это можно всегда, сейчас трудно. Эти проблемы возникают и перед эсперанти-

стам, хотя и не всегда эксплицируются. Примером может служить статья Н. Ф. Дановского «Эволюция эсперанто».

Третий — заключительный — раздел монографии исторический. Отечественная интерлингвистика имеет определенную историю и на свой исторический опыт должна опираться — к такому выводу приводит небольшая, но очень насыщенная фактами статья А. Д. Дуличенко «Из истории интерлингвистической мысли в России». Непосредственно к ней примыкает статья Л. И. Василевского, принявшего участие в создании языка Universal. «Неизвестная страница в истории отечественной интерлингвистики — язык Universal (1925 г.)». Статья интересна не только фактическим материалом, но и тем, что вводит читателя как бы в лабораторию создания искусственного языка. Несомненный интерес для историков

и типологов искусственных языков представляет описание разновидности вспомогательного международного языка, принадлежащее покойному Д. Г. Баеву («Вариант вспомогательного международного языка (аксиом-вариант)»).

Итак, первая публикация Проблемной группы интерлингвистики Института языковедения АН СССР в целом удачна. Хотелось бы, правда, увидеть статьи, посвященные принципиальным, методологическим проблемам интерлингвистики, в большем числе. Но, может быть, решение частных вопросов — это тоже путь к построению общей теории. Монография позволяет надеяться, что отечественная интерлингвистика будет интенсивно развиваться и приступит к разрешению сформулированных ею проблем.

Шахнарович А. М.

Б. Хасанов. Языки народов Казахстана и их взаимодействие. —
Алма-Ата, изд-во «Наука» Казахской ССР, 1976. 216 стр.

Рецензируемая монография Б. Х. Хасанова представляет собой первую работу, специально посвященную характеристике процессов взаимодействия языков в Казахской ССР (преимущественно в советскую эпоху). Она состоит из трех глав, которым предпослан раздел, озаглавленный «Социальная сущность языка и его общественные функции (Вместо введения)». В этом разделе обосновывается выделение социолингвистики как самостоятельной лингвистической дисциплины и определяется ее предмет.

Во вводном разделе подчеркивается особая роль социолингвистических исследований в нашей стране, опровергаются предпринимаемые советологами попытки фальсифицировать достижения в развитии национальных языков. Б. Х. Хасанов показывает огромное значение советского опыта языкового строительства для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Первая глава носит название «В. И. Ленин о развитии национальных языков народов СССР». Автор не ограничивается изложением ленинского учения о взаимоотношениях наций и языков, он говорит о том, как оно повлияло на развитие этнолингвистических процессов в СССР и в Казахстане. На стр. 25 приводятся данные о том, какое число представителей различных национальностей, населяющих Казахскую ССР, считает русский язык родным или вторым языком: среди казахов их более 1 млн. 800 тыс., а среди нерусских в целом — около 4 млн. 500 тыс. Особое место в первой главе уделяется лингвистическим

аспектам школьного образования на территории многонационального Казахстана. Автор правильно отмечает, что необходимо подвергнуть специальному исследованию воздействие школы на язык, на развитие его социальной функции.

Вторая глава посвящена функционированию языков в Казахстане в советскую эпоху. Во вступительных замечаниях к этой главе дается суммарная характеристика общественных функций языка. Автор выделяет функции языка преподавания: а) в начальной школе, б) в средней школе, в) в вузах; функции языка, употребляемого в различных сферах общественно-политической жизни...; функции языка художественно-политической и научной литературы и т. д.

Нам представляется, что этот перечень не дает четкого представления о всем многообразии социумов, в среде которых осуществляется обмен коммуникациями. Функции, намеченные Б. Хасановым, недостаточно детализованы, а кроме того — явно недостает особой научной сферы использования языка: нельзя, по нашему мнению, распределять ее, как это делает автор, между тремя рубриками — функциями языка преподавания, функциями языка общественно-политической жизни и функциями языка литературы.

Автор убедительно обосновывает правомерность того, что не все языки равны по объему выполняемых функций. Вновь затрагивается вопрос о школе, на этот раз в связи с функционированием казахского, русского, узбекского, уйгурского, таджикского языков, а в период Великой Отечественной войны — также украинского, польского и других язы-

ков на территории Казахстана. Тезис о том, что в расширении сферы употребления языка весьма важное значение имеет сознательное влияние общества, подкрепляется сведениями о развитии высшего и среднего специального образования, о росте книжной продукции, об увеличении числа журналов и газет. Так, отмечается, что в 1974 г. в республике издавалось 397 газет на казахском, русском, уйгурском, узбекском, корейском и немецком языках, а также, что в писательскую организацию Казахстана входят прозаики, поэты и драматурги, пишущие на казахском, русском, уйгурском, корейском и немецком языках.

Следующий раздел второй главы посвящен развитию социальной функции казахского языка. На основании многочисленных фактов автору удалось с достаточной полнотой показать, как язык отсталой окраины царской России, уделом которого было преимущественно бытовое общение, превратился в высокообразовательный язык социалистической нации, с неизмеримо расширившимися общественными функциями.

Заслуживает одобрения предпринятая Б. Хасановым попытка разработать сложный вопрос о роли социальных факторов в расширении сферы употребления слов казахского языка. Здесь преимущественное внимание уделено метафоризации цветообозначений в произведениях С. Сейфуллина, И. Джансугурова, Г. Мусрепова и других казахских писателей, но говорится также об участии цветообозначений в формировании научных терминов (*қызыл тамыр* «красные сосуды», *уйдің қызыл сызығы* «красная линия здания» и под.).

Особое место уделяется терминологии, упорядочение которой автор справедливо считает важнейшим условием планомерного развития языка. «Термины по своей природе глубоко социальны» (стр. 87), в связи с этим развитие терминологии несет на себе отпечаток культуры и науки в среде носителей языка; автор убедительно иллюстрирует это положение многочисленными фактами. Он приводит сведения о совершенно новых терминологических пластах, возникших в казахском языке в советское время под влиянием русского языка, говорит и о том, как активизировались самобытные средства казахского языка в бурном процессе терминовторчества. Б. Хасанов приводит свои разыскания о личном участии ряда писателей, переводчиков, филологов в создании и унификации терминов, отмечает роль языковедов — Х. Жубанова, С. Аманжолова, С. Кенесбаева, М. Балакаева, А. Исакова и многих других — в повышении терминологической культуры казахского языка.

Специальный раздел второй главы посвящен функционированию русского языка в республике. Хотя до революции

русский язык был государственным языком, функционирование его было ограниченным. Он был распространен в основном в официальной переписке, делопроизводстве, в органах царской администрации, а также в двухгодичных школах грамоты и в 12 средних школах. Б. Хасанов показывает, как последовательно и неуклонно развивались функции русского языка после революции, и намечает периодизацию этого процесса. Ни один язык на протяжении всей дореволюционной истории Казахстана не возвышался до положения второго языка или языка межнационального общения, а русский язык ныне является родным или вторым языком для половины населения, это язык дружбы и сотрудничества представителей более ста национальностей, населяющих Казахскую ССР. В силу ряда причин русский язык функционирует в Казахстане более широко, чем в других республиках, кроме РСФСР. Автор раскрывает это явление, оперируя обильными фактами, почерпнутыми из издательской практики, из сферы образования (среднего и высшего). Он со знанием дела говорит о русском театре и вторгается в малопоследованную область домашнего двуязычия, подробно анализирует деятельность школьных и вузовских преподавателей русского языка в казахской аудитории, исследователей-русистов и методистов, неутомимых пропагандистов и отличных знатоков русского слова, которых немало в республике. В разделе мало общих суждений, а много конкретной, полезной и интересной информации, что делает его особенно ценным.

Столь же информативен раздел о функционировании уйгурского, дунганского, корейского и немецкого языков. Здесь использованы труды специалистов по упомянутым языкам, материалы прессы, архивные данные. Автор стремится выявить причины, вызывающие особенности функционирования того или иного языка: многовековую богатую письменно-литературную традицию — для уйгурского языка; резкое отличие от тюркских и русского языков — для дунганского языка, широкое распространение литературы, изданной не только в СССР, но и в КНДР и ГДР — для корейского и немецкого языков и др. И здесь, как и в других разделах, много внимания уделяется школе, периодической печати, художественной литературе, переводам (см., например, сообщение о том, что молодой казахский поэт М. Курманов перевел непосредственно с немецкого «Фауста» Гете) и театру. Б. Хасанов выступает в этом разделе не как хладнокровный регистратор событий и фактов; он проявляет горячую заинтересованность в правильном освещении сложных проблем языковой жизни Казахской ССР — одной из многонациональных союзных республик СССР.

Наибольшую исследовательскую самостоятельность Б. Хасанов проявляет в третьей главе, в которой обсуждается взаимодействие языков в Казахстане в условиях контактов. Сначала приводится общая характеристика языковых контактов, дву- и трехязычия в республике. Кроме казахско-русского двуязычия, которое уже освещалось в научной литературе, здесь впервые описывается двухстороннее корейско-казахское двуязычие, корейско-казахско-русское трехязычие, дунганско-казахско-русское трехязычие, казахско-дунганско-уйгурско-русское четырехязычие и другие формы взаимодействия языков с указанием условий, в которых они возникают. Приводятся также данные конкретно-социологических исследований, например, статистические сведения об отношении казахов и представителей других национальностей к языку общения и к языку театра, кино, художественной самостоятельности (стр. 162).

Глава завершается анализом влияния казахского языка на язык проживающих в Казахстане русских, киргизов, уйгуров, узбеков, турок, таджиков, дунган, корейцев и немцев. Опереться на труды предшественников (А. В. Миртова, Н. М. Малечи, М. К. Кокабаева, М. П. Скибиной, А. Т. Кайдарова, Г. Садвакасова и др.) Б. Хасанов мог только при описании влияния казахского языка на русские говоры Казахстана и на уйгурский язык. Во всех остальных случаях он приводит абсолютно свежий, никем ранее не обследованный материал. Речь идет не только о лексических заимствованиях, но и о влиянии на фонетический строй, а в отношении тюркских языков — на морфологическую структуру. Влияние на уйгурский и немецкий языки прослеживается не только по устной речи, но и по текстам художественной литературы. Автор, к сожалению, не делает различия между лексикой, обозначающей казахские реалии (например: *die Dombra*, *der Toj* в немецком языке) и заимствованиями типа *der Konak* «гость» (вм. *der Gast*), *der Kasar* «котел» (вм. *der Kessel*), *die Kaila* «кирка» (вм. *die*

Ricke). Наличие последних свидетельствует о глубоком проникновении казахской лексики в лексику немецкого языка на территории Казахстана. См. еще наименование лица женского пола, образованное от *der Dshigit* в значении «молодчина»: *Dshigitin Svetlana Rodionova* (стр. 205). Очень интересно сообщение об уйгурско-казахских и турецко-казахских лексических дублетах (стр. 192—193).

В разделе, посвященном влиянию казахского языка, много важных сведений, но встречаются и спорные суждения. Так, автор приводит высказывание А. Л. Шибавой о том, что слово *aida* заимствовано в русский язык из казахского (стр. 170), в то время как оно относится к древнерусским заимствованиям из татарского языка. Вызывает возражение и утверждение о заимствовании в немецком из казахского языка *der Chan* (стр. 204; там же автор сообщает совершенно излишние сведения о правилах употребления при данном слове артиклей).

Книга, на наш взгляд, страдает некоторой композиционной рыхлостью: часть материала первой главы повторяется (правда, в более развернутом виде) во второй главе, а материал первого раздела третьей главы (о взаимовлиянии языков Казахстана) — во втором разделе той же главы. Нередки погрешности против стиля и туманные пассажи вроде нижеследующего: «Контактируют между собой как языки, так и диалекты, выступающие в аналогичных литературному языку функциях (? — М. К.). В массовом освоении языка изучение (? — М. К.) идет, на наш взгляд, прежде всего через местный говор, и это можно было бы назвать диалектно-языковым контактированием» (стр. 154—155).

Но эти недочеты легко устранимы. Они не снижают достоинств книги, которая является ценным вкладом в едва лишь зарождающуюся, но необычайно важную в условиях нашей многонациональной страны научную дисциплину — региональную социолингвистику.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

27—29 сентября 1976 г. в Алма-Ате проходила Всесоюзная тюркологическая конференция (ВТК), созванная Советским комитетом тюркологов при ОЛЯ АН СССР и Академией наук Казахской ССР под эгидой Отделения литературы и языка и Отделения истории АН СССР. ВТК состоялась в юбилейный — пятидесятый — год со времени I Всесоюзного тюркологического съезда (Баку, 1926). Ее задачами было определить результаты и наметить дальнейшие перспективы исследований актуальных проблем языкознания, литературоведения, фольклористики, истории, археологии и этнографии тюркских народов, составляющих самый большой, после славянских, национально-языковой компонент в братской семье народов СССР. В конференции приняло участие свыше 350 делегатов из 22 городов страны, а также зарубежные гости. Самый представительный форум за всю историю отечественной тюркологии был посвящен 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Во вступительном слове вице-президент АН КазССР акад. АН КазССР Б. А. Тулепбаев отметил, что конференция знаменует собой расцвет экономики, науки и культуры тюркоязычных народов, достигнутый в результате торжества ленинской национальной политики на Советском Востоке и благодаря неустанной заботе Коммунистической партии и Советского правительства.

В открывшем конференцию докладе председателя Советского комитета тюркологов акад. А. Н. Кононова было всесторонне охарактеризовано состояние тюркской филологии в нашей стране¹.

Приобретение тюркских народов СССР в послеоктябрьский период к социалистическому строительству выдвинуло перед тюркологией задачи исторической важности: перевод литературных языков на нормы ведущих народных диалектов, создание письменностей для бесписьменных народов и переход на новые системы письма для

старописьменных языков, а также становление и совершенствование орфографий. Расширение общественных функций тюркских языков в связи с освоением новых сфер труда и научной деятельности и постановкой массового образования явилось могучим стимулом для адаптации языками новых лексических пластов, выработки национальных терминологий, совершенствования выразительных возможностей устной и письменной речи. Анализу данных процессов был посвящен коллективный доклад руководящих деятелей тюркского языкознания союзных республик Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Туркмении — акад. АН УзССР Ш. Шаабдурахманова, акад. АН КазССР С. К. Кенесбаева, акад. АН АзССР М. Ш. Ширалиева, канд. филол. наук А. Турсунова (КиргССР), чл.-корр. АН ТуркмССР Б. Ч. Чарырова — «Развитие тюркских языков СССР в советскую эпоху».

С обзорными докладами по литературоведению и истории выступили чл.-корр. АН СССР Г. И. Ломидзе («Пути эстетического обогащения советской многонациональной литературы») и акад. АН КазССР А. Н. Нусупбеков («Изучение проблем истории тюркских народов СССР в советскую эпоху»).

Таков состав докладов общего пленарного заседания ВТК. Далее ее работа проходила по трем секциям: языкознания, литературоведения и истории². Настоящий отчет посвящен работе секции языкознания. Наиболее общие доклады

² В Алма-Ате в 1976 г., к началу конференции, были выпущены три книги (общим объемом 38,5 п. л.) с тезисами запланированных секционных докладов: «Советская тюркология и развитие тюркских языков в СССР», «Тюркоязычные литературы — история и современный литературный процесс», «Этнические и историко-культурные связи тюркских народов СССР». К сожалению, в настоящей хроникальной заметке не представляется возможным отразить содержание всех без исключения докладов и выступлений в прениях.

¹ См.: А. Н. Кононов, Современное тюркологическое языкознание в СССР. Итоги и проблемы, ВЯ, 1977, 3.

(33) были заслушаны на двух пленарных заседаниях секции (вечером 27 и утром 28 сентября), вся остальная масса докладов и сообщений (149) была распределена по шести подсекциям, работавшим вечером 28 и утром 29 сентября.

В десяти пленарных докладах было охарактеризовано состояние языковедческих исследований на местах, в республиках и областях, и выделены наиболее актуальные по каждому из конкретных тюркских языков проблемы их изучения (М. Ш. Ширалиев, Б. Ч. Чарьяров, А. А. Тыбыкова, З. Г. Ураксин, Е. И. Коркина, Л. Т. Махмутова, Д. С. Насыров, Г. С. Садвакасов, М. И. Боргояков, Н. Н. Джанашиа и М. Х. Сванидзе). В трех докладах освещены некоторые теоретические и методологические проблемы анализа морфологического и синтаксического строя и лексики тюркских языков. В коллективном докладе А. Н. Кононова и С. Н. Иванова подчеркивалась важность органического применения положений диалектико-материалистической философии к конкретным вопросам тюркской грамматики. К наиболее актуальным вопросам тюркского синтаксиса, по мнению Г. Абдурахманова, относятся проблемы основных структурных типов (словосочетание; простое, осложненное и сложное предложения), классификации предложений по цели высказывания, классификации членов предложения (главные, второ- и третьестепенные). Широкий фронт проблем, стоящих перед исследователями исторической и синхронной лексикологии и семасиологии, обрисовал в своем докладе К. М. Мусаев.

В четырех докладах обсуждались вопросы соотношения описательного, исторического, сравнительно-исторического и ареального методов. Б. А. Серебряников, подчеркнув, что строй языка развивается по внутренним законам, а внешние влияния выступают в роли катализаторов predeterminedных этими законами изменений, обратил внимание на необходимость разработки методики определения внешних влияний, что в конкретных исследованиях часто отсутствует. Н. З. Гаджиева утверждала необходимость совокупного использования различных методов и приемов лингвистического анализа при построении сравнительно-исторической грамматики тюркских языков. Э. Р. Тенишев указал на ряд явлений, возникших, по его мнению, в тюркских языках под иноязычным влиянием, и специально остановился на сходных инновациях сарыг-югурского и саларского языков, расположенных на смежных территориях. М. А. Бородина подчеркнула важность использования ареальных (пространственных) данных современных диалектов бесписьменных и младописьменных языков при реконструкции более ранних историчес-

ких состояний и взаимоотношений тюркских языков с соседними языками.

Важным вопросом совершенствования алфавитов тюркских языков СССР на основе русской графики был посвящен доклад Н. А. Баскакова, который считает давно назревшей унификацию в действующих алфавитах графических приемов (аналитическое написание *j* и *w* с гласными) и графем (*э, е, у, эр, й, ъ, ь, ы, ы,* *э* и др.). Социолингвистический анализ роста общественных функций тюркских языков в советскую эпоху и их внутривидового развития был представлен в коллективном докладе Ю. Д. Дешериева и С. К. Генесбаева. За годы, прошедшие с I Всесоюзного тюркологического съезда, в СССР проделана большая библиографическая работа, итогом которой, а также нерешенным задачам был посвящен доклад Ф. Д. Ашнина. О необходимости более широкого и разностороннего применения ЭВМ при лингвистическом анализе тюркского материала и проблемах инженерной лингвистики говорили Р. Г. Пиотровский и К. Б. Бектаев.

Десять докладов были связаны с рассмотрением конкретной проблематики, с освещением фактов современных языков и памятников под углом зрения сравнительно-исторической грамматики и фонетики тюркских и других алтайских языков. Е. И. Убрятова остановилась на характеристике некоторых морфологических и фонетических черт современных тюркских языков Сибири, соотносимых с аналогичными фактами древнетюркского, древнеуйгурского и древнекиргизского языков. А. Т. Кайдаров рассмотрел вопрос о формах бытования первичных синкретических основ в различных лексических пластах и различных языковых ареалах. А. В. Десницкая коснулась ареальных контактов неродственных языков на примере тюркизов в албанском языке.

Сравнительно-исторической тематике были посвящены доклады зарубежных гостей. Т. Текин (Турция) предложил свои уточнения к классификации тюркских языков, взяв за основу судьбу шести фонетических явлений [1) ротацизм/лабдализм; 2) **p* -> \emptyset и *h*-; 3) *-d/-t/-z/-l/-r-*; 4) и 5) конечные гуттуральные; 6) *t/-d-*], в результате чего современные языки (без охвата ранних письменных памятников, на чем настаивает автор) распределяются на 12 подгрупп. Г. Дерфер (ФРГ) выступил с гипотезой о следах пратюркского **p*- в древнетюркском (~ халадж. *h*-), которые он предлагает видеть в особенностях написания слов с начальными *a-* (с руной для *a* и без нее), а также в колебаниях типа *aγač/ıγač/ıγač*. К. Г. Менгес (США) вновь обратил к трактовке разнобой императивных форм 1-го лица мн. числа *-alıql-altm* в качестве реликтового различия инклюзива и эксклюзива, которое он рассматри-

вает как исконно алтайскую черту. Э. Трыарский (Польша) на основе анализа 29 монголизмов в языке армяно-кыпчакских памятников XIV—XV вв. рассмотрел возможные пути и время их проникновения в старокыпчакский язык. И. Л. Циртаутас (США) коснулась вклада ведущих узбекских диалектов, традиций староузбекского языка и влияния русского языка в процессе формирования норм и стилей современного узбекского литературного языка.

В подсекции № 1 (Синтаксис) было заслушано 24 доклада, в которых затрагивался большой круг актуальных проблем синтаксического строя тюркских языков. Широко ставились вопросы, связанные со структурой предложения, характеристикой отдельных его членов. Доклад С. А. Соколова был посвящен уточнению классификации турецких одноставных предложений, которые определяются им как предложения с имплицитной внутренней предикативностью. Критериям отграничения одноставных предложений от двуставных и уточнению типов одноставных предложений были посвящены доклады И. Х. Ахматова и Е. Н. Чунжековой. Об изучении интонации предложения говорила в своем выступлении А. Н. Нурмаханова. Принципы классификации сложных предложений трактовались А. Джанаровым, А. Аскеровой; последняя отстаивала точку зрения о необходимости выделения наряду со сложноподчиненными и сложносочиненными предложениями предложений промежуточного типа (как союзных, так и бессоюзных). Описанию сложноподчиненных предложений с придаточными приложениями в диалектах азербайджанского языка был посвящен доклад М. М. Джафарзаде. Предложения с параллельным строением рассматривались М. Адильевым. Разграничению сложного и осложненного предложений посвятил свое выступление Х. М. Есенев.

Ряд докладов был посвящен описанию структуры частей предложения, характеристике отдельных членов предложения. Попытку классификации различных типов сказуемого по единому признаку — формальному — предприняла З. И. Будагова. В своем докладе А. М. Каримова развивала мысль о том, что конкретное сказуемое в тюркских языках формально выражает лишь ограниченное число грамматических значений из потенциально возможных.

В докладе Э. А. Групиной, посвященном закономерностям в развитии индикатива, были рассмотрены два процесса, имеющие циклический характер: реставрация континуативности и реперфективация. Проблема разграничения управляемых и примыкающих падежных форм рассматривалась в докладе Н. П. Голубевой; признаком управления докладчик считает предсказуемость. Рассматривая

употребление турецких глаголов *ol-* и *i-* в качестве вспомогательных, П. И. Кузнецов отмечает отсутствие у первого имперфективного оттенка. Порядок слов рассматривался в докладе А. Гасанова, полагающего, что из числа неоднородных определений непосредственно перед определяемым располагаются те из них, которые выражают значение неопределенности, а также в выступлении М. И. Трофимова. Систематизации сочетаний слов в чувашском языке был посвящен доклад М. Ф. Чернова.

Разговорная речь и живые процессы в синтаксисе тюркских языков были предметом рассмотрения в докладах Р. С. Амирова и Ф. С. Сафиуллиной. Последняя отмечает, что причиной изменений в синтаксисе современного татарского языка является усиление влияния синтаксиса разговорной речи и синтаксических конструкций русского языка.

Наряду с традиционной синтаксической проблематикой рассматривались и темы, разработка которых в тюркологии только начинается. Принципам исследования синтаксических изменений в языке при контактах с неродственными языками (на материале гагаузского языка) был посвящен доклад Л. А. Покровской. О приложении к абстрактным синтаксическим моделям признаков фразеологичности говорил в своем докладе Е. А. Понделуевский. Систематичности проявления принципа экономии в синтаксическом строе тюркских языков был посвящен доклад К. Н. Велиева. Вопросы определения и классификации синтаксических синонимов и развития синтаксической синонимии рассматривались в докладах С. М. Ибрагимова и Н. Х. Демесиновой.

В подсекции № 2 (Морфология) был заслушан 21 доклад. С. Н. Иванов говорил о важности теории и методологии в лингвистическом анализе, особенно при решении проблем грамматической многозначности, соотношения элементов языка и его системы, парадигматики и синтаксматики, синхронии и диахронии.

Проблематика частей речи в тюркских языках была темой трех докладов. З. М. Валиуллина и С. Л. Чареков солидаризировались с тем направлением, которое считает значение частей речи грамматическим, а морфологические категории и синтаксические свойства слов классификационными признаками; А. И. Исаков придерживается лексико-грамматического принципа классификации частей речи.

Пять докладов было посвящено способам выражения грамматических значений. Наиболее общие вопросы развивались И. А. Андреевым. В тюркских языках, считает он, полнее представлена парадигматическая экономия в словах и служебных морфемах; недостаток служебных морфем как деривационных, так и реляционных восполняется ис-

пользованием в этой функции словоизменительных показателей, а также словоупорядка и контекста. М. А. Ахметов считает, что с безаффиксальным способом выражения грамматических значений (порядок слов, редупликация, ударение и интонация) связано, например, в башкирском тексте до 30—40% слов. Х. Г. Нигматов говорил о том, что во всех словоизменительных формах наряду с категориальным значением сопряжены иные грамматические значения (в формах числа — значение определенности / неопределенности, в формах времени — значение модальности и актуальности и т. д.), что обеспечивает единство морфологической системы. В докладе А. К. Калыбаевой содержалась попытка применения понятий теңберовского синтаксиса к тюркскому материалу. Ф. А. Ганиев коснулся роли сопоставительной типологии при анализе грамматических категорий.

Модели и средства словообразования на материале отдельных языков рассматривались в докладах И. П. Павлова, В. А. Исенгалиевой, Д. Х. Базаровой, Н. Маматова. Критерии разграничения и классификации аналитических образований в системе глагола (сложные, составные, перифрастические и аналитические глаголы) обсуждались в докладе Ф. Р. Зейналова.

Ряд конкретных проблем морфологии тюркских языков был рассмотрен в докладах Н. Е. Петрова, С. И. Ибрагимова, М. В. Зайнуллина, Х. И. Суюнчева, Д. Н. Сусеевой, Г. К. Куллева, А. Боржакова.

В подсекции № 3 (История языка) состоялось 20 докладов. Восемь докладов было посвящено периодизации истории языков, прежде всего старописьменных, характеристике отдельных этапов их формирования, а также рассмотрению их места в классификационных схемах тюркских языков. Ф. А. Абдуллаев считает, что складывание литературно-письменной традиции в истории узбекского языка (XI—XIV вв.) опиралось на два языковых типа (караханско-тюркский язык и огузо-туркменский), чем и объясняется его смешанный характер в последующие эпохи. Ш. Шукуров основное внимание сосредоточил на трудностях квалификации разнообразных письменных источников в плане периодизации истории узбекского языка. В истории азербайджанского языка, как полагает А. Ахундов, можно выделить два периода (XIII—XVIII и XVIII—XX вв.). В. Аславов и Г. Вороши проиллюстрировали важность привлечения грузинских, армянских, сирийских, византийских и других источников V—X вв. для уточнения хронологии и типа тюркских языков Закавказья этого древнейшего периода. Периодизация татарского литературного языка обсуждалась в докладе В. Х. Ха-

кова, который первоначальные этапы определяет в границах XIII—XIV вв. (сбразование тюркско-татарского языка Поволжья на основе кыпчакского языка с примесью среднеазиатских языковых черт) и XV—XVI вв. (складывание норм и стилевых разновидностей). М. З. Закиев высказал свое критическое отношение к болгаро-чувакской гипотезе. Р. Г. Ахметьянов изложил свою классификацию кыпчакских языков, основанную на предположении о хронологически последовательных изменениях афлатных среднеязычных, ауслатных *-y* и *-g* и развитии ассимилятивно-диссимилятивных процессов в группах с сонорными. И. В. Кормушин интерпретировал представленные в орхоно-енисейских памятниках слова с *-j-* вместо ожидаемого *-d-* (типа *kejik, qaja*) как отражение членения древнейших диалектов по признаку *-j/-d-*.

В четырех докладах обсуждались важные для современного уровня развития тюркской исторической грамматики проблемы соотношения народно-разговорных и литературных языков, представленных в памятниках. Г. Ф. Благова, настаивая на необходимости разграничения в материалах памятников при составлении истории языка фактов письменно-литературной традиции и исторических диалектов, остановилась на методике интерпретации в этом плане языковых показаний текстов. З. Б. Мухамедова на конкретных примерах показала возможность вычленения собственно туркменских форм при изучении туркменских литературных памятников, язык которых испытывал влияние восточнотуркестанского языка и языка Навои. Р. Г. Сыздыкова, рассматривая источники формирования казахского литературного языка, обратила внимание на существование «предписьменного литературного языка», представленного, по ее мнению, в поэтическом творчестве казахских жырау и акынов. Д. М. Насилов указал на важность учета языковой ситуации в Уйгурском государстве при использовании древнейгурусских фактов в сравнительно-исторических штудиях.

Вопросы издания памятников, графической передачи текстов и направлений исследования их грамматики и лексики поднимались в трех докладах. Пути создания корпуса армяно-кыпчакских памятников и комплексного изучения их языка освещались в докладе И. А. Абдуллина. Издаваемые в последнее время памятники письменности, как отметил К. Каримов, имеют существенные недостатки в способах графической передачи тюркоязычного текста, поэтому назрела необходимость незамедлительной разработки научно обоснованных унифицированных правил «трансграфики» текстов. Э. И. Фазылов указал, что состояние современной тюркологии требует системного подхода к изучению памятников

письменности с всеобъемлющим описанием грамматических форм и всей совокупности лексических единиц, а это в свою очередь требует выработки единой системы обследования языка памятников.

Диакронические аспекты тюркской грамматики и лексики рассматривались в пяти докладах. А. Н. Гаркавец коснулся развития под ипоязычным влиянием функций глагольных имен в армяно-кыпчакском языке, что привело к существенным сдвигам в грамматическом строе этого языка. А. М. Щербак предложил появление лично-предикативного показателя 2-го лица мн. числа *-siz* объяснять действием закона аналогии в парадигме показателей всех трех лиц (ср.: *-диц/-дица*). О некоторых до сих пор не получивших убедительной интерпретации словах из «Кодекса куманикус» говорил А. К. Курьшжанов. С. Кудайбергенев остановился на сопоставительном изучении ряда грамматических форм глагола в алтайских языках. М. А. Хабичев проанализировал ряд венгерских слов, имеющих параллели в современном карачаево-балкарском языке.

В подзаголовке и № 4 (Диалектология) было прочтано 20 докладов. О некоторых результатах работы по составлению атласов азербайджанского, башкирского, каракалпакского и чувашского языков было сообщено М. И. Исламовым, Н. Х. Максютовой, О. Доспановым, Л. П. Сергеевым.

11 докладов было посвящено анализу взаимодействия различных тюркских языков в пограничных между ними зонах. Д. Г. Тумашева считает, что необходимо учитывать степеня проявления фонетических и морфологических признаков при ареалогической квалификации такой смешанной территории, как область распространения сибирско-татарских диалектов, где в тоболо-иртышском диалекте преобладают кыпчакские признаки и есть следы узбекско-уйгурского влияния, в томском — признаки восточнотюркских языков (алт., хакас., шорск.) при сильном воздействии поволжско-татарского языка, в барабинском, характеризующемся параллелизмом форм и произносительных вариантов, соединены кыпчакские и восточнотюркские черты. Такой же зоной сложного взаимодействия башкирского языка с казахским и диалектами среднесибирского региона является восточный диалект башкирского языка, о чем говорил Н. Х. Ишбулатов. Особенности казанско-татарского говора на юге Свердловской области, взаимодействующего с восточнобашкирским диалектом, были охарактеризованы Ф. Ю. Юсуповым. Фонетические и морфологические признаки узбекских говоров низовьев Кашкадарьи, позволяющие выделить в них «карлукскую, кыпчакскую и разнородную» (смешанную) зону, рассмотрел А. Шерматов. Особенности кон-

тактов трех кыпчакских языков: погайского, казахского и татарского — на территории Астраханской обл. показал Л. Ш. Арсланов. В особенностях лексической вариативности, как считает С. Р. Изидинова, отразились пути формирования крымскотатарского как языка кыпчакского, но подвергнутого влиянию языка огузского типа. С. М. Исхакова рассмотрела казахские элементы в народно-разговорном языке сибирских татар.

Островным диалектам были посвящены два доклада. М. И. Боргояков и В. Г. Карпов охарактеризовали язык фууйских кыргызов, являющийся, как известно, вместе с хакасским, шорским и сарыг-югурским языком, как близкий по ряду фонетических признаков к хакасским диалектам XVIII—XIX вв., в частности, к качинскому. Г. М. Пашаев остановился на некоторых морфологических особенностях керкукского диалекта азербайджанского языка на территории Ирака.

Вопросы исторической диалектологии затрагивались в трех докладах. Т. И. Гаджиев и Э. И. Азизов указали, что только при учете исторического взаимодействия диалектов можно правильно оценить историю азербайджанского литературного языка. Северо-западные говоры башкирского языка в настоящее время, считает С. Ф. Миржанова, являются зоной интенсивных контактов с татарским языком, однако особенности соответствия *й-ж-з* для данного региона позволяют говорить об историческом вкладе диалектов булгарского типа. Г. Х. Ахатов указал, что *у-* (соответствующий общетюрк. *ч-*), встречающийся в диалектах западносибирских и мишарских татар, в среднебашкирском диалекте, в черекском и хуламо-безенгийском диалектах балкарского языка, в южной группе азербайджанских диалектов, не является заимствованным звуком, а возник на чисто артикуляционной основе.

Вопросам соотношения диалектов с литературно-нормированным языком были посвящены доклады Х. Даниярова (кыпчакские диалекты в узбекском языке), Г. Бакиновой (об опорном характере северного диалекта для киргизского литературного языка), Н. А. Кучиговой (о критериях нормализации произносительных вариантов в алтайском языке).

В социалистическом докладе Н. С. Дмитриевой и К. З. Закирьнова подчеркнута, что овладение вторым — русским — языком не обедняет, а обогащает родной — башкирский — язык билингвов, при этом русский язык обслуживает билингва преимущественно в официальной жизни, родной же башкирский — в быту, а также удовлетворяет духовные потребности, продолжая оставаться основным источником национального самосознания.

В под сек ц и и № 5 (Лексикология. Лексикография. Ономастика) было заслушано 34 доклада. Серия докладов была посвящена семантической структуре слова, весьма важной для теоретической лексикологии проблеме. Б. И. Татарнищев на материале тувинского языка сделал вывод о существовании по крайней мере двух видов многозначности слов, первый из которых включает в себя две разновидности: 1) полисемия с отношениями семантической производности; 2) полисемия с общими компонентами значений при отсутствии между ними отношений семантической производности. П. С. Афанасьев принципы расчленения содержания многозначного слова считает определяющими среди вопросов изучения семантической структуры слова. По мнению И. Гучкартаева, в разграничении и систематизации узбекских глаголов речи следует исходить из семантических компонентов структурно-синтагматического характера. Свообразие тюркской метафоры и метонимии, проявляющееся в широком семантическом диапазоне, М. М. Копыленко склонен объяснять структурными особенностями тюркского слова.

Паропинии посвятили свои доклады А. К. Алекперов и В. И. Асланов (на материале азербайджанского языка) и В. И. Сергеев (на материале чувашского языка).

Ряд докладов был посвящен исторической лексикологии. Э. Ф. Ишбердин отметил важность сравнительного изучения лексики башкирского языка и других тюркских языков для решения вопросов исторической лексикологии башкирского языка. Н. К. Антонов сделал вывод о том, что якутские термины металлургии являются в основном исконными и архаическими. К. С. Кадыраджиев подразделяет названия частей тела в кумыкском языке на общетюркские, кыпчакские и собственно кумыкские. Заимствования из тюркских языков были рассмотрены в докладах В. Н. Меремкулова (тюркизмы в абхазо-адыгских языках), О. А. Мизина (генетические китайзмы, вошедшие в русскую лексику в составе тюркизмов), П. А. Шаропова (узбекизмы в таджикском языке).

Большое внимание привлекли доклады, темы которых были связаны с актуальными теоретическими и практическими вопросами тюркской лексикографии. Г. Х. Ахунзянов и М. Г. Мухамадалиев изложили проект трехтомного общезыкологического татарско-русского словаря. Опыту создания киргизских терминологических словарей посвятили свой доклад Б. О. Орузбаева и Т. Дуйшеналиева, отметившие неразработанность ряда теоретических аспектов терминологической науки. Анализируя опыт создания двуязычных терминологических словарей в Азербайджане, М. Ш. Гасымов рекомен-

дует три типа словариков: специализированные в объеме высшей и средней школы и общие. Конкретные вопросы терминологии были рассмотрены в докладах Г. Д. Зайнуллиной, В. Мескутова, Х. Хикмагуллаева.

Отмечая повышенный интерес к этимологии, наблюдаемый в последние годы, Л. С. Левитская считает, что в этимологических словарях отдельных тюркских языков особое внимание должно быть обращено на историю слова в данном языке, т. е. на объяснение фонетических, семантических и морфологических изменений. Л. Г. Офросимова-Серова осветила вопрос об источниках этимологического словаря ареальных групп тюркских языков.

История тюркской лексикографии была представлена в двух докладах. Д. Ж. Валеев и Р. З. Шакуров говорили о первом русско-башкирском словаре, Е. И. Оконешников — о «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского.

М. Х. Ахтямов показал, что обратные словари могут быть использованы для типологических исследований родственных и разностемных языков. Вопросы лексико-семантической идентичности киргизских и казахских фразеологизмов, а также пословиц и поговорок в тюркских языках обсуждались в докладах Д. Медербековой и З. А. Ализаде.

Девять докладов было посвящено ономастике. Проблемы нормализации написания географических названий в тюркских языках были освещены Г. И. Довиде. О значении татарской ономастики для исследования истории этнокультурных связей татар говорил Г. Ф. Саттаров. Кыпчакские элементы в топонимии Башкирии рассмотрел А. А. Камалов. К. Ш. Микайлов исследовал размещение тюркских ойконимов на карте Дагестана. Т. Д. Джанузакков выступил с обзором ономастических исследований в Казахстане. Горно-алтайским топонимам с тюркским апеллятивом *суу* посвятила свой доклад О. Т. Молчанова. Недостаточной разработанности теоретических проблем тюркской ономастики коснулся А. Г. Шаихулов. Сопоставление в генетическом плане чувашских топонимов с этнонимами было содержанием сообщения М. И. Скворцова, происхождение этнонима *чумак* — темой сообщения В. И. Филоненко.

В под сек ц и и № 6 (Фонетика, письменность и стилистика) было представлено 30 докладов. Собственно фонетическим проблемам было посвящено 16 докладов. В пяти из них обсуждались некоторые результаты исследований в области исторической фонетики. Р. М. Бирюкович, обратившись к реликтовым явлениям в звуковом строе чуйымско-тюркского языка, охарактеризовала сохранившиеся в ряде односложных и двусложных слов «первичные» долгие глас-

ные как рефлекс былой оппозиции по краткости — длительности, а также рассмотрела отражение здесь двух рядов чередований $j/d'/t'/t'/s' < *j$ и $cl\tilde{e}'/s'/s < *c$. Исходя из положений об устойчивости вокализма начального слога, И. Г. Добродомов на примере соответствия $\tilde{a} \sim \tilde{o}$ показал, что некоторые отклонения от регулярной рефлексии этих гласных следует объяснять влиянием соседних согласных (турецк. *depe* ~ уйг. *töbrä* «холм») или иными причинами в связи с историей слов в конкретных языках, а не проектировать в праязык в качестве древнейшего чередования. Ж. А. Аралбаев остановился на тенденции озвончения глухих согласных в казахском языке ($n > b$, $m > \delta$, $\kappa > \varepsilon$, $\kappa > \varepsilon$) на фоне аналогичных процессов в других тюркских языках. Перебой гласных в различных позициях в истории тюркских языков, в частности и в уйгурском, связан, как считает Т. Талипов, преимущественно с изменениями в просодии и акцентной системе, поэтому сдвиг акцентной системы явился поворотным пунктом в переходе от пратюркского к общетюркскому состоянию, что привело к позиционным модификациям гласных. Р. Ф. Тарасенко проанализировала три тенденции, ведущие к сокращению звукового и слогового состава слова и в силу этого к слоговому переразложению — устранение стечения согласных, падение гласных, падение заднеязычных или озвончение и сонантизация глухих согласных.

Проблемы экспериментальной фонетики тюркских языков рассматривались в трех докладах. Достижения в области инструментального исследования звукового состава и просодии, а также задачи и перспективы подобной работы в якутском языкознании характеризовались И. Е. Алексеевым и в туркменском — С. Куреновым. В коллективном докладе Ж. Абуова, Г. Байтерековой, Л. В. Бондарко, Л. П. Щербаковой обсуждались результаты сопоставительного исследования восприятия звуковых характеристик («передний ряд» и «долгота» гласного) при интерпретации фонологических отношений испытуемыми — носителями казахского и киргизского языков, с одной стороны, и русского, английского, немецкого, с другой.

Отдельные фонетические проблемы на материале современных тюркских языков затрагивались в шести докладах. А. Махмудов представил дистрибутивный анализ согласных фонем в узбекском языке, проведенный по трем позициям (начальной, срединной и конечной) в трех основных звукокомплексах — с сонорными, щелевыми и смычковыми. О неоднородном частотном распределении r в различных тюркских языках и некоторых памятниках говорил В. А. Никонов, предлагая подобными подсчетами измерять «фоностатистические расстояния» между

языками. А. Нурмухаммедов изложил уточненную классификацию согласных звуков туркменского языка. Проблемы эволюции фонетического строя языка под давлением заимствований на примере узбекского языка освещались в докладе С. А. Атамирзаевой. К. С. Тайметов остановился на вопросах изучения слога в статическом и динамическом планах. Т. Х. Кусимова рассмотрела структуру аффиксов в древних башкирских антропонимах.

Фономорфологический анализ признаков грамматикализации и аффигирования некогода самостоятельных слов (энклиза, передвижение главного ударения) был дан А. Рустамовым, который считает, что безударные элементы (например, показатели сказуемости, сравнения) следует точнее трактовать как служебные слова, но не как аффиксы. В. И. Котлеев отметил, что подражательные слова весьма доказательны в гипотезе об автономности единиц плана выражения, в частности фонем, в сознании носителей языка.

В остальных докладах этой подсекции затрагивались проблемы развития стилей и стилистической дифференциации литературных тюркских языков, тюркской лингвистистики и типологии тюркского текста, вопросы письменности³, а также взаимодействия русского и тюркских языков.

К. А. Аханов проанализировал особенности развития стилей казахского литературного языка в советскую эпоху. Роль социальных факторов в стилистической дифференциации турецкого языка обосновал А. Н. Баскаков. Г. И. Гаюпов утверждал, что функциональные стили современного узбекского литературного языка имеют свои качественные характеристики, которые могут быть установлены методом статистического анализа. Р. Кунгуров свое сообщение посвятил развитию новых функциональных стилей узбекского языка в советский период. В докладе Дж. Мамытова вопросы исторической стилизации рассматривались как лингвистический прием, воссоздающий реалистическую картину прошлого в развитии общества и языка.

М. Б. Мамедов проанализировал приемы публицистического стиля азербайджанской литературы начала XX в. Т. А. Эфендиева представила лексико-стилистическую классификацию словарного состава современного азербайджанского языка. Ш. С. Сат охарактеризовал стилистическую систему тувинского литературного языка. К. Б. Бектаев,

³ В ряде докладов исторической секции были рассмотрены некоторые вопросы рунологии и источниковедения (см.: «Этнические и историко-культурные связи тюркских народов СССР. Тезисы докладов и сообщений», стр. 11, 16, 30, 52, 54, 56, 62 и 107).

Р. Г. Пиотровский, А. Х. Джубанов представили первую попытку создания единообразной информационно-стилистической технологии, которую можно было бы использовать для типологических исследований текста. А. Г. Гулямов и С. А. Ризаев сообщили лингвостатистические данные, полученные впервые при изучении структуры слова современного узбекского языка с помощью ЭВМ «Минск-32». Т. Тачмурадов и О. Назаров отметили непоследовательность в обозначении долгот в современной туркменской орфоэпии. Орфографии карачаево-балкарских антропонимов было посвящено сообщение Ж. М. Гүзеева.

29 сентября, вечером, состоялось заключительное пленарное заседание ВТК, на котором отчеты о работе лингвистической, литературоведческой и исторической секций представили руководители секций д-р филол. наук С. Н. Иванов, чл.-корр. АН СССР Г. И. Ломидзе и акад. АН КазССР А. Н. Нусупбеков. От имени зарубежных гостей выступил известный шведский ученый профессор Гуннар Ярринг. «Советская тюркология — это громадная сила... Без достижений и без помощи советских тюркологов мы не могли бы успешно работать», — сказал Г. Ярринг и, поблагодарив за приглашение и гостеприимство, оказанное всем иностранным ученым, отметил далее важность личных контактов для научного сотрудничества. Заключительное слово произнес председатель Советского комитета тюркологов акад. А. Н. Кононов. Он, в частности, сказал: «Наша конференция, хочется думать, отразила долю той напряженной работы, которую ведут советские тюркологи каждодневно в разных концах Советского Союза... Но я думаю, что мы все понимаем, что предстоит сделать еще больше, имея в виду те грандиозные возможности, которыми располагают сейчас советские ученые».

Конференция приняла проект рекомендаций, зачитанный акад. АН АзССР А. С. Сумбатадзе. Закрывая конференцию, вице-президент АН КазССР акад. АН КазССР Б. А. Тулепбаев отметил, что конференция прошла на высоком идейно-теоретическом и организационном уровне.

Коржушин И. В., Насилов Д. М. (Ленинград), Уюкбаев И. К. (Алма-Ата), Поцелуевский Е. А., Галимова Г. А. (Москва)

*

С 22 по 25 июня 1975 г. в г. Клермон-Ферране (Франция) проходил второй Международный симпозиум по проблемам функциональной лингвистики¹. В его

работе приняли участие представители 12 стран Европы, Азии и Америки. 23 сообщения, прослушанные на заседаниях симпозиума, охватывали почти все области языкознания, использовали данные различных языков и в то же время были объединены общей методологией исследования — функциональным подходом к языку.

А. Мартине (Франция) посвятил свое выступление вопросам терминологии, употребляемой в работах функционалистов («Проблемы терминологии»). Ж. Мартине прочла доклад на тему «Функция формирует средства: проблема обозначения».

Профессор Университета Сент-Эндрю (Шотландия) Г. Сутар в докладе «„Письменный язык“ как семантическая система» поставил вопрос о необходимости разграничения звучащей и графической форм языка, используя наблюдения над языками европейской семьи с латинским алфавитом.

Японский лингвист Й. Ватаз («О характере отношений между сигналами») считает, что о грамматической связи между сигналами можно говорить только при наличии парадигматических отношений между ними. Он рассматривает отношения зависимости между знаками, которые могут быть выражены или не выражены в коммуникации.

В трех докладах нашли отражение вопросы семантики. С. Г. Ж. Эрвей (Шотландия) в сообщении «Семантические взгляды лингвистов аксиоматического функционального направления» проанализировал синонимию, гиперонимию (гипонимию) и паронимию, создающие иерархию семантических структур и отражающие отношения между компонентами класса денотатов. В докладе Г. Шаррон и К. Жермэн (Канада) «О структуральной семантике» говорилось о попытке создать методiku анализа значений лексических единиц, используя некоторые приемы фонологии. Исследование 40 семантических полей показало отсутствие изоморфизма между планом содержания (семами) и планом выражения (значениями), а также позволило высказать предположение о существовании в языке строгой иерархии сем. П. Кабаньоль (Франция) выступил с докладом «Семантический анализ русских экономических текстов».

Проблемы фонологии нашли отражение в двух сообщениях. Т. Акаматцу (Англия) выступил с уточнением положений Н. С. Трубецкого о нейтрализации.

Ж. П. Гудайе (Франция) сообщил о результатах анализа длительности и интенсивности компонентов группы «гласный + согласный» на материале люксембургского диалекта немецкого языка («Звуковое примыкание»). Эксперимент Ж. П. Гудайе показал следую-

¹ См.: «Actes du deuxième Colloque de linguistique fonctionnelle», Clermont-Ferrand, 1976.

щую зависимость между временем, необходимым для перехода от гласного к согласному (примыканием), с одной стороны, и длительностью и интенсивностью произнесения гласного, с другой стороны: чем больше площадь треугольника, характеризующего на графике наделение интенсивности гласного, тем меньше степень контакта между гласным и следующим за ним согласным; и наоборот, чем меньше площадь этого треугольника, тем выше степень контакта между гласным и согласным.

Несколько докладчиков сообщили о своих размышлениях в области морфологии и синтаксиса. Ж. Ш о н (Франция) в сообщении «Обозначение рода во французском языке и актуальные проблемы коммуникации» на примере показателей рода существительных, обозначающих людей и животных, показала преимущественное использование в современном языке показателей жен. рода.

Профессор Университета Сэнт-Эндрью Ж. В. Ф. М ю л д е р в докладе «Синтаксические взгляды лингвистов аксиоматического функционального направления» высказал мысль о том, что связь между грамматикой и семантикой должна осуществляться через знаковую теорию.

Профессор Университета Анже А. Л е г и й в докладе «Визуализация и отмеченность» иллюстрирует мысль о возможности использования в синтаксическом анализе некоторых приемов фонологии. С помощью методов визуализации он показывает действие закона нейтрализации, взаимодействие между частотностью употребления и экономией средств выражения; докладчик строит свой анализ на исторических данных и на фактах современных языков.

Ж. Б е р н а р (Франция) в своем докладе отметил роль контекста при интерпретации синтаксических фактов. Н. М у т а р (Франция) положила в основу классификации безглагольных предложений семантический критерий, основываясь на пунктуальном оформлении предложения как формальном показателе связи между его компонентами («О типологии номинальных предложений современного французского языка»).

Бельгийский филолог Е. Б ю й с с а н с («Функциональная классификация французских прилагательных») сообщил, что функционирование прилагательных в номинальной синтагме дает возможность характеризовать их как совместимые и не совместимые с прилагательным своего класса.

Преподаватель Тулузского университета (Франция) К. Э й м а р («Приложение») показала действие закона экономии на примере полифункциональности синтаксических конструкций французского языка, описав условия, при которых различные по своей организации синтаксиче-

ские образования выступают в роли приложения.

Симпозиум обсудил результаты нескольких социолингвистических исследований. Ж. К а с с а и (Франция) («Из наблюдений над речью женщин») на большом историко-сравнительном материале показал фонетические, лексические и синтаксические особенности речи женщин.

В сообщении «Этнодемаркативная функция языка» Ж. Альер (Франция), основываясь на данных «Лингвистического и этнографического атласа Гаскоини» Ж. Сеги, утверждает, что основной функцией языка, изучаемой географической лингвистикой, является этнодемаркативная функция; автор понимает ее как зафиксированное определенным образом жизни (в языке, обычаях, поведении) стремление этнического целого утвердить себя в противопоставлении другим коллективам. В докладе Н. Р у с с о - П а й е н (Франция) «О методике диалектологических исследований» говорилось об изучении методом анкетирования одного из районов франко-германского двуязычия (район Мозеля, 1968—1972 гг.).

Более широко этот метод был использован Д. А д ж а д ж е м (Франция) во время диалектологической экспедиции в Овернь («Социолингвистическая анкета: употребление местного говора в Сель-на-Юдроме в 1975 г.»). Исследование показало уменьшение роли местного говора в речевой практике жителей этого района и дало возможность установить связь между использованием местного говора, возрастом и полом говорящих.

В сообщении Л. Б у к ъ о и Ж. Т о м а (Франция) содержались наблюдения над фонологическими системами африканских языков — проблема тона в некоторых языках сонго и банту. Авторы пришли к выводу о том, что многие из этих языков являются четырехтонными, а не двух- и трехрегистровыми, как полагали многие языковеды. Родство фонологических систем исследуемых языков дополняется общностью некоторых морфологических и синтаксических показателей (глагольные флексии, способы синтагматического определения). Это наблюдение, по мнению докладчиков, позволяет значительно расширить типологию языков изучаемого континента.

Веденина Л. Г. (Москва)

*

С 1 по 3 июня 1976 г. в Горьковском пед. ин-те иностранных языков им. Н. А. Добролюбова проходила IV конференция, посвященная «Теории и практике лингвистического описания разговорной речи». В конференции приняли участие представители 32 городов; было прослушано 86 док-

ладов по актуальным проблемам русской и иноязычной разговорной речи.

Первое пленарное заседание открылось докладом Ю. Ю. Авалиани (Самарканд) «О роли разговорной речи в художественном произведении». Названная тема рассматривалась докладчиком на примере разговорной фразеологии (формулы повседневной речи) и разговорно-речевых элементов, под которыми понимались присоединительные конструкции.

«Функционированию слова в индивидуальной речевой системе» был посвящен доклад В. А. Кухаренко (Одесса). Отсутствие полной идентичности между системой понятий и образов разных индивидов, указал докладчик, приводит к неизбежным потерям или искажениям информации. Их причинами являются два основных психолингвистических фактора: наличие особого смыслового ореола — ассоциативной структуры, субъективно закрепленной за языковой единицей в индивидуальном сознании, и смещения внутри словарно закрепленной семантической структуры слова. Наибольшей лабильностью и вариативностью характеризуются устная повседневная и художественная речь. Способами передачи ассоциативных наслоений в первой из них служат, в частности, интонация, пауза, жест, мимика, ретроспективная поправка и пр., во второй — тщательный отбор используемых единиц и особая их организация.

В совместном докладе П. И. Копанева, М. А. Кудревич и Е. С. Шубиной (Минск) «Разговорная речь — рудименты прошлых состояний и ферменты будущего развития национального языка» говорилось о том, что разговорная и книжно-письменная речь активно взаимодействуют между собой, в результате чего образуется некий органический сплав. В лексико-семантических и синтактико-стилистических структурах разговорной речи часто обнаруживаются грамматические факты просторечия, выступающие как рудименты прошлых состояний и ферменты будущего развития данного языка. Р. Р. Каспранский (Горький) в докладе «Статус разговорного языка и кодифицированного литературного языка в рамках единого национального языка» возражал против концепций, базирующихся на разноречном характере РЯ и КЛЯ, что лишает возможность определить на основе лингвистических признаков их принадлежность к одному национальному языку. В качестве различительного признака РЯ и КЛЯ он выдвинул норму реализации.

Дискуссия была продолжена докладом О. А. Лаптевой (Москва) «О соотношении некодифицированной и т. н. „кодифицированной“ устной литературной речи», вызвавшей большой интерес участников конференции. В докладе отмечалось, что проблема заключается не столько в различении двух типов речи по

их отношению к использованию — использованию кодифицированных языковых средств, сколько в различении двух типов речи по характеру представленности в них устно-разговорных специфических средств. Сложная градуированность устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка определяется совместным действием ситуативного фактора и фактора темы. Оно позволяет выделить широкую область устной публичной речи. В публичной литературной речи широко используются инстилевые средства, которые в значительной степени препарируются в соответствии с требованиями устной формы. Распространенное положение о существовании применяемой в условиях официального общения «кодифицированной» устной литературной речи, совпадающей с КЛЯ и противопоставленной РР (РЯ), приходится признать несостоятельным.

С докладом «К определению предмета коллоквиалистики» выступил Ю. М. Скребнев (Горький). Коллоквиалистика изучает разновидность национального языка, усваиваемую путем имитационного самообучения при минимальном влиянии целенаправленной корректирующей деятельности социального окружения. Коллоквиалистика не нормативна по своим исследовательским целям. Объект коллоквиалистики — субстандартная, сниженная в плане этической и эстетической ценности форма национального языка — теоретически дискретная система языковых единиц. Являясь описанием языковой системы, более узкой, чем система национального языка в целом, коллоквиалистика представляет собой отрасль лингвистической стилистики.

Б. М. Гаспаров (Тарту) выступил с докладом «Нелинейность как свойство устной коммуникации», в котором указал на три важнейших канала передачи и приема сообщения: вербальная последовательность, мелодика (интонация, темп, тембр, динамика, ритм и т. д.) и визуальная сигнализация (мимика и жесты). Смысл устного сообщения конструируется не только в виде соединения последовательных элементов, но и в виде совмещения параллельных процессов, т. е. нелинейно. К. А. Долинин (Ленинград) в докладе «Речевая структура коммуникации и разговорная речь» отметил, что в коммуникативном акте роли участников общения взаимно обусловлены и дополняют друг друга. Социальные роли могут выделяться по разным критериям и на разных уровнях обобщения: постоянные роли и ситуативные. Коммуникативный акт следует рассматривать как социально-психологическую микроструктуру, характеризующуюся прежде всего речевой структурой. Вопрос о прагматическом аспекте речевого высказывания был поднят в докладе С. Н. Сыроваткина (Калинин). Н. А. Шигаревская

(Ленинград) в докладе «Фонетическая специфика вариантов французской разговорной речи» указала на важность изучения отклонений от нормы как показателей будущего развития языка, выдвинула положение об «активной» и «пассивной» фонетике разговорной речи, предложила классификацию явлений, относящихся к этим двум видам, указала на объективные трудности разграничения предмета «активной» и «пассивной» фонетики и на пути их преодоления.

На втором пленарном заседании и обсуждались проблемы лексикологии. Вниманию участников конференции был предложен доклад Е. А. Земской (Москва) «Наблюдения над словообразованием русской разговорной речи». Вся сфера разговорного словообразования распадается на два больших класса — узловые производные слова и конситуативные слова. Для словообразования в разговорной речи характерны три основные функции: номинативная, экспрессивная и конструктивная. Первая из них обнаруживается в сфере производства имен существительных, обозначающих лица и предметы, вторая — охватывает существительные, при помощи которых выражается субъективная оценка, а также прилагательные, глаголы и наречия, обозначающие степень признака. При конструктивном словообразовании содержание какой-либо синтаксической конструкции передается с помощью одного слова.

В. С. В а ш у н и н (Горький) в докладе «О семантизации немецких композитов в разговорной речи» указал, что для разговорной речи наиболее характерны «несловарные» композиты с высокой степенью целенаправленности, и дал анализ определенных композитов. С интересом был выслушан хорошо иллюстрированный доклад В. Д. Девкина (Москва) «Ксенодотатная направленность лексических сем», в котором рассматривался вопрос о транспозиции сем. Докладчик отметил, что существующая практика распределения словарных помет далеко не безупречна.

Третье пленарное заседание открылось докладом А. М. Мухина (Ленинград) «Предложение в языке и речи». Необходимо четко разграничивать два подхода к изучению предложения: с одной стороны, это — конструкция, анализируемые с опорой на синтаксические связи и элементарные единицы в их структуре; с другой стороны, — составные части текста или речи, изучаемые с опорой на смысловые связи, которые существенно отличаются от синтаксических. Предложения в языке исследуются под углом зрения возможностей их организации, выделения в их структуре тех или иных элементарных синтаксических единиц, возможностей сочетания предложений на основе синтаксических связей,

возможностей реализации в них единиц других уровней языка. При изучении предложений в речи имеется потребность в статистико-комбинаторных методах.

В докладе Л. М. Михайлова (Колмна) «Парадигматика предложения и синтаксис разговорной речи» парадигма понималась: а) как совокупность моделей предложения и б) как совокупность модификаций одной модели. Представительство разговорного синтаксиса в парадигмах зависит от характера парадигм и инвентарного списка. П. С. Вдовиченко (Горький) изложил результаты анализа распределения структурных типов повествовательных предложений в стилизованной разговорной речи и в авторской речи, наиболее четко выражающей особенности подязыка художественной прозы. Докладчик изложил результаты анализа различных типов предложений: простого, усложненного и сложного. Ведущий тип повествовательных предложений в прямой речи — простое предложение, которое и явилось предметом специального рассмотрения.

Б. Н. Головин (Горький) в докладе «О термине „разговорная речь“» показал многозначность термина «разговорная речь», соотносив его с терминами «стиль языка», «стиль речи» и «формы существования языковой структуры». Естественно, прежде чем обсуждать проблему разговорной речи, указал докладчик, «надо договориться, о чем именно мы думаем и спорим». Б. Н. Головин поставил также вопрос о терминологической культуре, о недопустимости для лингвиста применять термины в неопределенном и неясном смысле, предлагать новые термины, не выражающие новых идей и понятий. С докладом на тему «О нейтрализации оппозиций в сфере парадигматических форм предложения в условиях разговорной речи» выступил В. Ф. Егоров (Калуга). Вопрос о «следах» смыслового синтаксирования в разговорной реплике раскрыл в докладе И. Н. Горелов (Магнитогорск).

Сопоставительному изучению разговорной фразеологии был посвящен доклад А. Д. Райхштейна (Москва). В нем отмечалась эффективность семного анализа фразеологических единиц. По мнению докладчика, можно установить некоторые типичные корреляции, с одной стороны, между общей семей фразеологического поля и семами, входящими в смысловую структуру соответствующих переменных сочетаний, с другой стороны, между семами, общими для целых групп переменных сочетаний, и семами фразеологических полей, формирующихся на базе каждой такой группы. Особенности употребления понятийных и грамматических категорий в разговорной речи персонажей художественных произведений в сопоставлении с некоторыми другими стилистическими совокупностями были

изложены С. И. Кауфманом (Коломна).

На секции «Разговорная речь и проблема предложения» был прослушан целый ряд интересных докладов. О «типах коммуникации и актуальном членении предложения в разговорной речи» говорилось в докладе М. Я. Блоха (Москва). На основе анализа языкового материала докладчик предложил выделить промежуточные коммуникативные типы предложения: 1) вопросительно-повествовательные, побудительно-повествовательные, 2) повествовательно-побудительные, 3) повествовательно-вопросительные, побудительно-вопросительные. Е. Н. Ширяев (Москва) в докладе «Семантико-синтаксическая структура бессоюзного полипредикативного высказывания в русском разговорном языке» остановился на бессоюзном типе полипредикативных высказываний. Докладчик пришел к выводу, что производные полипредикативные высказывания РЯ отличаются от сложных предложений КЛЯ не только количеством ступеней-ходов, но и самим характером этих ходов.

На этой секции были прослушаны также доклады К. А. Гузевой (Ленинград) «Заменение как способ связи реплик диалога», Л. Н. Иноземцева (Горки Могилевские) «Реализация модели предложения в разговорной речи немецкого языка», Ю. П. Зотова (Саранск) «Деформация сказуемого в английской разговорной речи», Э. А. Трофимовой (Ростов-на-Дону) «Об одной тенденции в синтаксисе английской разговорной речи», О. П. Солдатовой (Горький) «О лексической связи диалогических реплик» и др.

Доклад М. В. Китайгородской (Москва), прочитанный на секции «Ономастология, лексикография, лексикография», был посвящен специфике неузуальных глаголов в разговорной речи. Анализировались случаи, когда глагол концентрирует в себе элементы значения контекста и конситуации, случаи десемантизации и замены глаголом языкового текста, а также внеязыковой ситуации. В. И. Пороतिकовым (Ростов-на-Дону) был рассмотрен вопрос взаимодействия сложного слова и словосочетания в рамках синтаксического целого. Доклад о лексической инвентаризации французской разговорной речи сделала О. С. Сапожникова (Горький).

На секции «Грамматическая специфика разговорной речи» особый интерес вызвал доклад Я. Г. Биренбаума (Магнитогорск) «Элементы пространства вводности в разговорной речи», в котором была сделана попытка свести в одну систему различные языковые единицы, не выполняющие в структуре предложения функцию члена предложения. Функционально-семанти-

ческая и синтаксическая характеристика глаголов-репрезентантов английской разговорной речи рассматривалась в докладах Э. Н. Плеухиной и Ф. С. Гришкуня (Горький). Были заслушаны доклады: Н. Р. Сваволя, Г. С. Щур (Москва) «Некоторые морфологические особенности разговорной речи негритянского населения США», Б. М. Баллина, Н. Е. Чебурахина (Калинин) «Фазовые трансформации действий в переводах диалогических текстов на немецкий язык», В. М. Тычинной, Г. С. Щур (Москва) «Об особенностях морфологии современного английского языка в Ирландии».

На секции «Стилистические проблемы изучения разговорной речи» с докладом «Устно-разговорные типизированные синтаксические конструкции в художественной прозе» выступила О. А. Лаптева. Она отметила два слоя таких разговорных средств: первый уже стал достоянием, второй является принадлежностью устно-разговорной разновидности литературного языка. В литературе последних лет усиливается тенденция к вовлечению в круг изобразительных средств устно-разговорных явлений второго слоя. Степень представленности разных типизированных устно-разговорных конструкций в художественном произведении различна.

В других докладах, сделанных на этой же секции, рассматривались вопросы функционально-стилистической наполняемости разговорной речи (Б. А. Князев, Челябинск), о параметрах эмоциональности (Н. М. Павлова, Ростов-на-Дону), о тропах в речи и в языке (М. Р. Натадзе, Тбилиси), об особенностях передачи чужого высказывания в РР (И. Т. Дарканбаева, Москва). И. Г. Сапрыкина (Горький) предложила доклад об экспрессивных аппозиционных конструкциях в английской разговорной речи. Лингвистические особенности языка драмы рассматривались Г. А. Хоршуневым (Ленинград) и С. С. Беркуном (Воронеж). Проблеме перевода усеченных глагольных конструкций русского языка на немецкий язык посвятил свой доклад В. Б. Лебедев (Горький).

На секции «Теоретические вопросы и фонетический аспект изучения разговорной речи» были затронуты проблемы о языковых реалиях (В. П. Конечная, Москва), об особенностях речи билингва (Л. С. Гоксадзе, Тбилиси), о разговорной речи в сфере радиокommunikации (В. М. Полухин, Москва), вопросы долготы — краткости звуков в речевой ситуации (А. Л. Дербилдов, Куйбышев), ударности — безударности слов в разговорной речи (Н. Н. Розанова, Москва), реализации признака звонкости в речевых произведениях (И. Л. Малова, Горький) и др.

Лебедев В. Б. (Горький)

CONTENTS

Articles Filin F P (Moscow) The genetic and functional status of modern standard Russian K o n o n o v A N (Leningrad) The principal stages in the formation of the written variety of standard Turkish, **Discussions** Panfilov V Z (Moscow). The category of modality and its role in sentence and proposition structuring, Veixman G. A. (Moscow) Predicative division of the highest syntactic units, Deserjeva T. I. (Moscow) Some problems of syntactic semantics in connection with formalisation in natural languages Bragina A. A. (Moscow) Neutralisation at the lexical level, Alekseev M. E. (Moscow) On the lexico semantic interpretation of the affective sentence structure, **Materials and notes** Edelmann D. I. (Moscow) The phoneme inventory of Common Iranian Pakhalina T. N. (Moscow) The role of iumlaut in the history of vocalism of the Iranian languages Ermolaeva L. S. (Moscow) Typology of the mood system in the modern Germanic languages, Ustinskova Z. I. (Moscow) On the genesis of tsokanje in Russian dialects, Sabaneeva M. K. (Leningrad) The problem of semantic integrity of the sentence, **Reviews, Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles Filin F P (Moscou) Le statut genetique et fonctionnel du russe litteraire moderne K o n o n o v A N (Leningrad) Les etapes principales de la formation du turc ecrit litteraire, **Discussions** Panfilov V Z (Moscou) La categorie de la modalite et son role dans la formation de la structure de la proposition, Veixman G. A. (Moscou) Division predicative des unites supraphrastiques, Deserjeva T. I. (Moscou) Problemes de semantique grammaticale a la lumiere de la formalisation dans les langues naturelles Bragina A. A. (Moscou) Neutralisation au niveau lexical, Alekseev M. E. (Moscou) Une interpretation lexico semantique de la construction affective de la proposition, **Matériaux et notices** Edelmann D. I. (Moscou) Systeme des phonemes en iranien commun, Pakhalina T. N. (Moscou) Le role de l'umlaut en i dans l'histoire du vocalisme iranien Ermolaeva L. S. (Moscou) Typologie du systeme des modes dans les langues germaniques modernes, Ustinskova Z. I. (Moscou) Sur la genese du tsokanje dans les parlers russes, Sabaneeva M. K. (Leningrad) Sur l'integrite semantique de la proposition, **Comptes rendus, Vie scientifique**

Технический редактор Т. Н. Сенченко

Сдано в набор 29/IV 1977 г. Т-10...4 Подписано к печати 29/VI 1977 г. Тираж 7115 экз.
Зак 216, Формат бумаги 70x108/16 Усл. печ. т. 140 Бум. т. 5 Уч. изд. л. 16,0

2 я типография издательства Наука Москва Шушарский пр. 10